

Николай КЛИМОНОВИЧ

ЦВЕТЫ ДАЛЬНИХ МЕСТ

роман

Москва
Издательство «БПП»
2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I	3
Глава 1. ГОСТЬ	3
Глава 2. НА КУХНЕ.....	19
Глава 3. ВДВОЕМ	37
Глава 4. ОРЕЛ	50
Глава 5. ВДВОЕМ НА КУХНЕ	64
Глава 6. ВОКРУГ КОЛОДЦА	81
Глава 7. ДУШ И ВОКРУГ ДУША	97
Глава 8. ТОРЖЕСТВО	114
Глава 9. ТОРЖЕСТВО (продолжение)	138
Глава 10 (вместо приложения к ЧАСТИ I).....	155
Глава 11. В ГОСТЯХ	166
ЧАСТЬ II	192
Глава 12. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	192
Глава 13.....	200
Глава 14.....	220
Глава 15.....	236
Глава 16.....	259
Глава 17. СНЫ (приложение к части II).....	275
ЧАСТЬ III	286
Глава 18.....	286
Глава 19. НОВЫЙ СОН.....	287
Глава 20. НОВЫЙ СОН (продолжение).....	296
Глава 21. ПРОБУЖДЕНИЕ	302
Глава 22. ЦВЕТЫ ДАЛЬНИХ МЕСТ.....	311
Глава 23. ЦВЕТЫ ДАЛЬНИХ МЕСТ.....	322
Глава 24. ПРОБУЖДЕНИЕ	330
Глава 25. ПОСЛЕДНЯЯ	338

ЧАСТЬ I

Глава 1. ГОСТЬ

Вечером к стоящей на каменистом бугре, на самом юру, кошаре, давно не беленной, крытой дранкой и обнесенной разбитой изгородью, на темной лошади тихо подъехал человек. Он спешился, закинул повод на торчавший в разломе ограды кол — видно, бывал здесь, — увидел слабый огонек в затянтом белой марлей кривом оконце, прислушался к звукам изнутри. Потом — так же неслышно, как привел коня, — приоткрыл дверь, пригнул голову — не задеть высокой войлочной шляпой низкую притолоку, без стука шагнул через порог.

В доме за столом сидели пятеро. Тянули чай из жестяных побитых кружек, отдувались, с хрустом прикусывали сухари, переговаривались нехотя. Один, самый пожилой, пил чай вприкуску: окунал кусок сахара, потом, размяклый, бледно-бежевый, крошил одними губами.

Чай был заварен круто, пахнул во всю комнату.

В дегтярном нутре кружек рябили блики двух неярких ламп, заправленных соляной и чадивших. Лампы выделяли из полутьмы потные лица сидящих, локти, лежавшие на столе, золотили сбоку бедную посуду: миску с сухарями, железную сахарницу, большой чайник с белой шишечкой на крышке и в ржавых потеках

чайник поменьше, заварочный, в цветах, — наконец, смутно рисовали ближайшую стену, растрескавшуюся штукатурку на ней, разводы зимней высохшей плесени, контуры кой-как нарисованных материков.

Никто не заметил вошедшего.

В бензинно-радужной луже заварки, растекшейся по пятнистой, с лысыми проплешинами, с лохматыми ссадинами по сгибам, клеенке, волнилось перевернутое треугольное пламя. Между лужей и локтем одного из мужчин, полного, с широким неровным полным лицом, ближе к его кисти, стояло на тонких, будто выделанных из проволоки в волос толщиной, ногах странное существо — богомол. Все следили за насекомым, разговор шел вокруг него.

Богомол не проявлял беспокойства.

Несколько дней назад его обнаружили в углу дальней комнаты, забыли, но он никуда не ушел. Теперь, извлеченный на самый свет, под взглядами людей, богомол, будто с горя, сложил передние конечности и кланялся, словно просил прощения.

— Знатный экземпляр, — сказал один из сидевших тоном знатока, но не тот, кто сидел к богомолу всех ближе.

Все молча согласились.

Богомол был сантиметров шести в высоту. Но паутинность его конечностей, почти невидимость их, и неприметная пепельно-зеленоватая окраска туловища искажали истинные пропорции: при полной и скорбной своей беззащитности богомол представлялся особенно и нескладно большим.

— Мух вроде меньше стало последние дни, — сказал пожилой.

— Показалось тебе, Николай Сергеевич, — возразил первый насмешливо. — Он мух не ловит, только скорпионов. Мухи — они летают, а он, видишь, все на месте сидит. А вообще-то, я думаю, он и с фалангой справится... если разозлить.

Пожилой не ответил. По всей видимости, ему было все равно.

Молчали и остальные.

Должно быть, у каждого возникло сейчас особенное, двойственное чувство при виде этого несуразного, нелепо равнодушного ко всему существа. Одного щелчка, да что там, одного дуновения было бы достаточно, чтобы эти тончайшие лапки, эти смехотворные щипчики и зубчики на тыльной стороне сложенных передних конечностей, аккуратно подобранные, спрятанные и вложенные верхние меж нижними сейчас, эта сонно покачивающаяся головка, слепая, на нитяной шейке, с подрагивающими усиками, — чтобы все это мигом перепуталось, смешалось, превратилось бы в едва дышащий клубочек, который уж безо всякой жалости подмывало бы тут же раздавить и, раздавленный, отшвырнуть прочь.

— Привык он, что ли? — произнесла единственная среди них женщина.

Отсветы неровно чертили по ее лицу; руки, инстинктивно убранные со стола, были длинные, худы, казались некрасивыми. На женщине была кофта с глубоким вырезом, черные тени лежали в выемках у ключиц.

Она сидела ссутулившись. А говорила высоким голосом, резко, всегда как-то вдруг, отчего слова ее звучали будто особенно громко.

— А может, людей не видел, от этого не боится...

— Как же не видел-то? — возразил тот, кто отзывался о богомоле точно знаток, прежним, чуть насмешливым тоном. — Да он в этой кошаре, считай, всю дорогу и живет. Просто местные их не трогают. Почитают, что ли.

— А что ж овцы его не затоптали? — неожиданно живо вставил пожилой.

— Как его затопчешь-то? Поди затопчи.

— Или не сожрали? — не унимался тот. — Не, это небось, когда мы приехали, мухи поналетели, так он и шасть к нам! Тут и кормежка тебе, и компания.

Женщина не говорила больше.

Она смотрела на пламя, змеившееся за туманным стеклом.

По выражению ее лица можно было понять, что думает она о чем-то далеком или о ком-то. Глаза расширились и остановились. Руки размякли. Встряхнувшись, но еще не сводя глаз с какой-то невидимой точки в темноте, она, пошарив, взяла со стола кружку, по мужски продев в ручку пальцы и охватив кружку всей ладонью. Очнувшись, сморгнув, подула на горячий край, прежде чем поднести к губам, и пламя в лампах колыхнулось. На секунду заметно стало, что и лицо женщины некрасиво: нос чересчур крупен, а губы тонки и растянуты по-лягушачьи.

Богомол все кланялся, молитвенно согнувшись.

Ощущение его присутствия, будто был он здесь шестым, все видящим и понимающим, но словно наказанным за что-то немотой, повисло над столом.

Внезапно женщина вскрикнула.

В тени, у самой стены, в углу, она разглядела не замеченного никем человека.

Гость сидел на корточках, склонив голову, спрятав лицо под вислыми полями грязной и пыльной шляпы.

Скорченная его фигура выдавала полное отрешение.

Сложенные между коленей руки были равнодушно расслаблены.

Пальцы свисли вниз.

Локти странным образом не торчали, а были вывернуты внутрь.

И будто невдомек ему было, что в комнате сидят и говорят люди. Не трогало, хотя прежде, судя по всему, он входил в этот дом, как в свой, что теперь-то в нем живут другие. Что явился он без спроса, расположился без приглашения... На запястье его болталась нагайка.

Все переглянулись.

Ни скрипа двери, ни топота коня, ни шороха шагов никто не слышал — ни звука. Появление незнакомца от этого на миг представилось неестественным. Впрочем, почувствовав на себе взгляды, гость поднял глаза.

Это был казах лет сорока.

Лицо смуглое.

Выражение бесстрастное.

Губы сжаты в твердую складку.

Резко очерченный треугольник скул, сверху подсвеченный, делал взгляд его черных глаз пронзитель-

ным, зорко выхватывающим из полутьмы и последние мелочи, словно чего-то ищущим или ждущим...

— Ну, здравствуй, — проговорила женщина наконец.

— Здравствуй, — выговорил и казах.

— Садись к столу, коли пришел, чаю выпей.

Женщина выговорила это словно торопясь, громко и резко, отчего приглашение делалось и еще грубей. Гость, однако, тон ее пропустил мимо ушей. Только сам смысл дошел до него. Он едва заметно склонил голову, приложил правую руку к груди — нагайка мотнулась в воздухе и улеглась, — неторопливо поднялся на ноги.

На нем оказался засаленный куцый пиджачишко. Брюки, заправленные в сапоги, пыльные и стоптанные, приспущенные гармошкой, были широки, тоже пыльные, вздувались вокруг коленей полосатыми пузырями. Подсев к столу на придвинутый для него складной походный стул, он положил нагайку возле себя на клеенку, безмолвно принял в обе руки налитую до краев кружку, не поблагодарил ни кивком, а лишь сумрачно изогнул блестящие брови.

Все смотрели на него настороженно.

Гость медленно поднес кружку к губам.

Складной стул скрипнул.

С непривычки сидеть таким образом казах пошатнулся, с трудом удержал равновесие — горячий чай плеснул на отворот пиджака, — быстро поставил кружку на стол, торопливо отряхнул руки.

Все засмеялись с облегчением. И женщина сказала:

— Ну, ты шутник, как видно. Эдак и напугать можно тех, кто послабонервнее. Хоть стучался бы...

Казах улыбнулся глазами, взглянув на нее.

Скорее всего, он не понял ее слов. Он не спеша и поочередно вытер пальцы о пиджак на животе, уселся поустойчивее, покачался из стороны в сторону и поводил бедрами, проверяя, не будет ли подвоха со стороны стула впредь, как ни в чем не бывало снова взял в руки кружку.

— Здесь живешь? — спросила женщина.

Казах сделал сперва мелкий глоток, прислушался, а потом кивнул головой, с которой и не подумал снять высокую шляпу.

Был он давно не брит. Может быть, поэтому в неверном мерцании ламп казалось, что его глаза особенно ярко светятся.

Все наблюдали за ним снова молча. Он спокойно пил.

Были слышны лишь его причмокивания да кипение мотыльков, бьющихся с улицы в обвислую марлю на окне.

— Хорошая, — произнес казах и ткнул в сторону богомола, о котором все позабыли сейчас, не пальцем, а целой щепотью.

— Ты его — как девку, — хмыкнул пожилой, но казах не обратил внимания.

— Хорошая, — повторил он упрямо. — Кошара — хорошо.

— Это почему? — вмешался тот, знаток богомолов. Гость поводил блестящими глазами, будто на потолке был ответ.

— Мухи ест, — загнул он палец, — все ест. — И загнул второй.

— А я что говорил!

— Змея ест, — закончил казах, загнул третий палец, удовлетворенно вздохнул и вновь обратился к чаю.

— Змеи их едят, наверное, — предположил пожилой, недоверчиво на казаха глядя. — А то ни хрена не понятно, змеи-то здесь при чем?

— Все понятно, — оборвала пожилого женщина, — бывает, птицы поднимают богомол и бросают сверху на гнездо, если змея подбирается. Может, и неправда, конечно, но я, кажется, читала где-то.

Все снова обернулись к богомолу.

Трудно было поверить, что богомол, такой, видимо, беззащитный, способен на подобную доблесть.

— Так где ж ты живешь? — повторила свой вопрос женщина.

— Там юрта, — указал казах подбородком прямо перед собой, — близко, да.

— Один?

— Жена есть, дети есть.

— Странно. Раньше не видели тебя. Ни у колодца, ни так... Овец пасешь?

— Чабан, да.

Чай остыл.

Кто-то чиркнул спичкой, прикуривая.

Всем хотелось услышать, наверное, зачем, собственно, казах пожаловал. Но прямо не спрашивали, дожидались, видно, пока сам скажет.

— А отара где? — спросил пожилой.

— Там отара, — ответил без задержки казах, но на этот раз окончательно неопределенно.

У него была манера долго и отчетливо смотреть на собеседника, потом вдруг отводить глаза. Будто он сперва проверял какую-то свою догадку и, убедившись, что не ошибся, тут же принимался думать о другом.

— Овец пасешь, — заметил пожилой, — это хорошо. В совхозе работаешь?

— Совхозе.

— А сам откуда? — спросила женщина. — Где зимой живешь?

— Беш-Булак, — ответил казах кратко.

— А к нам на днях овца забрела, — вдруг вставил тот, кто во всем разбирался и говорил зачастую насмешливо. — Может, твоя?

Все насторожились.

Казалось, казах отметил это. Он коротко взглянул на собеседника, а тот уставился на него, хитро посмеиваясь.

— Баран, баран приходил, — показывая руками, пришел на помощь пожилой.

— Баран?

— Ну да. Только дурной какой-то, больной, что ли.

— Из твоей отары, может? — добавил насмешливый.

И пожилой:

— Знали бы, где ты живешь, мы б тебе сказали, что отбилась, мол, овечка...

— Там отара, — беспокойно стрельнул глазами казах.

— Тогда порядок. — И насмешливый иронически подмигнул пожилому. — Мы ее сперва хотели на шаш-

лык пустить, но очень уж худа была. Так и пошла мимо нас и дальше — своей дорогой.

— Она дом знает, так найдет.

— А если не твоя, тем лучше. Пусть гуляет. — Они словно дразнили казаха.

Женщина же слушала разговор с неудовольствием. Едва насмешливый замолчал, она вернулась к прежней теме.

— А я твой кишлак знаю, — повернулась она к казаху, но бросив на пожилого, который еще что-то хотел добавить, резкий взгляд. — Беш-Булак — это Пять Ключей, так переводится? Странное название...

— Куда пошел? — спросил казах, переводя глаза с одного на другого.

— Слушай ты их больше! — вмешалась женщина. — Смеются они. Шутят, понятно? А ты и купился. А вы тоже: овцу придумали. Какая овца? Человек в гости пришел, а вы...

— Шу-тят, — повторил казах довольно угрюмо и качнул головой. Но облачко недоверия так и осталось в его больших глазах.

— Вот и я говорю: странно вы поселки называете. — Женщина сейчас повысила голос и говорила громко, но так, словно втолковывала что-то пьяному или иностранцу. — Пять Ключей, например. А какие же у вас там ключи, скажи на милость? Там даже горького колдца нет, а вы — Ключи На привозной воде сидите.

Лицо казаха напряглось. Он слушал ее.

— Беш-Булак, — повторил он и показал растопыренную пятерню.

— Одного нет, — показала женщина ему единственный палец в ответ, — а вы пять. Для красоты, что ли, называете?

Она двумя руками откинула волосы с лица, заправила две прямые пряди за уши. Пока она делала это, было четко видно, как неровно загорели у нее руки. Кисти были совсем смуглые, вторая граница лежала чуть ниже локтей. По предплечью шла светло-желтая полоса, а из-под коротких рукавчиков на миг мелькнули две молочно-белые скобки.

— Или, может, была вода когда-нибудь, — добавила она задумчиво, — но ушла давно. Название с давних пор осталось.

— Название, — улыбнулся гость, кивая и следя за ее голыми руками.

Остальные слушали.

— Ты снова меня не понял. Су йок, су киты.

— Киты? — переспросил гость и поставил на стол кружку, которая остыла давно в его руке. — Нет ушла, есть су.

— Вот в нашем колодце есть вода. Для овец, верно? А Пресной воды вообще во всей округе нет. Чуть не на пятьсот километров.

— Нет овец, — несуразно возразил казах. — Я есть, ты есть.

— Мы-то с тобой есть, верно, — терпеливо вдалбливала ему женщина. — Только мы с тобой горькую воду пить не будем, верно? Так что для нас с тобой — нету. Для нас водовоз возит. Так ведь?

— Нет так.

— Ладно, рассказывай сказки. Может, скажешь, как раз в вашем Беш-Булаке оазис открылся? Потайной такой, для своих? — Она оглянулась, но засмеялся только ироничный. — Иль ты шутишь?

Не слушал разговор лишь тот, полный, возле которого сидел богомол, — или только казалось так. Четвертый же из мужчин, самый младший, почти мальчик, напротив, вытянув длинную шею, подслеповато моргая, вслушивался в каждое слово.

— У меня и карта есть, — постучала женщина ладонью по столу, — подробней не бывает. И сама я здесь все изъездила. И в Беш-Булаке вашем сто раз была. Во как все здесь знаю! — по-мужски провела она длинной ладонью по горлу. — Наш колодец — единственный, если не считать засыпанных, конечно. А так даже других соленых колодцев нет.

— Есть, — упрямылся казах. В его глазах роились хвостики пламени, многократно уменьшенные.

— Послушай, Людка, — вмешался вдруг ироничный. — Вспомни, в прошлом году нам что-то такое похожее рассказывали. Кто — не помню, но говорили вроде. Где-то севернее Беш-Булака, так, кажется...

— Ерунду мелете! — отрезала женщина. Под ней скрипнул стул, она подалась вперед, вытянула двумя пальцами сигарету из пачки. Мимо ламп метнулось несколько ночных бабочек, заиграло пламя. — Вы никто этих мест не знаете, а я здесь — шестой сезон. На север еще километров сто пятьдесят — двести — и начнутся соленые болота до самого Арала. Места гиблые, гнилая вода...

Ей протянули зажженную спичку, она прикурила и, закинув голову, кругло выпятив губы, пустила к потолку веревочку дыма.

— А здесь везде только песок да камни, сами видели. Хорошо, хоть этот колодец есть, а то и не жил бы здесь никто. Верблюд бы не забрел. Да что говорить! — Словно с досады она помахала над собой рукой, разгоняя дым, и пламя встрепенулось, испуганное. — Весной пара капель дождя упадет — и на том спасибо. А потом все пересыхает. Иногда такая жара, такое пекло, что боишься, как бы земля надвое не раскололась... А то, что местные придумывают, друг другу рассказывают — дед внуку, внук своему внуку, — так это, наверное, чтоб жить было веселее. Вроде легенды, что ли. Правильно я говорю?

Казах не ответил.

И женщина замолчала, снова уставилась на огонь.

Возле лампы теперь билась большая, гладкая, кажущаяся в пляшущем свете тигровой, с крупной выпуклой головой бабочка, и было слышно в тишине, как трепещут ее крылья, потрескивают у горячего стекла.

Женщина взглянула на часы.

— Ладно, поболтали. Завтра подъем ранний, а то к обеду не обернемся. — Она посмотрела на юношу: — Сам встанешь или будильник дать?

— Встану.

— С-скажите, — вдруг обратился к казаху, который понял жест женщины и было зашевелился, тот, полный, кто молчал целый вечер. — В-вы говорите, источник этот недалеко отсюда?

— Заинтриговал он вас? — бросила женщина. Она качнула головой, вздохнула, отвернулась к лампе и прищурилась.

— Отчего вы не позволяете р-рассказать?

Голос у мужчины, как и он сам, был мягкий и полный. К тому же он едва заметно запинался, когда говорил, — не заикался даже, а запинался именно, — и сильно картавил. Это делало его речь еще медленнее и мягче. — М-может, будем проезжать, так заглянем.

Женщина только усмехнулась презрительно и пожала плечами. Ей было, видно, не до подобных глупостей.

— Ну если будем, — выдавила она насмешливо, — тогда конечно...

Казах взял со стола нагайку и крутил в руке.

— Не хочет говорить, — откомментировал молчание гостя насмешливый. — Боится, наверное, что приедем воду мутить. Слышь, — обратился он к казаху, повысив голос, точно тот и впрямь плохо слышал, — ты б в юрту пригласил, чайком бы угостил, а?

Он уставился на казаха, ухмыляясь.

— Юрта хорошо, — сказал казах, — иди юрта. Но чай нет, йок чай.

— А что ж без чая-то приглашаешь — и вовсе грубо оборвал его ироничный. — Тогда водки давай.

К нему присоединился пожилой, вдвоем они загоготали.

— Юрта близко, да. Гости хорошо, завтра гости.

— Что ты пристал к нему, Мишка, — сказала женщина. — Он все смеется, ты внимания не обращай, —

утешила она гостя. — Слушай, может, тебе чаю дать? Ты что, за чаем пришел, что ли?

Все вздрогнули, потому что казах резко поднялся на ноги. Он сделал шаг от стола, приложил нагайку к груди. Его тень удлинилась на потолке, когда он склонился в знак благодарности.

— Ты, — обратился он к полному и указал в его грудь нагайкой, — поедешь прямо так. Близко, да. Один час, хорошо? Потом так, — указал казах налево, на левое плечо собеседника. — Вот там.

Гость ткнул нагайкой в землю, еще раз улыбнулся лишь глазами и пошел из дома.

Никто не поднялся проводить его.

— Чаю-то возьмешь, ты не ответил? — крикнула вслед женщина, но казах, верно, не слышал.

На дворе сперва звякнула уздечка. Фыркнула раза два лошадь, послышался короткий хлопок, точно куском кожи ударили о кожу, топот копыт скоро смолк вдалеке.

— Они всегда так, — сказала женщина, выждав, пока все стихло, и вставая из-за стола, — войдут без спроса, усядутся без приглашения. И сидят смотрят. А что сидят — не поймешь.

Она раздраженно постучала пальцами по столу. Ну что ему сейчас надо было?

— Может, овца все же его была? — предположил пожилой.

— Пусть поищет, понюхает. У нас комар сейчас носа не подточит, — ухмыльнулся ироничный.

И женщина вскрикнула сердито:

— А вы тоже хороши! Зачем его дразнили? Его овца, не его — нам что за дело. Вон отар сколько, с чего вы взяли, что его. Да они к тому ж не считают же их каждый день. Одной больше, одной меньше... Нет, он не из-за этого приходил.

— Заглянул на огонек просто, — вставил полный, основательно сглотнув «р». — П-проезжал мимо — и заглянул.

— Володенька, голубчик, вы плохо этих людей знаете. Их не сразу раскусишь. Огонек огоньком, конечно, да только так просто они не придут. Вы вот не заметили, как глазами он туда-сюда шарил? То-то.

— Ч-что?

— А то, что приглядывал, что плохо лежит. А может, думал: водки поднесем? Или выпросить чего хотел, если не стянуть. Ведь мы после каждого поля и брезент старый, и фанеру оставляем. А для них, для кочевого-то хозяйства, фанера — что ценность великая. Где ее здесь найдешь. Да что, им обрывок веревки — и тот сгодится.

— А чай-то не взял, — ухмыльнулся ироничный. — Говорит, чая у него нет. Да навалом у него чая!

— Ну вот, — продолжала женщина прежним нравоучительным тоном, — потому и сказки сидел рассказывал. И про источник пресный, и про все. А вы и уши развесили. Он вас заговорить хотел, про то, про се, про богомол... Кстати, где же он?

Все обернулись туда, где сидел богомол только что, но никакого богомола нигде не было.

Глава 2. НА КУХНЕ

Днем оставался дома самый младший из них.

Оставшись один, первым делом, вместо мытья посуды от завтрака и приготовления обеда, он усаживался во дворе на сооруженную здесь по приезду колченогую лавку.

Лавка, конечно же, была не очень нужна. Днем сидеть на солнцегреве было жарко, ночью — холодно, но солидность ее постройки, основательность обеих ног и толстая ровная спина без прогиба выдавали желание строивших обзавестись возможно уютнее, жить по-людски и не терпеть ни в малости неудобства.

Был повар высокий нескладный парень с большими и длинными руками, с большими ногами, худющий и всклокоченный, да еще с отпущенной, по случаю прибытия в пустыню, видно, неоднородной клочкастой бородой.

Одет в этот час он бывал в шорты. На нос нацеплял неловкие и большие очки-телевизоры, пляжные, простого мутного стекла, прятал за ними красные от пыли и недосыпания близорукие глаза, но очки то и дело ползли с переносицы, и парень тогда подхватывал их, водворяя на место, размазывая при этом пот по лицу грязными пальцами.

Он сидел, далеко вытянув ноги в разношенных сандалиях, кожа на которых уж потрескалась и поседела, нехотя, без вкуса, курил, взглядывая поверх очков прямо перед собой, а под ними — прикрывая веки.

И казалось — с величайшей точностью он заучил открывавшийся с холма пейзаж.

С закрытыми глазами, все равно четче четкого, он видел переходящие один в другой кремнистые голые склоны, бледно-песочные, глиняно-красные, нестойкие, перемаранные горячим маревом, подштрихованные кой-где понизу случайно не помершей мышиноного цвета тенью, чем дальше, тем вернее плывущие по воздуху и сливающиеся, не утерпев до горизонта, в одну серо-складчатую поверхность.

Видны от кошары были и далекие Тамдинские горы.

Дымчато-бурые, к закату делавшиеся фиолетовыми, они всегда казались надежно влажными, отделяясь цветом ото всего окрест. Они, словно видимые пределы иной страны, возвышались над краем, и сладко чудилось, что в этих горах и за этими горами все иначе, а значит, не по всей же земле так бесконечно пустынно, как вокруг.

Сидел парень и час, и другой.

Но вот вскатывалось солнце на самый верх, округа заливалась густо-белым свечением, все делалось на мгновение видно с оптической мучительной ясностью.

Но марево висло все гуще. Сам воздух густел и изнемогал. Пустыня электрически поблескивала, жарко становилось невтерпеж.

И вот смотришь, как сквозь стекло со свилью. Пуたются горки и отлогости, края равнины загибаются кверху, будто желтый лист уронили плашмя на огонь. И из-под очков глянуть уж невозможно: тотчас застилают взгляд радужные круги, меняются черные полосы, душ-

но-оранжевый свет изнутри уже сдавливает зрачки до головокружения...

Разумеется, одному бывало парню скучно до последней точки. Но и развлечения никакого найти он себе не мог. Какое и впрямь развлечение — глядеть на пустыню.

Вот прошла в отдалении мерная череда верблюдов. Но нарисована она в бледном огне до того неясно, так бедна ее акварельная водяная желтизна, словно переводную картинку прилепили над горизонтом к небу, да поленились отскрести мокрый отёртыш.

Или покажется на дальнем холме верховой.

Но мелькнет он так быстро, так поспешно сгинет с глаз, что сиди и недоумевай: уж не померещилось ли?

Или отара овец высыплет где-нибудь. Но двигаться ей лень, тут же и прилипла, застыла она выцветшим лишайником или клочьями черного мха на оплавленном гуттаперчевом склоне. И вот уж не верится, что отара это, все сильнее искушение убедить себя, что это лишь прихотливый узор все тех же мертвых осточертевших камней.

Одного утешения можно было ждать в такие часы.

Иногда, всякий раз неожиданно, сколько ни жди, завивалось из-за ближнего взлобка рыжеватое-седое облачко. Доносился то и дело садящийся, словно охающий голос разбитой машины, показывалась и сама водовозка, объезжавшая юрты окрестных пастухов.

Приезжала она не по графику и не каждый день — в разное время, но всегда в первую половину дня. Парень принимался всякий день ждать ее задолго до возмож-

ного появления, ждал и после полудня, ведь само ожидание, как ни крути, скрадывает время.

Шофер водовозки бывал всегда тот же.

Пыльный вылезал из кабины в черной на спине и под мышками рубаше в линялую клетку, в рыжей после долгой носки утловатой кепке, всегда сбитой наперед. Пока летал парень в дом за бочкой, за флягами, шофер присаживался на корточки в призрачной тени от выступа крыши. Свесив голову, он задумчиво поплевывал на песок.

Парень завидовал ему.

Парню представлялось, что ездить по всей пустыне от восхода, когда земля зыбится и косыми полосами, сбегаящими с востока, лоснится под росой, до заката, дремуче-дымного и жгучего в этих местах, дребезжать целый день по разношенным ухабным колеям, скользить напрямик через стеклянно-иросоленные, густого краплака снутри, выглаженные такыры и все слушать, как всплескивает непокойно, переливается за спиной живая вода, — легкое и счастливое занятие. Везде-то тебя ждут, всюду-то тебе рады... Усталость шофера, пропыленность, потность и нервная какая-то угрюмость казались поэтому парню особенно значительными.

Пепельная тень от крыши бывала в этот час узка, от нее отходила и еще одна, круглая, — от головы шофера. Он кивал парню: мол, наливай сам. Парень снимал с облупленного крюка на кузове пыльный шланг, толстый и шершавый на ощупь, смятый по длине игрушечной гармошкой. Вода гулко ударяла о дно фляги.

— Курить есть? — спрашивал шофер.

— Вон на лавке.

Шофер лениво закуривал.

— А где ваши-то все? Что ты все один да один?

— Они с утра уезжают. Возвращаются к четверем.

Шофер морщился. Сплевывал в очередной раз. Сдвигал на затылок кепку, и видны делались потемневшие от пота, русые свалявшиеся волосы.

— Ищете, что ль, ископаемые? — задавал он всякий раз один и тот же равнодушный вопрос.

— Нет, — откликнулся парень с готовностью и сегодня все наново объяснить. — Дешифровкой аэроснимков занимаемся.

— Это как?

— Ну, составляем геологические карты района. У нас есть снимок, с самолета полученный...

— Понятно.

Шофер, зевнув, отбрасывал едва начатую сигарету.

— Как зовут-то?

— Меня? Вадим.

— Понятно, — повторял шофер. Но своего имени не называл.

Тем разговор и кончался.

Водовоз залезал в кабину, козырял молча, заводил мотор. Водовозка трогалась — парень долго смотрел вслед, пытаясь угадать, в какую сторону теперь направится шофер, — вскоре скрывалась за взгорком. Тогда парень принимался затаскивать в дом полные фляги, потом закатывал бочку...

Прошел полдень.

Превозмогая истому, парень поднялся с лавки. Отправиться с ходу на кухню было выше сил, так что он сперва побродил по комнатам, заглядывая во все углы,

— искал богомола, что пропал прошлым вечером. Разумеется, никого не нашел. Переступил порог кухни. Здесь был влажный полумрак.

Окошки подпотолочные занавешены, земляной пол спрыснут и выметен. Пахло молотым к завтраку кофе, а от сохнувших на веревке кухонных полотенец — сухими грибами.

На столе, на середине, одиночеством своего стояния не на месте как бы подчеркивая важность содержимого, рисовалась большая темная кастрюля. Парень подошел к ней, приподнял крышку и сперва лишь издали потянул воздух носом. Но не сдержаться было. Он извлек из кастрюльного чрева обкатанный серый голыш, служивший прессом, вытащил полуутопленную в черно-ржавом соке глубокую тарелку с прилипшими по обводу двумя лавровыми листиками, нюхнул вплотную, разогнулся и стал любоваться.

Пышная парная баранина, нарезанная крупно, мариновалась там, в душной утробе. Купалась в уксусе, питалась перцем, сочилась и истекала.

Парень снова согнулся. Припал, задохнулся, сглотнул, почмокал. Тихо, словно боясь разбить, убрал тарелку на место, водрузил камень, осторожно и чуть не украдкой устроил крышку и с новым вздохом уселся на складной табурет, придвинул мешок с картошкой, ведро под очистки, кастрюлю с водой. Взялся за нож...

Впрочем, всем ли интересно наблюдать, как неловко парень срезает кожуру, оставляет глазки?.. Осмотримся-ка получше.

С первого взгляда видно — хозяйство здешнее заведено примерно.

Вдоль стен кухни выстроились вьючники с лысоватыми фанерными крышками, набитые непортящимися продуктами, а также полуфабрикатами. В углу громоздились новые, тинно-зеленые и старые, линялые и выцветшие баулы, поверх лежало несколько волосатых мотков веревки, восьмерка шелкового шнура. Стояли ведра: алюминиевые и одно оцинкованное, две новенькие фляги и стянутая ржавыми обручами бочка, большой бидон и бидон поменьше с крышкой на бечевочке.

На полках, сколоченных из привезенной с собой фанеры, умещались всякого размера миски; одна в другую наставленные боком — так, что получалась шаткая на глаз пирамида, — темноцветные эмалированные кастрюли; виднелся толстостенный чугунный сотейник.

На гнутых гвоздях по стенам были развешаны: жирночерные, в густой давней саже, сковороды; дуршлаг; шумовка на длинной ручке, обмотанной изоляционной лентой; толкушка для пюре, подвешенная на пластмассовом красном проводке; доска для разделывания мяса, массивная и растрескавшаяся, и две доски поменьше, на одной из которых кто-то выжег давно, от скуки видно, стершийся уже кособокий домик с трубой. Наверху, под потолком, на протянутой специально вдоль всей стены доске, мерцал ряд жестяных, красными и синими квадратами украшенных, металлических банок для круп. Завершал это великолепиие веер отточенных с невероятным старанием кухонных ножей с тяжелыми ручками, торчавших из подставки на столе.

Не забыть бы, впрочем, и газовую плиту. Две конфорки, три пузастых баллона и змея шланга к одному из

них: стальная спиралька на хвосте, серо-крапчатый редуктор вместо капюшона.

Было и всякой всячины, глазом неохватной. Баночки, тряпочки, ситечки, мерочки, вазочки, ступочки, рюмочки, крышечки, ключечки, ложечки, кружечки, пробочки, ежички, цапочки, щеточки, венички, терочки, блюдечки; а по диагонали из угла в угол — толстый шнур, на котором на запекшихся веревочных петельках развешаны куски бараньей туши: бордово-черные, с млечно-голубыми сухожилиями, с видными кружками чернильного клейма, в желтоватом жиру, кой-где зазеленевшие и прикрытые небрежно марлей — от мух.

Из этого-то мяса и предстояло парню готовить суп и второе.

Однако, спросите вы, кому в голову пришло к такому-то хозяйству подпустить ленивого и неумелого парня? Была вручена ему, конечно, поваренная книга, настроено сказано сверяться во всем по ней. Да и устно дадено наказов и советов. Но все одно, коли уверен человек, что котлеты делаются из уже проваренного мяса, так ведь сперва варить поставит, а потом уж в книгу полезет.

Нужен был на кухне женский глаз. Но так уж было договорено: коли не найдется повариха на месте, будет на кухне парень. Повариха не нашлась. Парень варганил кое-как супы из концентратов, мастерил невиданные какие-то блины из блинной муки, макароны опускал конечно же в холодную воду и, получая за кулинарные свои старания лишь нагоняи и взбучки от начальства, нарекания от остальных, уверен был, что работа других,

в отличие от его собственных обязанностей, — сплошное развлечение.

Дел-то: шатайся целый день по солнышку — да и не целый день ходи, большую часть пути везут тебя, — помахивай молоточком и собирай камешки. А здесь?

Он старался развлечь себя хоть тем, что срезал кожуру бойко завивающейся спиралью, да только она все отрывалась невпопад, или утолщалась некстати, или люпалась, сырая и скользкая, на голую ногу. И все стоял в ушах какой-то шум.

Словно где-то жужжит мотор вдалеке. Да только знал уж теперь парень точнее точного, что это обман.

Так всегда было — пошуршит сухим листом вонючки ветер под окном, взлетит где-то рядом в тишине скарабей, а он уж бежит, бежит во двор — встречать, еще не зная кого...

Шум нарастал. Но парень сидел упрямо, лишь вздрагивая, замирая на миг, вслушиваясь. Но только замрешь — тихо делается до звона в ушах, вновь примешься за картошку — снова гудит вдалеке...

Хватит! Последнюю картофелину зашвырнул он в кастрюлю, получив немедленно сдачи — фонтанчик грязных брызг в лицо, поболтал перемазанной рукой в коричневом бульоне, пальцами перебрал сырые кругляши, побрел во двор воду слить, сцедил, картофелины придерживая, возле пролома в изгороди, распрямился и увидел перед собой явственно выплывающее из-за недалекого гребня пыльное облачко.

Вот показалась и сама водовозка, скрылась с глаз, выползла ниже.

Ржавый ее кузов почти сливался со всем вокруг, парень щурился, из виду ее не теряя, но вдруг почудилось: на этот раз шофер не собирается заворачивать, а едет мимо, мимо. И парень закричал, замахал руками, подпрыгивая, и кричал, пока не убедился, что водовозка идет, переваливаясь по буеракам, к кошаре напрямик.

Ворчащая утробой машина была уж метрах в двадцати, как парень разглядел, что в кабине на этот раз шофер не один. Водовозка добралась до уезженного пяточка перед домом, мотор дернул раза два, машина затряслась беззвучно, словно сдерживаясь, чтоб вконец не расчихаться, заглохла, наконец. Дверца отпахнулась, шофер высунулся над ней, крикнул:

— Один, что ли?

— Один, — пожал плечами парень.

— Ну так принимай — тещу тебе привез!

И тут же из-под второй дверцы показалась голая нога и принялась, дергаясь вразброс, шарить внизу ступеньку. Уставив ногу, теща поползла из кабины задом. На ней было застиранное коричневое платье, брели по которому унылые бордовые цветы, с насквозь черными окружьями у подмышек, и, пока она пятилась, из-под задравшегося подола светили грязного цвета длинные трусы. Парень отвернулся.

— Что ж тещу-то не встречаешь? — ухмыльнулся шофер. — Иль не рад? Начальница-то ваша повариху искала, вот эта самая повариха и есть. Тетя Маша, прошу любить и жаловать.

Постепенно делалось яснее, отчего лезла тетя Маша из кабины задом, долго и медленно. За ней, словно

улов в неводе, тянулась длинная связка сеточек, узелков и сумочек. Багаж, по извлечении, выглядел так: к большой дерматиновой сумке приторочены были две авоськи, к авоськам подвязаны тряпичные узелки, тут же была и картонка с ботинками, стовитково перехваченная бумажной бечевкой.

Когда все хозяйство, как ручной выводок, остановилось возле ее ног на земле, тетя Маша освобожденно подергала плечами, деловито повозила локтями по бедрам, поправляя что-то на себе, хриповато спросила, обращаясь к шоферу:

— Ну, кто начальник?

Лицо ее было опухшим значительно.

Глаза красны и малозаметны, словно над двумя круглыми, свеклой вымазанными щеками прорезали две карие щелки. Большим пузырем торчал из-под платья живот, пустые груди спадали на него. На коротких босых ногах имелись домашние тапочки с серой выпушкой по грязным щиколоткам. Была тетя Маша сейчас, по всей видимости, пьяненькой.

— Энтот, что ль?

И она уставилась на парня, ухмыляясь и покачиваясь, а руки для устойчивости уперев в бока, кистями назад.

— С бо-ро-дой, — протянула и ухмыльнулась шире. Шофер наблюдал сцену с удовольствием.

— Ну, начальник, в дом веди!

Подхватив узелки, тетя Маша бесцеремонно устремилась в дверь; обескураженный парень поспешил за ней; посмеиваясь, пошел и шофер.

— Энто ничего, уютненько устроились, — отпустила повариха, очутившись в большой комнате. — Показывай, где моя постеля?

— Я... я не начальник тут, — пробормотал парень, с неприязнью на нее глядя.

— А чего вылупился? Без тебя знаю, что не начальник. Я, считай, поварихой без малого сорок лет. И в столовых, и по экспедициям по вашим. Начальников о-ой сколько перевидала... Ты скажи лучше, чего здесь торчишь, когда начальник на работу ушел? Сторожишь, что ли, молод еще сторожить. Ишь здоровый какой! Где постеля?

—Заместо повара он у них, — ввернул водовоз.

—Повара? — Тетя Маша уставилась на Вадима. — Это как же понимать — повара?

—Вы... повежливей, — выдавил парень, алея.

—От так повара нашли! Да что ж ты готовить умеешь-то? Ты, к примеру, харчо готовить умеешь?

—Никто вас не ждал, — возразил парень как мог решительнее, — постель для вас не готова. Если хотите, могу поставить раскладушку в общей комнате. Если нет...

—Это в какой такой общей? — поинтересовалась повариха, и от нее тихонько пахнуло перегоревшим портвейном. — В бабьей?

—У нас бабьей нет.

—И почему это не ждали? Мне вот Толик сказал, что как раз ждали. Да, ты сам ничего не знаешь, — махнула она на парня рукой. — Вот приедет начальник, он те скажет, кого ждали, а кого нет. Иль ты думаешь, — прищурилась она с интересом, — очень мне надо по

пустыне по этой таскаться? Я б и дома посидела, вполне. Но Толик сказал: поезжай, мол, тетя Маша, повариха нужна позарез. А я что, я людям завсегда рада помочь. Я Толику и говорю, что месяц могу поработать. Дочке то да се подкупить надо, сама на одну пенсию... — Но тут она широко-широко зевнула, показав для обозрения немногие зубы в аккуратных недавних стальных коронках.

— Ты ее на время в апартамент к начальнице и определи, — посоветовал шофер шепотом и украдкой щелкнул себя по горлу, кося глазом и подмигивая. — Пусть проспится пока, там разберется.

Парень принес раскладушку.

— И не надо ничего, усё. Дверь закрывай...

Не успел парень рта раскрыть, как дверь хлопнула, раскладушка вскрикнула, поныла еще, и тут повариха засопела так громко и так обиженно, словно понарошке прикинулась спящей.

Хороша теща? — поинтересовался шофер. Оказав услугу, он, видно, почувствовал себя в доме запросто и по-хозяйски придвинул стул к столу. — Иди наливай воду-то.

— У нас с прошлого вашего приезда только одна фляга и вышла.

— Флягу и налей. А то скоро не приеду.

— Почему так? — остановился на пороге парень.

— Да так. Может, в отпуск уйду, может, совсем уволюсь. Не знаю еще. Да только пока другого найдут...

— Мы только три дня на вашей воде протянем.

— А я чем могу помочь? Наполни всякие кастрюлечки-фюлечки, а там экономьте. Вам что, у вас коло-

дец рядом — и помыться, и всякое такое. Слышь, может, насчет чайку сообразим, а?

Шофер снял кепку и помахал ею перед собой, отдуваясь. Обмахнувшись, напялил снова. Парень поставил чайник на газ.

Он вышел во двор и наполнил флягу. Потом налил бидон и большую кастрюлю. Вода была мутная, ржавая, теплая.

Шофер ждал за столом. Широко расставил локти и курил «Беломор».

— Могу сигареты дать.

— А что сигареты? — бойко откликнулся водовоз. — Вот это — табак! — Он помахал в воздухе папиросой с изжеванным мундштуком, зажатой в пальцах. — А в сигареты в твои понапахают дряни разной. Да еще фильтр приклеят, чтоб дрянь в нос не шибала. А это — вещь! Ее иной раз прикуриваешь, а бумага аж трещит, табак вспыхивает, конец, как цветок, распускается...

Парень пожал плечами. Обычно шофер не отказывался от его сигарет.

Они сидели друг против друга за столом.

— Жарко очень, — помолчав, пожаловался парень — сказал, чтобы сказать что-нибудь.

— Не холодно.

Парень взглянул на шофера украдкой. Что-то новое было в водовозе сегодня, не будничное.

Замурлыкал сонно чайник на кухне. Затих на мгновение, затем громко застучал крышкой.

— Покрепче заварить?

— Да мне чтоб желтенько было. Главное — кипяточку...

Парень налил кипятка в прошлую заварку. Наполнил кружку до краев и придвинул шоферу. Тот облапил кружку перепачканными ладонями, не стужа, не дуя, приподнял над столом, наклонился, приладил половчей губы к краю и стал пить кипяток большими глотками, по-видимости не обжигаясь.

Парень глазел на него. Парня всегда радостно удивляло любое незаурядное умение в других.

Шофер поставил кружку, допив чуть не до дна. Облегченно вздохнул, икнул горлом и снова зажал в зубах папиросу.

— Ерундово вам здесь жить, — проговорил он довольно и пустил дым дуплетом из ноздрей — проговорил утвердительно, но как бы между прочим.

— Да ничего.

— Это четверо вас мужиков и баба одна?

— Да.

— Кто хоть ее? — Шофер указательным пальцем правой руки звонко похлестал по большому левой. И ослабил: — Сколько платят-то хоть?

— Кому? Мне?

— Ну тебе, к примеру?

— Мне немного. Я рабочий здесь, третьего разряда. У меня оклад семьдесят восемь...

Шофер присвистнул:

— И все, что ли?

— Плюс полевые. Еще процентов восемьдесят.

— И это за сто пятьдесят ты здесь надрываешься?

— Шофер помолчал, разглядывая парня и с интересом, и с неприязнью, как тому показалось. — Да ты бы лучше на прииск пошел. Там рабочие прилично зарабатывают.

До трехсот, точняк говорю. А здесь что? И денег не платят, и сидишь в пустыне, как гад. Ни баб, ни пойти никуда. Пьете хоть?

— Не пьем, — сказал парень.

— Ну да, говори. — Шофер подмигнул. — Сухой закон, да? Это когда всухомятку хавать запрещается?

Водовоз усмехнулся. Помолчали. Слышно было, как за дверью сопит тетя Маша, иногда приговаривая во сне, как фальцетом, все в один голос, ноют мухи, копошась на потолке.

— У меня-то, конечно, копейка идет, — заговорил водовоз снова, — да только видал я в гробу такую работу. Пропали она пропадом. Лучше меньше на карман получать, чем так.

— Почему?

— Как почему? Поди, поезди с мое. Как объяснить. Дуреешь в пустыне в этой, вот что. Трясешься, корячишься... Иногда едешь, едешь, думаешь — и вроде как дурной становишься.

Больше спрашивать парень не решился.

— Еще чаю хотите?

— Лей... Ну вот, а теперь я решил — баста. Враз решил, вчера вечером.

— Знаете, — парень сменил тему, — к нам вчера на огонек один пастух приезжал...

— Так вот, — не слушая, добавил водовоз и взялся за кружку.

— Он рассказывал, — гнул парень свое, — что где-то в округе, три часа на лошади ехать, пресный колодец есть. Или не колодец, а родник, что ли. Он по-русски плохо, так что не поймешь... Далеко это, не знаете?

— Бывает, — ответил шофер невпопад и чиркнул спичкой, прикуривая потухшую папиросу.

— Как, то есть?

— Ну как? Бывает — остается открытой скважинка какая, озерцо и натекает. Только высыхает быстро, конечно. Может, про это он говорил.

— А что за скважинка?

— Ну, пробурят буровики. Ищут воду, пробурят, вот и скважинка. Поначалу смотрят — вроде есть вода. А потом напор слабеет, они и бросают ее, когда видят, что воды внизу мало. А воды здесь везде нет, бури сколько хошь. Да только они специально это делают. Им совхоз платит. Вот они и бурят где ни попадя. Копейку получают — и хорош! А вода, глядь, и вышла вся.

На лбу шофера высыпал бисер.

— А сами знаете, где это?

— Что?

— Ну, озерцо.

— Да нет, я так, вообще говорю. Сам не был. Но ребята наши, шофера, рассказывали — вроде кто и был.

— А много там воды?

— Да по-разному говорят. Одни — по щиколотку, другие — по колено. Ребята трепали — купались даже. Вокруг-то песок — вот тебе и пляж!

— А вы?

— Что я?

— Сами-то отчего не съездили?

— А что я там забыл?

— Ну как же. Искупались бы, и вообще.

— А у меня вон купальня. — Шофер кивнул во двор.— Вон стоит. Стало жарко — стоп, машина, вылез из кабины и в бочку!

— В бочку? — эхом отозвался парень.

— А что? Очень даже хорошо. Сидишь по горлышко, прохладненько.

Парень смотрел на него. Не мог понять, погибает шофер ради красного словца или говорит правду.

— Да только как вылезешь, хоть тут же обратно полезай. Еще жарче становится...

Довольный произведенным эффектом, шофер ухмыльнулся во весь рот, полный крепких щербатых желтых зубов. Шваркнул окурок в пустую кружку, и тот коротко и зло что-то прошипел. Вытер красную шею воротником рубахи. Потом снял кепку, показав с исподу на подкладке едва малиновый ромбик клейма, почти слившийся с засаленной тканью... Недавняя симпатия, которую испытывал парень, улетучилась.

— Спасибо за угощение, — сказал шофер, вставая из-за стола.

— Не за что.

Вышли на улицу.

У машины шофер обернулся:

— Как тебя зовут?

— Вы уже спрашивали — Вадим.

— Ну, правильно. А меня Толиком. Слышь, а какой такой пастух приходил? Где живет?

— Не знаю. Он сказал — здесь рядом его юрта.

— В той стороне? — показал шофер направление своего обычного пути.

— Вроде да.

— Молодой? Постарше?
— Лет сорок — пятьдесят.
— Самому-то сколько? Девятнадцать.
— Понятно. Пастух здоровый. Бритый, да?
— Он в шляпе был, может, и бритый.
— Ну он, он, Телеган его звать. А зачем приходил, что ему надо было?
— Не поймешь. Может, чаю хотел попросить — он сказал, у него кончился. Может, просто так посидеть.
— Он такой...
Водовоз не сказал — какой, а полез в машину. Уселся, оглянулся в окошко.
— Он днями племяннику отару доверил, а тот овец порастерял — я их обоих вчера встретил. Племянник говорит, что ворует кто-то, собака будто кишки принесла, да только врет, кому здесь воровать. Племянник просто обалдуй, вот что. Теперь на пару пьют, небось.
Шофер глянул на себя в зеркальце, прилаженное сверху, поправил кепку, стянув ее вперед, пригладил пальцами виски.
— А может, вас заподозрил, проверять приезжал. Он, Телеген этот самый, такой — вроде как чокнутый. — Водовоз растопыренной пятерней попорхал в воздухе возле своей головы. — С большим приветом, да. Ну, бывай!
И водовозка тронулась.

Глава 3. ВДВОЕМ

В два часа пополудни километрах в двадцати от кошары в жидкой тени углом источенного покатога камня, очеркнувшего выгиб неглубокого сая, на сбившейся одежде, брошенной на сухую землю, сидели в обнимку женщина и мужчина и переговаривались тихо, словно боялись, что их услышат.

Несмотря на позу и мятость одежды, разговор их, однако, напоминал скорее производственный.

— Помнишь, Миш, мы в этом году Восьмое марта на работе отмечали? — говорила женщина тихо. — Салтыков к нам только перевелся тогда.

— Может, двадцать третье февраля?

— Да нет же. Я точно помню, я тогда уж в плаще ходила. Ну вот, получилось так, что мы с ним рядом за столом сидели. Ты еще так наискосок от меня, слева Галкин, а он справа, ну вот как ты теперь...

А теперь сидели так.

Она слева от него. Ее поэтапно загоревшая правая рука лежала на его голом колене, в левой, загоревшей так же, была в брезент зачехленная фляга с отвинченной крышкой. Женщина, видно, приготовилась пить, да некогда было за рассказом и невкусно: вода во фляге разогрелась, пахла затхло.

Мужчина обнимал ее за плечи. Он кивал в такт словам, но на нее не смотрел, а украдкой играл в свободной руке камушком.

— Сидим, треплемся, тут с другого конца его попросили передать что-то. Он потянулся через стол, я, как почувствовала, ноги подобрала, пепел с его сигареты мне на колени прямо. Колготы поехали, немецкие за семь семьдесят, а мне еще в гости идти. Ты б слышал,

как он извинялся. Покраснел, переполошился, кондрашка б не хватила из-за моих колгот...

Пока женщина произносит этот монолог — несколько штрихов к ее вчерашнему портрету. На мужчину она тоже не глядит, оглаживает взглядом свои ноги, вытянутые па земле, ватные, носками внутрь. Раковины коленей круглые, крупные, с морковной окаемкой, со смуглыми впадинками внизу. Колени низкие, икры крутые, узкие щиколотки, кеды на размер больше требуемого — под шерстяной носок. Шорты тоже подобраны не в обтяжку — в обвис. Пестрая кофточка из дешевой выбойки с какими-то оборками, сшитая, по всей вероятности, собственноручно, снабжена вечно оттопыренным карманом под незаметной грудью — для блокнота. Сейчас кофта совсем отстала от тела, висит мешком. На голове косынка, тесно повязанная на лоб, концы которой скрещены под затылком и связаны наверху в длинный узелок, торчком торчащий, словно антенна. Устроенная таким образом, косынка делает лицо, очень загорелое и круглое, еще круглей и меньше... Сделав паузу, чтобы глотнуть-таки из фляги, она утерла рот тыльной стороной ладони. Кисть у нее маленькая, удлиненная, коричневая, пальцы с чистыми и круглыми ногтями, вся в мелких морщинах. Попив, продолжала:

— Другой на его месте, чем суетиться, сбегал бы в ближайшую галантерею, купил бы новые, да подешевле, если денег жалко, а то...

В этом месте мужчина, сколько ни сдерживался, зевнул-таки, и она подвела итог:

— Стелет он мягко, да жестко спать, так-то.

Женщина подняла целлофановый пакет, на котором оставались крошки печенья, сняла руку с колена мужчины, принялась пакет складывать, стараясь перегнуть ровно пополам. Мужчина завинтил флягу. Сунул в рюкзак, обнял женщину, чмокнул в щеку — она было потянулась к нему, крошки посыпались по голым ногам — и тут же поднялся.

— Пойдем?

— Ты наелся?

Он только пожал плечами. Женщина встала, придерживавшись за его запястье. Собрав одежду, оглядевшись и потоптавшись — не забыли ли чего, они двинулись дальше по мелкому руслу. Шли молча. Пока они молчат, можно рассмотреть и мужчину, того, кто зачастую ироничен и сведущ в вопросах энтомологии.

Он щупл, поджар, мускулист, молод, шорты туго обтягивают худые загорелые редковолосые ляжки. Рубашку, отряхнув от песка, он накинул на плечи, схлестнув под горлом короткие рукава. У него светлая борода, особый, с веерками мимических морщин к вискам, прищур подернутых непрременной прозрачной слезой светлых глаз. Походка легкая, чуть подпрыгивающая. Геологический молоток он несет щеголевато, держа за ручку посередине, и молоток в такт его шагам клюет носом.

Солнце между тем, перейдя далеко полуденный перевал, повисло, устроилось посреди бесцветного неба в гуашевом коконе, пекло так, что не то, что идти — говорить было трудно. С утра оно стягивало с земли последнюю влагу, превращало в дымку и флер, нынче и их скомкало и слопало на здоровье. Воздух сделался не-

двигаем и невидим, безо всяких турбулентных потуг, что, впрочем, предвещало в скором будущем ветер. Русло, по которому они шли, углублялось и сужалось, так что выбор для привала малотеневое и неглубокое место объяснялся лишь отсутствием впереди достаточно ровных горизонтальных участков. Сужение и углубление это обнажало справа по ходу в напластованиях сланцев белые жилы кварца, что было интересно нашим героям с геологической точки зрения. Дальше в прогале виднелся при повороте обрыв, бурые суглинки над выходом красного песчаника, а за обрывом рос срезанный наполовину сливочно-бледный хребет, не острый, а смазанный, напоминающий полуобвалившуюся глинобитную стену, поставленную над самым краем. В действительности хребет был очень далеко.

Шли так. Мужчина впереди, женщина сзади, но глядела не по сторонам, а на его ноги, словно сверяя свои и его шаги. После довольно длительного молчания он спросил, не оборачиваясь:

— Слушай, что ты все-таки решила сегодня в маршрут идти? В прошлый год, я помню, два дня было выходных, по-человечески отмечали. А теперь что? Подумаешь, так уж важно было доделать этот квадрат. Ну, завтра доделали бы, послезавтра. Тогда б и еще один повод был, а? А так — все в одну кучу.

— Я так и хотела.

— Это еще зачем?

Тут мужчина остановился. Остановилась и спутница, обвела взглядом склон.

— Отколи-ка мне кусочек.

Пока он орудовал молотком, добывая образец, ограняя на весу, женщина вытянула из подгрудного кармана карту, сверилась, нанесла точку.

— Так ты не ответила,— напомнил он, упаковав образец, надписав мешочек.

Они двинулись дальше.

— То-то и хорошо, что вместе: и мой праздник, и общий. Ведь если бы были только Николай Сергеевич и мальчишка, то и разговаривать не о чем. Но есть же еще и он! Я уверена, обо всем, что здесь делается, он прекрасным образом доложит Галкину. Ты, Мишка, у нас не так долго работаешь, а я всю эту контору насквозь знаю. Может, его и послали со мной, чтоб доложил, что здесь да как.

— А о чем доложит-то? Про нас с тобой, что ли, доложит?

— И про нас, и про другое.

— Думаешь, он про нас знает?

— Плевать, это меня меньше всего волнует. — Для пущей убедительности, что ли, женщина и впрямь на песок плюнула. — Ты вот о сегодняшнем дне говоришь. Мол, можно было в маршрут не идти. А ведь сегодня не праздник, не выходной.

— Как же не праздник-то? — Мужчина приостановился, и женщина легонько его подтолкнула. — Как раз сегодня и праздник!

— Вот он в Москве и доложит Галкину: мол, так и так, Воскресенская в рабочие дни вместо маршрута именины справляла, водку пили...

— Все равно пить будем.

— Вот поэтому и надо квадрат доделать. Тогда не личный праздник, а производственный рубеж. — Она усмехнулась и свободной рукой в воздухе помахала: — Понятно тебе?

— А что, в других отрядах не пьют? Или Галкин не знает, сколько у него алкашей в экспедиции?

У нас здесь дело особое. Подожди... — Она нагнулась к небольшому кусту — поковырять пальцем бугорок скопившейся возле ствола отваянной слюды.

Мужчина остановился. Скучно посмотрел на заголившую полоску молочного тела, на малиновый рубец повыше, на желтый загар над ним, задрал голову, развел локти, что было рта опять зевнул и всласть потянулся.

— И здесь отколи... Так вот, Салтыков раньше, на прежней работе, знаешь кем был — зам начальника партии, лично в его деле в кадрах смотрела. Зам! А здесь простым геологом будет? Значит, как минимум, ему нужен собственный отряд. На отряде он не застрянет, такие быстро вверх идут, но места пока нет. И возникает вопрос: почему бы Галкину в таком разе не послать его в чей-нибудь другой отряд, а? Почему именно в мой? Так что, как видишь, расклад неясный! Да и тип этот самый Володенька, доложу тебе, скользкий.

— Так ты думаешь, — снова раскрыл рот, но теперь уж будто разволновавшись прозрением, Миша, — он на твое место метит?

— Ничего не думаю, — сказала женщина быстро, сердито, — просто знаю факт: Салтыков здесь, со мной, а не с кем-нибудь. И с Галкиным, сам знаешь, отношения у меня не сахар. Выводы рано делать, но так или

иначе в этом поле все должно быть в ажуре, ясно? И я, Миша, тебя попрошу — вы с Николаем Сергеевичем тоже... поосторожней, что ли.

— Да понятное дело...

Солнце сползло к трем.

На первый взгляд смещение это незначительно: от половины третьего до двух сорока пяти. Но если идешь по пустыне, губы сохнут — лучше не облизывай, слюны во рту нет, слизываешь только соленый пот, — тогда и четверть часа приносит облегчение. Косые лучи пекут меньше, больше слепят, а пышет от самой растрескавшейся и запекшейся земли.

Воскресенская сильно дунула вбок — углом рта, надеясь отогнуть наплзшую на глаза прядь, но прядь не поддавалась, со щеки слетели искорки пота. Тогда она рукой добралась до выбившихся волос, остановившись на секунду, молоток зажав под мышкой. И догнала Мишу, ровно шагавшего впереди.

— У меня сосед недавно жигули купил, — сказала она. — Стою раз у метро на остановке, а он подкатывает. В машине все куколки да картиночки, от одного этого противно. А тут еще: с места берет, как горку с хрусталем двигает. Руль подальше держит, расплескаться боится. Скорость переключать — чуть не останавливается. Я извожусь, сижу как на иголках, аллергия начинается. Приехали, наконец. А он: не прокатиться ли нам, Людочка, в Загорск? Тут я ему и выдала по мозгам. Тебе, говорю...

Воскресенская отдернула руку с молотком, который устала было на широкий камень, взвизгнула и подалась назад. Из-под куста саксаула скользнула

вверх, сверкнула, выгнула и легко перекинула через пустые ветви серебристое тело, исчезла мгновенно тонкая змея. Слово не было.

— Это стрелка, — усмехнулся Миша, — всего-навсего. Мне сеструха определитель показывала. Там все пресмыкающиеся, а насекомые в другом.

— Где она? — Воскресенская с трудом переводила дыхание.

— Ищи-свищи.

— Боже, как я испугалась.

— А чего?

— Все потому, что неожиданно. — Она поморщилась с досады, поправила снова не успевшие выбиться волосы.

— Да чего их бояться-то? — Для пущей верности он и еще раз благодушно пошебаршил в кусте, топнул ногой. — Все, никого нет.

— Ведь не первый год. А все не могу привыкнуть к этой нечисти.

Миша смотрел на нее снисходительно. Было в его улыбке и мужское покровительство, и понимание подчиненного, руками знающего больше начальства.

— Трусишь ты, Людка, — проговорил фамильярно, — а она же безвредная.

— Ядовитая?

— Кажется. Но только сама она не нападает.

— Знаешь разве, что ей в голову придет.

Он продолжал усмехаться.

— Люд. Я все хочу спросить. Чего ты сюда ездешь? Тебе ведь Белоруссию предлагали. Что, из-за коэффи-

циента? Так ведь теперь копейки набавляют. А в Белоруссии...

Она поморщилась:

— Начала здесь работу, надо закончить.

— Без тебя некому?

— Ну и привыкла.

— Это к пустыне-то? Ну раз сюда съездил, ну два — для интереса.

— Тебе трудно понять. Я здесь все знаю. Горы вон, колодцы, дороги, такыры. А на чужое место...

Пейзаж, однако, не уставал меняться. Разговаривая, они двинулись вперед. Миновав узкое место, вышли на широкое. Открылась панорама. Вообразите себе, что вы не листаете, зевая, эту книжку, а сидите перед экраном, на который проецируют один из тех слайдов, какими в гостях, едва мы потеряем бдительность после ужина, нас угощают разгоряченные хозяева. Для начала расположите мысленно слайд несколько криво, и вы получите необходимый эффект наклонности изображения, какой преследует в пустыне утомленный глаз. Это сродни миражу: на плоском месте земля дыбится, заведомая возвышенность криво оседает набок. Затем представьте, что пленка до употребления перележала срок хранения, неловкий фотограф намудрил с выдержкой, а непроворный лаборант забыл ее в одном из бачков с проявителем. Все вместе сместило спектр, небо стало бутылочным с желтизной, холмы замерцали ртутными проплешинами, в правом верхнем углу вылезла туманная вуаль. Да еще пот, заливающий глаза. Да душный туман в голове от перегрева...

— Здесь делаем последнюю точку, — сказала Воскресенская и прислонилась к осыпающемуся выступу.

Миша взял образец. Облокотился рядом, утер пот со лба.

— Да, работка.

— А ты какую хотел?

— Ну, не камни же собирать. Искать что-нибудь, месторождения, золото там или нефть, что все геологи ищут.

Воскресенская принужденно усмехнулась:

— Это не легче. И потом, я ведь тоже геолог. Тоже думала, в поиск пойду, открывать буду.

— И что?

— Распределение. Да и дело не в том, это все романтика. Чему быть — само тебя найдет. Все открытия случайно делаются. Да и всё пооткрывали давно. Теперь романтика другая, надомная, так сказать. Видишь выход базальтовый? Может, по тому склону в верхнем мелу динозавр ходил, теперь мы с тобой. Романтика! Кстати, если б ты после маршрута каждый день решал задачу по геометрии, то математику подготовил бы, сдал бы на вечернее в сентябре. А потом и ищи.

— Сперва надо формулы выучить.

— Сначала в справочник будешь заглядывать, потом запомнишь.

— Не выйдет.

— Почему?

— Сперва выучить надо. Не знаешь броду, не лезь в воду.

Она посмотрела на часы.

— Жрать вообще-то хочется. Сколько там?

— Четвертый,— сказала она.

— Этот тунядец небось сварил и сегодня дрянь какую-нибудь. Только взглянешь на его блюда, есть на два дня расхочется.

— Не ты ж будешь готовить.

— А я давно говорил,— неожиданно злорадно и с обидой повернулся к ней Миша,— что надо в городе поискать как следует. Нашли бы повариху, верняк. А то он там спит целый день, после в кастрюлю кое-как всего набросает... Сама ж говорила, что никаких хиппи, никаких длинноволосых, которых папочки от армии спасают, на этот раз не возьмешь. А взяла. Подумаешь, папочка у него из министерства. Сам-то кто?

Женщина промолчала.

— И еще в тетрадку пишет, я видел, выдрючивается. Ты сперва отработай, а потом в тетрадку пиши. И все один норовит остаться. Что ему, со всеми плохо? Салтыков — тот хоть геолог, но тоже. Вчера футбол слушаем с Колей-Сереей, а он: можно потише? Ни фига, думаю, будто сам не слушает футбол. Можно подумать...

Скорей всего, Миша долго бы еще говорил, но оборвался. Он увидел: метрах в двадцати пяти, там, где русло, раскинувшись, выходило на уровень обветренных берегов, по плотному лессу, пересекая открытое пространство, не торопясь и волоча небрежно чешуйчатый пестрый хвост, выступала огромная, чуть не двухметровая, ящерица. Миша задохнулся, присел на корточки и на карачках пополз вперед.

— Что? Кто там?

— Варан. Тише только.

Присела и Воскресенская, скорей от страха. Полосатое туловище чудовища переливалось, тускло отсвечивала чешуя. Варан шел по освещенному, в движениях его была сила, повадка, и, если б не двигался он, могло б показаться, что тело отлито из тяжелого металла.

—: Где-то рядом небось нора у него.

— Они в норах не живут.

— А как же?

— Кто их знает.

— Нет, как раз что и в норах.

— Почему думаешь, что рядом?

— Они далеко не уходят, мне сеструха говорила.

Варан остановился. Повернул на шорох морду, застыл, словно лаком облили, и долго — или кажется так, когда на карачках стоишь, — долго смотрел в их сторону. Глаза у него походили на две треугольные щелки. Широкая плоская голова тоже была треугольна. В открытой пасти можно было рассмотреть острые треугольники зубов. Он ударил хвостом нетерпеливо, раз в одну сторону, раз в другую, раздраженный, видно, чужим присутствием и задержкой в пути. Потом приподнял тело на коротких кривоватых лапах — приподнял на несколько сантиметров над землей. Передернул рассерженно шкурой и побежал проворно от греха подалее.

Бегство варана решило дело. Не сговариваясь, словно того и ждали, забыв обо всем, ринулись что было мочи наши герои за ним.

Глава 4. ОРЕЛ

Все это время по параллельному саю километрах в четырех неутомимо шагал по жаре полный мужчина, тот самый Володя Салтыков, который больше помалкивал прошлым вечером и о котором мы столь наслышаны теперь. Лишь минут пять, как он присел отдохнуть. Сбросил рюкзак. Примостился в плоской выемке, привалился спиной к скале. Молоток выпустил из руки, но по привычке оставил рядом — нагнуться и ухватить. Он смотрел в небо.

Он прикрывал глаза — затенить разлитое магниевое сияние, — но тут же размыкал вновь, долго искал среди белого огня нестойкий черный штришок. Прямо над головой — или казалось только, что прямо над ним, — расправлял круги степной беркут. Чего-то недоставало сегодня в привычной горьковатой музыке одиночества, и вот, пожалуйста — собрат, коллега, пустынный тоже, орел над головой. За ним еле заметны желтоватые гребешки и перышки субтильных облачков, и орел грациозно разворачивается на их фоне — вольно, покойно, беспечально...

В нише каменной, однако, крючиться было неловко, и Володя, поколебавшись, оставил пожитки на земле, взобрался на скалу, метра на полтора, распластал крупное тело по горячему камню, ноги свесил вниз.

Особенное впечатление росло в нем, когда он разыскал орла снова, повел взглядом по невидимым дугам. И чем дольше, тем верней: единство с немятежным парением птицы, волнение до дрожи, но — под стать

орлу — тоже безмятежное. И отступало все другое. Нынешнее отодвигалось, стягивалось в пустячок микроскопичней точки в небе, прошлое уходило вовсе. Словно писал, писал, но неудачно — скомкал и выбросил черновичок. И только одно: законченность каждого круга, неспешность, бесконечность, небесная легкость, непрерывающаяся воздушность, но и обманность сладкая. Будто ведет скрипка, пропадает, и чем томительней пауза, тем невозможней угадать, где возникнет летящая птица вновь.

Не утирая пот, обильно струившийся от подмышек на каменное крошево, не шевелясь, не дыша — слушал. Каким видит птица сверху его самого? Представилось: глубоко внизу подрагивают веточки саксаула. Шевелятся извивы теней, вьется песок под ветром. Кремнистое поле, камни с красным, зеленым отливом, и среди зыбкого многоцветного сияния — крохотное недвижимое тельце человека. Будто обронил его кто с высоты. Распростерто оно, придавлено, припало к камню, утихло. Жалким должно казаться, нескладным, виноватым, что срослось с землей, что не в силах над ней приподняться.

Но и орлиный полет не волен.

На слоистой скале, нависающей над иссохшим руслом, слеплено гнездо. Вокруг и внизу все забросано клоками шерсти, забрызгано пометом, засыпано давними, белыми и нынешними, с целой еще роговицей, обломками черепаших панцирей, на которых видно кой-где сгнившее мясо. Торчат из гнезда три-четыре слепые головки на худых уродливых шеях. Шеи тонкие, в редком желтом пуху, сквозь который просвечивает

розовая пупырчатая кожа. Птенцы бормочут что-то, разевают тоскливо слабые горбатые клювы... Он оглянулся. Сонно, разморенно разлеглась повсюду немая морщинистая земля. А орел все летел, летел.

Сперва действительно ни о чем не вспоминал. Первые дни дивился, что там, где должна, казалось, раздаваться боль, гудеть незаполнимая пустота, нет ничего. Даже пустоты нет. То ли подпадаешь под наркоз, усыпленный пустынностью вокруг. То ли долгая дорога в эти места, жаркая, тряская, путаная, словно сбивчивый сон, отсекает разом все, что было. И минутами кажется неверным то, что звалось прошлой жизнью. И секундами сомневаешься — была ли она, прежняя жизнь...

Орел скрылся с глаз. Володя опустил веки. Разом стало жарко лицу, словно веки давали тень. Он облизнул губы. Поправил сбившуюся шапочку с бутафорским по здешнему солнцу козырьком. Но за флягой поленился спускаться, ладонью прикрыл глаза. Глянул на небо, но глаза устали, жгло зрачки даже сквозь щели меж красными сомкнутыми пальцами.

Орел должен был вернуться. Прошли те секунды, которых хватало птице описать широкое полукружие. Но небо оставалось пустым. Лишь легкий дым облачков едва заметно относится в сторону. Час назад бледные перья стыли в душном небе неподвижно. Поднимается ветер, решил он. К вечеру будет спускаться. И если погода не изменится, к ночи задует с севера. Это и лучше, чем эдакая тишина.

И то сказать, занесло его. Впервые оказался в подобной компании. Добропорядочность, скука, но ни одного приличного лица.

Затылку стало больно. Голова шла кругом. Под нещадным солнцем опаленной коже было холодно. И сколько ни жмурился, в ослепших глазах стояло близкое, рукой достать, небо... Сумасшедшая зима, думал он, пустой сумасшедший год. Нервы, нервы, мелочи. Ревность, обиды, подозрения, ссоры, мелочи. Все одно и то же, и дни отбрасываются, как костяшки на счетах... Он долго лежал так. Сжимал веки, и на груди было слышно чужое жаркое дыхание. Мягкой кистью, обмакнутой в горячую краску, провели по ногам. Загорелись руки. Пылающее облако окутало лицо и шею, стало трудно дышать... Но разве он бунтовал? Поначалу не любил сидеть дома, ее тоже тащил с собой. Позже сам — то на охоту, то в преферанс, а при ласковых встречах не всегда скрывал раздражение. Но тогда не было Машки. А потом — потом разве он не сказал себе, что нет у него ничего, кроме них двоих. Он не помогает? Он делал все, что мог. Превратился в механическую стиральную машину, пропуская через руки груды пеленок. Он никуда не берет ее в последнее время с собой? Перестал ходить куда бы то ни было. А так как Машку поначалу не с кем было оставлять, они вместе никуда не ходили. А там и некуда стало ходить. Но разве сделалось им от всего этого лучше жить. Во сто крат хуже, и кто объяснит: который из них виноват?

Он спохватился, прыгнул на землю, закинул рюкзак за плечи, подобрал молоток. Посмотрел, насколько спустилось солнце, — по давнишней привычке солнцу доверял больше, чем часам. Лишь тогда свинтил крышку с фляги, два раза глотнул.

Все вокруг — тусклый песок, камни, красный увал с мерцающими кусками гипса — покрылось голубоватой дымкой с густо примешанным желтком. По карте идти до условленного места оставалось всего ничего. И надо сделать еще две-три точки. Он зашагал, понес свое грузное тело — что-что, а ходить он умел превосходно. Вот только жара, в Сибири такого не было...

То и дело смахивал пот с лица, отирал шею. Но прошел сотню метров, и пот полил ручьем, не наутираешься. Затекло за пояс, прели ноги. Не надо было пить... Остановился, нанес иголкой точку на карту, подобрал образец, покрутил, бросил. Отмахнул другой, пристально рассматривал скол. Черкнул несколько слов в журнале — паста протянулась с бумаги до шарика липкой лентой, оборвалась, густо легла поперек написанного. И пошел дальше, каждым шагом укорачивая остаток сегодняшнего одинокого дня, приближая встречу. Вспомнил Воскресенскую, перед глазами возникли ее большие, плоские, внутрь повернутые ступни. И при разговоре с ней взгляд отчего-то всегда рано или поздно в них упирался. И это ее менторство, этот вымученный тон.

Сай неожиданно кончился. Растекся по сторонам неприметными руслицами, разбежался трещинками по земле — вопреки карте. Снова пришлось сверяться, судя по всему, он чуть не на километр ошибся. Последнюю точку пришлось проколоть наново, ближе на северо-восток. Впрочем, не его вина в ошибке. Эти снимки делали с воздуха лет пятнадцать назад, только теперь дошла очередь дешифровать. Но за полтора десятка лет в пустыне многое меняется, а укоротиться старому рус-

лу пяти лет хватит. Разрисовывают они теперь старые карты если не наобум, то весьма приблизительно. Значит, нужна и полезна кому-то такая работа, если трест дает деньги, заказывает. Запланирована.

Теперь надо идти не под углом, как хотел, а перпендикулярно к руслу, иначе промахнешься. Он полез на гребень холма, чтобы сориентироваться точнее, вспомнил предстоящий вечер. И прежний отряд. Был бы среди своих, с радостью домой торопился бы. А здесь — здесь и в преферанс сыграть не с кем...

Впереди лежал крутой запад, который и на карте отчетлив, дальше был виден медленный долгий накат, по которому часто торчали белые палки вонючек, а там должна была начинаться отутюженная равнина, хорошо со всех сторон просматривающаяся... Пересекая склон, Володя чуть не наступил на слившуюся с серым в отметинах камнем серую, посыпанную бурыми крапинами, словно поперченную, неподвижную ящерицу. Это была агама сантиметров семи в длину. Приоткрыв пасть так, что видно было нёбо — розовый нежный комочек за нижними зубами, — бесцветными глазами, не шевелясь, она замороженно уставилась куда-то. Обернулся и он. Среди вконец вылинявшего полотняного неба висело раздутое затуманившееся солнце. И тут же на его фоне — отчетливая одинокая точка.

Агама потревоженно вздрогнула, согнулась скобкой, проскользнула в ближайшую расщелину. Орел был хорошо виден. Но и оттенка прежнего глубокого чувства при виде его уже не возникло...

Машину он увидел посреди равнины — выцветший зеленый кубик на ржавой плоскотине. Возле суетился

шофер: обходил машину с одной стороны, с другой, нагибался, словно во все стороны от нее что-то нужное раскатилось. Пока Володя шагал по открытому, он был хорошо виден, но шофер заметил его, лишь когда тот подошел вплотную. И крикнул, хоть можно было уже не кричать:

— Здорово. Явился не запылился. Как прогулочка?

— Замечательная. — Володя вытирал пот, отдуваясь. — Их еще нет?

— Как видишь. А что, наше дело маленькое. Если начальству и свой собственный день рождения приспичило план перевыполнять, нам что, нам все равно. Пожалуйста.

Он подтянул брюки — единственное, что было на нем, не считая грязного носового платка, державшегося на голове на четырех маленьких перекрученных узелках, от пота черного, — повертел тощим задом. Брюки шофер снимал только на ночь или на время мытья, бывало страшновато смотреть на его ноги — синевато-белые, с фиолетовыми набухшими жилами, казавшиеся по небрежности приставленными к загоревшей дотемна верхней половине туловища.

— Что, припекает? — между прочим заметил Володя, указывая на платок.

— Припекает, — довольно согласился шофер. Его брови выгорели добела, красная кожа на лице была сплошь изрезана розовыми морщинками, отчего казалось, что лицо его идет пятнами, как у беременной. — Прикемарил тут без вас, — продолжал шофер по-прежнему радостно, словно сообщал для обоих радостную новость. — Просыпаюсь, брезент — чисто печная

заслонка. Вот поди в машину — без веника париться можно, по-фински, ага. Трещит сейчас голова, как с бодуна. — Шофер, однако, не стал изображать разбитость, а ернически и довольно сильно прихлопнул себя по голове ладонью. Заметив же вполне равнодушное Володино лицо, снова стал искать по земле.

— Помочь? Вы что-то потеряли?

— А, это... — Шофер снова расплылся. — Не-е, не потерял.

Володя пожал плечами, откинул раскалившийся брезент, забросил в кузов рюкзак, сунул молоток. Пригладелся, рассмотрел: по всему дну газика копошились, как в террариуме, бесчисленные черепахи. Цокали когтями по металлу, лезли на стенки, с костным стуком гулко плюхались обратно.

— А это откуда?

— Это-то? — Шофер стоял теперь метрах в десяти на карачках и оглядывал песок далеко вокруг. — А это для пепельниц. Из них пепельницы прекрасные выходят, не видели никогда?

Володя захлопнул брезент. Шофер поднялся и пошел к нему.

— Мы прошлый год целый вьючник увезли. — Глаза его до этого бегали еще по сторонам, но тут остановились на лице собеседника. — Такую кучу наделали.

Было слышно, как за брезентом копошатся черепахи, маются в поисках свободы.

— И как вы это делаете? — спросил Володя.

— Ну, это дело не хитрое. Значат, так. Сперва кладешь милягу перед собой, на панцирь наступаешь, чтоб

не уползла, и ждешь... — Шофер как бы подглядывал за выражением Володиного лица.

— Чего ждешь?

— Черепаха не дура ведь, верно.

— Возможно.

— Еще бы нет. Не дурее нас с тобой. Ей пепельницей-то быть не совсем хочется. Поэтому она голову свою втянет и сидит таится. И даже если ее за голову пальцами ущипнешь, все одно никакими силами из панциря ее не выманить. Пока сама не решит, добровольно.

— И д-долго ждать? — запнулся Володя и тоже взглянул на шофера прямо.

— Это уж, извини, от ее характера зависит. Какая понетерпеливей, поглупей или полюбопытней — та скоро голову протягивает. Какая поупрямей — та может два часа в панцире своем сидеть. Сидит, знаешь, в панцире, глазки выставит и глазками зырк-зырк, как живая. Но бывают среди них такие твари — день и два могут в своей костяшке сидеть. Будто все про тебя прокунькали, все твои благие намерения, и сидят. Кажется, век могут сидеть, помрут в панцире своем с голодухи, а головы не подставят. Животные, они, знаешь, тоже вполне того, чувствуют...

— И что с ними?

— С кем?

— Н-ну, к-которые сидят?

— Отпускать приходится. Но зато если высунула она голову, ты в этот самый момент голову ей ножичком — чик-чирик! И усё, и Вася. Потом снутри поскоблешь, как кровь сойдет, вычистишь, на солнышко поло-

жишь денька на два, чтоб проветрилась... — И, заметив кривую мину на лице Володи, шофер добавил с энтузиазмом: — А что? Лачком если покрыть, покрасить, хоть на рынок неси продавать. Вещь получается.

— И ч-что — на рынок н-носили? — Володя скартавил и скривил рот.

— Это к слову, кто ж понесет.

— А для чего ц-целый вьючник?

— Во-первых, как начинаешь это дело, так в азарт входишь. Мишка, например, любо-дорого научился их уговаривать. Мастер по этому делу. Целую техноумию разработал. Сперва взялся их в кипяток закидывать, но только роговица слазит, одна костяшка белая остается...

— Мне ваша технология ни к чему. Я удивляюсь просто: увезли вьючник в прошлом году — теперь мало оказалось?

— Так ведь раздали. Как сувениры из пустыни. Вот сам повезешь, так увидишь — каждый будет просить. У меня свояк только пять штук выпросил. Ребятам с базы отнес. Все хотят иметь... — Тут шофер встрепенулся, нырнул куда-то вниз, зашуршал кустом, достал крупную черепаху светло-песочной масти и с зазубренным плоским панцирем. — Ишь, голову спрятала, а зад выставила. Тоже спряталась. Вот только старовата малость. Как думаешь? — Он держал черепаху подальше, на вытянутой руке, и не зря — та не замедлила пустить в ход свое обычное оружие. — Вот твари, — изумился шофер, — не успеешь в руки взять, так обосрать норовит. Ползи уж, пенсионерочка... — Он опустил черепаху на землю, она довольно проворно, сильно загребая лапами, поспешила прочь.

— И что — Люда их тоже режет? — спросил Володя, картавя.

— Нет, она ж баба. Ее... как сказать... мутит.

Володя посмотрел на солнце нетерпеливо, потом на часы.

Было двадцать минут пятого. Он огляделся, нигде никого. Тогда он бросил штормовку на землю, уселся, достал сигареты. Раньше он не курил, но кто-то ему посоветовал для сбавления веса. Делал он это без удовольствия.

Шофер присел рядом на корточки. Тоже закурил, смяв предварительно гармошкой мундштук папирасы. Подмигнул:

— Что, освежимся сегодня чуток за здоровье начальницы?

Володя откинулся на спину.

— Вы скажите лучше, Николай Сергеевич, давно хочу спросить, отчего вас Миша всё Колей-Сережей называет? Несолидно как-то...

— Вот и я говорю, — ухватился шофер, — а он все — Коля-Сережа да Коля-Сережа. Вообще-то меня так ребята на автобазе зовут. А вон и в экспедицию просочилось. Завсегда так: кому дадут какую кликуху, так она и ходит за человеком, не отвязывается. У нас вот в доме сосед, здоровый мужик, рожа во, так его все Акулькой кличут. Его б Жеребцом или Мерином, а то — Акулька. И добро б фамилия была, положим, Акулов. А то Симкин ведь... Все от одного раза пошло.

Володя прикрыл глаза снова.

— ... Дело так было. Тогда на месте наших пятиэтажек деревня стояла. Раз взрослые пацаны пошли на

речку, а Симкин за ними увязался. Лет шесть было. А мать ему говорила, видно: на речку не ходи, там, мол, акулы тебя враз съедят. Ну, выходят к речке, а на берегу рыбу ловят. Симкин подходит к садкам и спрашивает: акульки, да? Так и пошли его звать пацаны. Теперь ему сорок годов, а он все Акулька.

Шофер засмеялся тихим смехом. Володя надвинул на самый нос козырек своей шапочки, лежал не шевелясь.

— И чего ты все скучаешь? — спросил шофер, выдержав паузу. — Чего скучать-то?

— Скучно, вот и скучаю. — Володя из-под козырька выпихнул языком сигарету. Для куража, что ли, шофер всегда при нем нес какую-нибудь околесицу.

— А чего скучно? — Шофер вежливо поднял дымившийся окурок, бросил подальше. — Не пойму. Кормежка неплохая. Пацан, правда, хреново готовит, но ведь главное, чтоб продукты были хорошие. А хорошие продукты как ни приготовь — хорошими и останутся. И начальство ничего, не прилипчивое. Правильно я говорю? Что еще? — не отвязывался шофер. Володя не отвечал ничего. — Если кормежка есть, начальник не такой, чтоб только давай-давай, в душу не лезет, так и хрен с ей, что она пустыня. По мне, например, все одно, где работать — хоть на Белом море, хоть на Красном. А здесь еще и за безводье платят. А какое ж оно, язви его, безводье, если водовоз всякий день бесплатно воду возит...

— Ну, где ж они пропали! — не вытерпел Володя, приподнялся на локтях, оглядел пустые холмы.

— Кто ж их знает. Сам понимаешь, баба она с закидонами. Может, следующий квадрат пошла пахать. Удивляюсь я на нее. Вот хоть сегодня. Ну, кто б на ее месте в свой день в маршрут попер бы? Скажи, ты попер бы в маршрут?

— Надо было бы — попер.

— Ох, такая здесь работа, гляжу я, авральная — камней набрал, и все дела. Нет, смотри, если б, положим, ты начальником был, чтоб сам себе голова, — все одно попер бы?

Володя вздохнул.

— Придут, куда денутся. Не нервничай первым делом. Не, вот был бы я начальником, так чтоб вся власть моя, да чтоб водочка заготовлена, да мяско парное, — не, я б... — Шофер потер ручки, почмокал ртом, глянул на Володю. — В армии был? — ни к чему спросил он.

— Не был.

— Больной, что ли?

— В институте был в лагерях, потом звание присвоили и в запас.

— И которое звание?

— Младший лейтенант.

— Да, теперь хорошо. Теперь раз — и сразу тебе офицера. И служить не надо. Раньше так не было.

Володя повертел головой, вытер шею, открыл флягу, но в ней было пусто. Он выцедил скучные капли на язык. Болтовня шофера нагоняла тоску.

— А вот был бы в армии, присказку знал бы на этот случай. Солдат, говорят, спит...

— З-знаю я вашу присказку.

Шофер далеко плюнул изжеванную папиросу, засмеялся, открыв стальной оскал. Платок на голове даже по углам счернел от пота, по жилистой шее текло. Капли ползли и ниже, лужицами копились у ключиц, бежали по безволосой, груди, оставляя средь седого поля шоколадные заблесты.

— А ты что, начальником раньше был? — спросил шофер

Володя хотел ответить, но придержался.

— А что ж сюда пошел, на простого геолога? — лип шофер пуще.

— Потому что здесь мне удобнее, — хотел небрежно, но чеканно вышло.

— Как же это — удобней-то? — радостно подцепил шофер — Там начальником, а здесь удобней. К примеру, ты сколько там получал?

— Все мои. Пойдите лучше черепах пособирайте. — Все «р» Володя на этот раз вовсе смазал.

— А ты меня не учи, что собирать, — отвечал шофер, радуясь все полней. Он покачался на корточках, весело разглядывая Володю. — И не переживай. Первое дело — не переживать. Молодой еще, все поправится. У нас вон на базе всякий месяц одного-другого за пьянку гонят. И класс снимают, и прав лишают А глядишь, прошел год-два, все забылось, он снова на базе, за баранкой и вперед других машину новую получает
Всякое в жизни бывает

Володя небойко усмехнулся и поднялся на ноги,

—Эй, смотрите, это они, кажется, — указал тут же рукой — Вон, на холме

— Кажется, нас зовут. Это еще зачем?

— Точно, вон Мишка рукой машет
— Случилось что-нибудь?
— Скорей нашли чего, показать хотят. Садись, мы к тому месту аккурат по ровному подъедем.
Володя, торопясь, полез на сиденье рядом.
— Эй, а куртец-то кому оставил? Куртец-то твой вон лежит. Ну, ты даешь, начальник! — восхитился шофер и завел машину. — Переживаешь слишком, потому и забывчивый.

Глава 5. ВДВОЕМ НА КУХНЕ

Однако, описав подробно обстановку кухни, я и слова не сказал о других помещениях в доме. Так не годится, слушайте.

Помимо большой комнаты, служившей столовой, кухни и темного закутка перед дверью во двор, заваленного досками, обрезками фанеры, канистрами изпод бензина, ветошью и инструментами всякого назначения, в кошаре было и еще две комнаты.

В одной, широкой, неуютных пропорций, земляной пол был прикрыт сношенным облезшим брезентом. Края брезента были загнуты у стен, чтоб грязь снизу по возможности не просачивалась, однако брезент был-таки грязен, весь в песке, глине, пыли, в белых метинах срывавшейся то и дело с потолка, косо планирующей штукатурки. Стояли здесь четыре раскладушки, на них спали мужчины.

Была комната, разумеется, разорена.

То сям то там торчала брошенная одежда, под ноги попадались кинутые под кровать носки, окурки, не угодившие впотьмах в жестяную банку с обрезанными краями, пустые пачки из-под сигарет и пачки из-под папирос; валялась трепаная, по листку распадающаяся какая-то книженция без титула и обложки; под брезентовым стулом, с лежащими на нем фонариком, транзистором в кожаном футляре и отощавшей до картонки трубочкой туалетной бумаги, кривилась неустойчиво сложенная вперепут стопа читаных газет и давнишних, свезенных кучей в пустыню журналов. Над одной раскладушкой на вбитом в кофейную стену гвозде висело чистенькое полотенце, но рядом такое же валялось мятым комом. Из четырех одна постель была заправлена, другие же вывернуты, будто лежавшие в них по ложной тревоге спасались от пожара. Из складчатых чрев то лез кремовый край простыни, то высовывался от спального мешка вкладыш такого оловянного цвета, будто над ним долго отачивали простые карандаши. Не убранные ничем и никуда чемоданы, затолканные по углам рюкзаки придавали помещению, при общем просторе и избытке площади, черты вокзального, чем, однако, напоминая об извиняющей обитателей бивачности их здешнего бытия.

Воздух, разумеется, стоял спертый.

Но проветривать в комнате было трудно — окошки под потолком воздуха не давали, а две двери использовать для вентиляции не годилось. Одна отворялась в столовую, другая — на задний двор, но открывать заднюю было бесполезно, так как вела она в бывший загон, забросанный многолетне пометом и наполнявшийся

подальше от полудня тучами мух и мушек, висевших над ним, словно затолканных в невидимый садок. Так что дверь эту, напротив, законопатили накрепко, однако мухи густо сочились сквозь несуществующие щели.

Вторая комната, по светлей и поменьше, аж с парой окошек, принадлежала Воскресенской и, разумеется, мало напоминала мужскую. Дверь из нее, как и дверь мужчин, вела в столовую, но тем сходство кончалось.

Хоть детали интерьера и были в основном те же, но употреблялись иначе. Кусок брезента, к примеру, вполне демократичный, если сравнивать с мужским, не валялся на полу, а развешан был по двум стенам. К нему удобно было приколоть и карты, и картинки, ухваченные от тех же, бесполезных на мужской половине «Огоньков». На полу же расположены были тоже не персидские ковры, а цветные перкалевые палатки, не понадобившиеся в этот раз. Раскладушка стояла в уголке прибранная, рядом — пустой вьючник вместо тумбочки, на нем книжка, завернутая и заложенная веселенькой открыточкой. И еще множество уютных вещиц присутствовало повсюду: керамическая кружка с нато-ченными разноцветными карандашами, коробка с нитками, да плечики с платьями на стене, да цветастая сумочка, да домашние тапочки у изножья постели, да с раскрытым ртом ножницы на гвозде. И вместе всё, по отдельности простое и привычное, складывало тепленькое мягкое гнездышко, пахнувшее из глубины сладко и манящее вглубь, обманывающее, что, не видное глазу, там и еще что-то есть... В него-то на свой страх и риск втащил парень утром раскладушку для вновь прибывшей.

Раскладушка долго молчала.

Парень, издергавшись вконец между булькавшими на плите кастрюлями, мытьем посуды и заметанием следов, позабыл было о тете Маше, как раскладушка неожиданно и громко крякнула. Парень прислушался. Повариха поперхала спросонья, явственно простонала, и в тон пружины что-то заупокойно проныли. Потом раздалось кряхтенье, тетя Маша высморкалась, проелизили по полу тапки, дверь в столовую приоткрылась.

Парень выглянул из кухни.

Предстала перед ним несомненно та же тетя Маша — постанывающая и заспанная, с той же опухолью на месте лица, в том же платье с бордовыми мятыми цветами. Но выражение всей ее скомканной коротконогой фигуры было столь отчетливо новым — виноватым, приниженным, — что парень застыл как стоял, тут же и убоявшись загадочного контраста.

Пряча глаза, неловко и боком, опустилась тетя Маша на складной табурет, поводила головой, просипела с посвистом:

— Уж извините меня. Это соседка все, ведьмюка.

Парень лупился на нее. Краем красного глаза тетя Маша нашла его в проеме и, убедившись, что ее слушают, справившись с накипью в горле, продолжила в пустоту: — Ты, говорит, Марья, куда едешь? В пустыню, говорю, к геологам.

Она глотнула воздуха. Был это, бесспорно, зачин исповеди, и парень воспитанно приселся тут же.

— А знаешь, говорит, что у геологов у энтих такой закон есть? Я испугалась, какой такой закон? А такой, говорит, закон, чтоб все трезвые ходили. По тому зако-

ну, говорит, кто пьяный во первый раз приедет — тому ничего, а кто на месте нажрется — сейчас штраф. А где, говорит, видано, чтоб перед дорогой не выпить? Я сама-то не пью, — уточнила повариха со скорым косым и жалобным взглядом, — а она, соседка-то, пьянь лютая, три раза леченная, колотая и зашитая. Но только ей лечение — что слону дробина. Здоровше меня в три раза, вот и уговорила. Сперва рупь взяла, потом еще два и посуду. — Повариха вздрогнула, зябко потерла кулачки, ежась, продолжала: — А я смолоду не пью, считай, первую рюмку-то пригубила на старости лет. Из старообрядцев я, из староверов иначе.

Парень не кивал, не соглашался явно и, чего доброго, не верил, а сидел против нее с внимательным выражением.

— Так они, староверы, ни-ни, не пьют, — с нажимом и убежденно втолковывала тетя Маша, — вера ихняя не позволяет. С этим делом строго-настрого. Я из деревни-то рано ушла, вотчим не пускал. Как наказал с этих вот лет кудельку тянуть, так ни шагу из дома. А я кудельку справно тянуть умела. Щиплешь пальчиками, а кудельку тянешь. Понятно вам?

Парень кивнул добросовестно, но тетя Маша взглядывала на него с сомнением.

— А как вотчим помер, есть нечего стало, мы и разбрелись кто куда. Я на стройку пошла, в город, в общежитии жила. А со мной одна в комнате, на манер этой соседки, только, считай, мордатеи. И были у ней именина. Гостёв приглашала, все мужичья, и все с самогоном вваливаются да за стол. Я сижу в уголочку тихонько, а они как пошли, как напились, вокруг нее так

и толчь, так и толчь. И сама приняла как следует и давай ко мне приступать. Поди, говорит, Марья, да со мной выпей. Знала, хрюшка паскудная, что не пью, а все одно орет на мене, это чтоб пред кобелями своими фасон держать. Проздравь, кричит, мене, Марья, как есть проздравь. И так прилипла, что банный лист: проздравь ее да проздравь. Я ни в какую, сижу ни гугу, тогда схватили они меня, двое держат, псы здоровенные, а она, бядуга, рот мене разжимат и сивуху в рот залить хочет. Я-то зубы сжала, не даюсь, головой верть да верть, а она пуще ярится. Не хошь, орет, мене проздравить за мое здоровье? И пошла по щекам бить. Хлещет эдак по лицу, псы гогочут. Справились, конечно, — вздохнула тетя Маша, наклонила голову по-девичьи и почертила пальцем на подоле. — Мне тогда годков двадцать и было. Влили, зажгло огнем, голова кругом, возле рожи жирные смеются, плывет все. Потом рвать стала. И стыдно мне, и рвет мене, и жгет огнем. С того вечера два дня домой не ворочалась, ходила над рекой, топиться думала. Да вот не утопилась... Меня Марьей Федоровной зовут. Да только зови тетей Машей, все так кличут. И зять тетя Маш, и соседи тетя Маш, и внучок — и тот тетя Маш... — Круглое и еще гладкое ее лицо за время рассказа покрылось испариной. — Ну, — нетвердо поднялась на ноги, — показывайте кухню, где у вас чего.

На кухне спросила осторожно: — А сколько ж человекков вас будет? Пять?! — даже присела. — Да разве ж это экспедиция?

— Отряд.

— А Толик сказал: экспедиция. — Она протянула разочарованно, но тут же и воспряла: — Ведь на пять

человечков-то и пирожки сделать можно, и беляши, и пельмешки Я ведь и на сто, и на двести готовила. А на пять-то... — И тут же испуганно: — А чегой-то у тебя кипит?

— Суп.

— Сам готовишь,— руками всплеснула. Она сняла крышку с кастрюли, издали заглянула и, крадучись, понюхала. — Чтой-то не пойму.

— Рыбный суп, — пояснил парень буднично.

— Из какой же такой рыбы? — осторожно прошептала.

— Из консервов. Уха рыбацкая в банках, — бодрым рекламным тоном утвердил парень, но покраснел.

— А это? — указала на соседнюю кастрюлю.

— Картошка.

— Вижу, что картошка. Пустая?

Парень замялся.

— Да вот здесь мясо... но я еще...

Тетя Маша нашла кружку на столе, удрученно качая головой, зачерпнула воды из бочки и громкими глотками выпила.

— Нет, — сказала, ударив пустой кружкой по столу, — питаться надо, когда работаете. А это разве ж питание? Эта баранина? Запахла уже. Надо бы переделать скоренько. Снимай уху... грязная ж плита у тебя. Лук где? Морковь? Мясорубочка?

Через четверть часа парень умытый и в чистой рубахе сидел за столом и смотрел в книгу, положенную поверх тонкой тетрадки в клетку. На кухне что-то шинковалось, терлось, толклось, рубилось, взбивалось, булькало и шипело.

— И что, баба-то одна у вас? — между делом продолжала опрос тетя Маша. — Я и смотрю, платишко висит. Странно: все мужики, а начальница баба. Не старая ведь? Я и вижу, платишко-то на молодую. Модное вроде. Злая, строгая начальница-то? Я начальников видела-перевидела, — тянула повариха одно и то же, — и в столовых, и в буфете когда работала. От у меня зять... Да ты не слушаешь? — выглянула из кухни в прогал. — Зять у меня, говорю, тоже, как ты, чуть что, сразу газету читает. С им говоришь, а он ничего. Сперва первую страницу прочтет, потом развернет, как директор, и вторую читает. Молодые ученые теперь. Про что хоть читаешь?

Парень прихлопнул книгу, взглянул на обложку, будто и так не мог сказать про что, пробубнил:

— Про убийство Кеннеди.

— Это что же такое?

— Американский президент.

— И кто ж убил?

— Это и непонятно до сих пор.

— А что ж читать тогда, коли непонятно? Не, умела б я читать, я б про другое читала.

— А вы не умеете?

— Кто тебе сказал. Умела, конечно. Да только теперь разучилась, позабыла, что ли. Но про Америку не стала б читать. Я б такие книжки читала, где красиво все, все в платишках ходят.

— Это вам Тургенева надо.

Прошло минут пять, разговор плелся по-прежнему, челночком слов все гуще переплетая те же ниточки.

— Толик-то мне давненько говорил, что, мол, они там в пустыне повара ищут. — Сама же гремела чем-то,

двигала, преобразовывала. — А мне и невдомек, чтоб самой. А То-лик... — Прогал был занавешен пестрой тряпкой, поварихи видно не было, упрямый голос вещал из-за кулис. — Деньги, мол, на повара выписаны, а человека нет. Я тогда у дочки сидела... А Толик к зятю пришел, зять тоже шофером... Станный он. Ехали сейчас, а он: ухажу, говорит, с работы и уезжаю. Куда, говорю, поедешь-то? А он: да хоть куда, говорит. Заявление, говорит, подал, хоть бы отпустили. Хоть к черту, говорит, из пустыни из этой. А я ему: деньги плотят, и работа неплохая. А он: во, говорит, где мне она, работа эта. И по глотке себя, чудной. Зять вон тоже дочку подбивал: едем да едем. И что, внуку шестой годок, все едут...— Было слышно, как она стучит ножом, потом жадно хлебает из кружки.

Парень встал. Прихватил книжицу и тетрадь и отправился в мужскую комнату, свалился на раскладушку. Пепельницу пододвинул, но сигарет в мятой пачке не нашел. Скомкал пачку, устроил книгу на грудь, прислушался.

— Мух надо выгонять, — звучал голос поварихи дальше и глуше, — липучки повесить. Есть у вас липучки-то? Вот я и говорю: повесить и повыгонять. Ишь, полотенец-то как изгваздал! Мух никогда не надо, чтоб в доме были, где пища лежит. Вот в столовой у нас...

И росло впечатление, что не из яви этот голос, из сна. Может, и впрямь: был-был он один, соскучился, задремал, и пригрезился ему водовоз, разговор об озерце среди пустыни и тетя Маша, недвижимые рассказы ее. Вот говорит она сейчас за стеной, но, видно, голос ее лишь снится.

— Почитай, через то, что по столовым жизнь проработала, и сама выжила, и дочку вырастила. Года-то какие были, так ни с того ни с сего не прокормишься. А я всегда поросенка держала, да. От столовой помоев всякий день принесешь, да объедки разные, да шелуху, а поросенку и в рост. Считаю, на этих поросятах мы с дочкой и продержались. Ну и масла иногда, хоть растительного, но редко. Вот старший повар у нас был, тот да... А свинья у меня, помню, раз была вся черная. Я ее так Чернухой и звала. Так вот, та Чернуха странный характер имела, милиционеров терпеть не могла...

И вдруг до нетерпения захотелось парню услышать, что дальше с Чернухой этой будет, никогда ничего интересней, чем про Чернуху, не слыхивал.

— А на грех милиционер напротив проживал. Так вот, Чернуха моя как увидит на ём форму, так за ним и бежит. Хрючит на всю улицу, аж рычит, будто загрызть на месте хочет. Ну, соседи, конечно, все смеются над ним, только мне не до смеха. И точно: однажды, выпимши крепко, прибегает ко мне во двор с пистолетом. Усё, кричит, Марья, нету сил, где, кричит, твоя распаскудная хрюшка, враз, говорит, застрелю. В стыд, кричит, ввела меня по всему участку. А я ему в ножки тогда и бух! А то убьет, думаю, как есть убьет, и жаловаться некуда будет. Иван, плачу, Тихоныч, голубчик, так ведь не со зла она, зрение у ее так по-свински устроено, в форме тебя не признает... Смотрю, отходить стал маленько. Чтоб, говорит, не видел ее больше. Подтяжки подобрал, пистолет сунул и пошел со двора. Так и пришлось к майским зарезать, когда никакого весу не нагуляла...

Но курить хотелось.

Парень потянулся с постели, поглядел по полу — не завалялся ли бычок, но все окурки были коротки. Тогда он вытянул рюкзак из-под соседней койки, решив одолжить у соседа пачку. Одолжит, а отдаст, как в магазин поедут...

— А после Белка была. Дочка моя уж так ее любила. С этой Белкой тоже случай был... Ты спишь, что ли?

— Нет-нет, слушаю.

— Так вот, Белка эта...

— Это та, которая в космос летала?

— Христос с тобой, что ты говоришь такое. То ж собака, а эта — свинья. Ты слушай лучше. Ко мне тогда один все ходил свататься. Вообще-то многие ходили, ндравилась, и место мое рабочее тоже видное было. Но этот, точно клещ, прилип, такой был упористый...

Парень потряс мешок, пытаясь определить, в каком месте сигареты запряты, и что-то в мешке глухо и стеклянно стукнуло. Не в силах обороть любопытства, хоть и уверен был, что спрятана левая бутылка спиртного, запустил в мешок руку. Нащупал пальцами сперва сигареты, а там ухватил не бутылку — банку, потянул к себе. Банка закрыта была полиэтиленовой крышечкой, позаимствованной с кухни. Парень извлек ее на свет и не вдруг понял — что в банке находится. Лишь вглядевшись, увидел, что за толстым стеклом, все горбясь, как давеча, застыл в скорбной позе вчерашняя общая пропажа — богомол.

— Так Белка та, зараза, пошла этого жениха дразнить. Только в ворота входит — представительный такой, пузо арбузом, сперва кладовщиком работал, а потом почему-то в баню пошел, все говорил мне: мол,

Марья, нам с тобой на двоих жить будет сподручней, потому профессии у нас такие. С подзаходом был, как же... Так вот, только входит, а Белка подкрадывается к нему сзади и рыло, рыло ему так под пиджак и сует...

Последние слова тетя Маша произнесла неотчетливо, верно, картинно представила, о чем говорила, сперва придерживалась и только фыркала, а кончив, рассмеялась вконец, даже приговаривая про себя: «Ой, господи, ой, мамочка родная...»

Богомол телепался в банке, безжизненно плюхался от одной стенки к другой.

Хоть и стучал парень по стеклу ногтем, не веря в его кончину, богомол не отзывался. Перекатывался молча, съезжившись, конечности подобрал. И в живом-то виде был не весел, а уж мертвый и вовсе печальным показался парню.

Но тут, едва задумался парень о несправедливости, с богомолом совершенной, все таращась на него, из кухни неожиданно громко и смятенно раздалось:

— Едут, никак!

И тут же что-то загремело, а загремев, раскатилось, а раскатившись, разохалось. Парень, вздрогнув, подпрыгнув, подскочив, сунул банку на прежнее место, за толкал под кровать мешок кой-как, накинул... нет, не накинул ничего, а побежал из комнаты, путаясь ногами в брезенте на полу. В дверях он столкнулся с перепуганной тетей Машей, которая тоже бежала к своей раскладушке искать на голову косынку и на бегу закалывала волосы. Они потоптались друг перед другом, все обходя один другого с одной и той же стороны, разминувшись, наконец, бестолково что-то бормоча, и — почти одно-

временно — подскочили к выходной двери, возбужденные, красные, растерянные.

Газик остановился возле ограды, уже вылезла из кабины женщина, что-то попутно досказывая шоферу. Потом она собрала какие-то листки рассыпавшиеся, положила меж страницами блокнота. За ней, откинув переднее сиденье от себя, показался из машины и Миша, за ним — Володя. Женщина, захлопнув блокнот, наконец, подняла глаза, увидела парня, поприветствовала обычной шуткой:

— Привет работникам общепита! — И тут же развела руками: — Ба! Да у нас гости!

Была Воскресенская, несомненно, в превосходном настроении.

По привычке своей шурясь и усмехаясь, рассматривала она фигуру тети Маши, застенчиво выступившей за парнем следом на свет через порог. Тетя Маша смотрела прямо ей в лицо, но не в глаза, а ниже, чуть воровато, но тут же и зарделась, словно девочка, и неожиданно низко, по-старинному приехавшим поклонилась.

Женщину обстали мужчины.

— Это что еще за расползуха? — подтолкнул шофер Мишу локтем.

— Не знаю, — пожал тот плечами.

— Марь Федоровна, — распрямившись, представилась повариха и пуще потупилась.

Медленно и усмехаясь по-прежнему, но уж и с тенью недоумения на лице перевела Воскресенская взгляд на парня.

— Водовоз привез, — быстро отвечал парень, — вы, говорит, просили. Просили, чтобы повариха была, она повариха и есть...

— Вот оно что, — протянула Воскресенская, оживляясь еще больше. И совсем весело: — Воскресенская, будем знакомы.

Но руки не подала, хоть тетя Маша и успела робко, скоренько обтереть свою правую за спиной о платье.

— Не сердчайте, — выдавила тетя Маша тогда, — обед минуточек через десять будет. Варится.

— Ха, ты, я вижу, уж бразды правления передал, — бросила Воскресенская, но тоном не разносным, и двинулась в дом.

— Да это я сама. Мол, из консервов что за суп? Да рыбный еще, это разве ж суп? Суп, когда с мясом, а без мяса когда, — тараторила тетя Маша, пятясь внутрь за дом.

Воскресенская шла перед ней, все так же усмехаясь, щурясь, не поймешь, что думает. Следом шел парень, оборотом дела довольный, гурьбой остальные.

— Вижу, мяско висит на веревочке и как будто запахло маленько. Дай, думаю, пока то да се, еще до оформления сготовлю как бы от себя, потому, думаю, намаются человечки на работе, а оформление все равно завтрашним числом.

Но и среди неразборчивого своего говорения зорко выглядела тетя Маша какое-то неудовольствие на лице начальственном и еще суетливой прибавила, делая движение в тыловую комнату — А у меня с собою все как положено, и пенсионная книжка, и трудовая, и паспорт с пропиской...

— Ну-ка зайди на минутку, — прервала тут Воскресенская повариху, поравнявшись с дверью на кухню, притянула Вадима за рукав, вовлекла сквозь занавеску, криво зацепленную, чтоб не путалась, и задернула перед носом обмершей тети Маши. — Это что такое? — прошипела, наседая на парня, и в комнате за занавеской стало предательски тихо.

— Что? — пролепетал парень невинно.

— Это что за самодеятельность, я спрашиваю тебя?

— Так ведь...

— Это что, я спрашиваю? — повысила голос, и стало ясно, что разорена удача парня не на шутку. — Я же предупреждала, чтоб клейменные куски ни под каким видом не трогать! Предупреждала, а?

И, холодея, парень вспомнил, кивнул:

— Предупреждали.

— А... а ты? — аж запнулась Воскресенская от возмущения. — Ты для чего оставлен? Чтоб первому встречному все здесь показать, отпереть да позволить хозяйствовать, а? — И она сильно тряхнула парня за руку. — Да как же это можно-то?! — изумилась.

И парень с отчаянием неисправимости, глупея, нагля, рыпнулся:

— А чего такого-то?

— Да не твоего ума дело! — гроыхнуло над головой. — Если сам не понимаешь, то слушай, что говорят. Под монастырь всех подвести хочешь? И меня в первую очередь? Ну вот что, — зловеще Воскресенская перебежала глазами с одного на другое, — говорить с тобой... Плиту вымоешь — раз! Посуду. С завтрашнего дня в маршруты будешь ходить с Салтыковым. — И тут же

поправилась, словно поняла, что парню только того и надо: — Нет, со мной будешь ходить! И то если я эту, — мотнула головой, — возьму... А сейчас воду для душа привезешь. — И добавила с явным сожалением, что нельзя послать парня за водой одного: — Кто поедет на машине, с тем...— И, уж вовсе опечалившись, что не найти парню наказания в меру вины, вздохнула, повернулась, резко пошла из кухни. И слышно было, как командовала: — Пойдемте. Где ваши документы?

И как тетя Маша лепетнула:

— Там.

— Где — там? — уязвленно взвился снова голос Воскресенской.

— Да в вашей комнате. Мне Вадик...

Парень облился потом и прикрыл глаза, приговоренный, но и уставший от долгих приготовлений к казни, из кухни не пошел. Не слышно было — скрипнула ли зубами Воскресенская, сказала ли что-то и еще тетя Маша в оправдание, а проскрипела злорадно дверь, помешкала и захлопнулась с треском.

В соседней комнате за стеной пели раскладушки, гудели голоса, вразнобой стучалась об пол сбрасываемая обувь, что-то шелестело, но парня намеренно не касаясь, без сочувствия, будто бы даже против него и поперек. И коли одному бывало скучно, то теперь, придавленному, и вовсе стало заброшенно. Незаметно для себя выбрел парень из дома, поплелся через двор.

Солнце поубавило блеску, но все было душно, все тяжело. Скучный вкус стоял во рту, скучная тишина в ушах. Как-то тоскливо и не вовремя захотелось есть. Вот ведь и не угадать никогда, за что ударят, почто взбучат.

И ясней ясного, что не к чему ему тут, не к кому... Нечто безотчетное заставило его вздрогнуть. Он опустил глаза.

Мгновение он ничего не мог разобрать обалдело, а разобрав, обмер от ужаса. Прямо под ноги к нему подбиралась с зловещим нешуточным шипом хищная, громадная, страшно и ярко полосатая ящерица. Глаза ее уставились прямо в его глаза, выражение было пугливое, стеклянное, и, словно что-то высмотрев, чудище вдруг неестественно, издевательски принялось раздуваться.

Парень вздрогнул и отшатнулся.

Напыжившись, ящерица с вкрадчивым шорохом, елозя грудью по песку, принялась выпускать воздух порциями, подпрыгивая после каждой, точно резиновая, и снова едва волочась вперед. Потом неожиданно сделалась до неправдоподобия плоской, будто была накачанной, а тут ее прокололи. Вся съежившись, сжалась, поблекла, утихла, но тотчас в ее утробе что-то отчетливо забулькало и всклокотало. Встрепенувшись и с маху хлестнув хвостом оземь, стремглав метнулась она вперед, оскалившись и ярясь.

Дыхание парня пресеклось.

От жгучего страха ноги подрубились, он опрокинулся, взвизгнул, поскакал на зад, хватая раскоряченными пальцами землю, ногами суча и подбирая колени к груди, трясясь телом, содрогаясь головой, холодея.

Варан отчетливо взвился над землей, словно пружиной выбросило, но вдруг зигзагом передернулся на лету, судорожно изогнулся, с маху звонко шлепнулся назад, тяжело плюхнулся широким животом, и морда его

при этом безвольно мотнулась, потом глухо, как деревянная, несколько раз простучала по песку.

Удар был неожиданный и сильный.

Сообразив, что ему больше ничего не грозит, не сразу рассмотрел парень толстый шелковый шнур, тугой петлей охватывавший нижнюю часть туловища варана поверх задней пары лап. Шнур, видно, размотался — ящерица оказалась довольно далеко от машины, за которую позади кузова шнур был зацеплен, — остаток сделался короток по броску. Парень разглядывал тварь с отвращением, мстительным чувством удовлетворения, но и с любопытством, едва не с сочувствием... Варан казался удивленным, пришибленным, сбитым с толку.

Он вздрогнул еще пару раз. Болезненная рябь прошла по его чешуе. Распялив все четыре лапы, вонзил когти в песок. Шкура на шее подымалась и опадала. Рот был раскрыт, вбок метнулся змеиный розовый раздвоенный язычок. Послышалось какое-то тихое урчание, стон не стон, пришепетывание не пришепетывание, словно про себя варан что-то пробормотал, но боль в отбитом брюхе стала сильнее голоса. Тело его изникло, движения стихли, он распластался безжизненно, закрыл глаза заморенно, последние капли сил вложив, казалось, в этот яростный и обреченный наскок.

Глава 6. ВОКРУГ КОЛОДЦА

Колодец находился в плоском межгрядье, метров пятьсот от кошары, из окон был хорошо виден. Ездили за водой, впрочем, не часто, как правило, втроем: шофер за рулем, Миша с парнем или с Володей, коли парень был на кухне. Иногда же, как сегодня, Миша убеждал шофера остаться дома, руль отдать ему, благо близкий и простой путь опасностей не таил. Водить Миша едва умел, но съехать с холма мог, а Воскресенская на его упражнения, понятное дело, закрывала глаза.

Выйдя из дома и застав парня подле разбитого вара, Миша и слова не обронил, а наставительно и солидно вбил неподалеку высокий кол. Потом, с ковбойской рассчитанной лихостью, сняв с кузова петлю привязи, на кол перебросил. Лишь после этого небрежно обронил:

— Помоги, что ли. — И полез в машину.

Вдвоем они очистили кузов от черепах, пересадив их в старую поилку для овец, вросшую в почву перед домом и многократно пользованную парнем под посудомойку. Миша накрыл бетонный широкий желоб фанерой, все с видом человека, навсегда вперед знающего, что, как и для чего, но другим не поясняющего лишнего по их суетности и слабомуслию.

— Что ж ты стоишь, фляги неси, — отдал, как хирург, короткое Миша, едва парень отпустил последнюю черепаху, словно тот не ему же помогал и не по его же просьбе. Парень надулся, но за флягами пошел, зная себя штрафником, своей вины далеко не испушившим... Пока он ходит, скажу о возле-колодезной жизни, была она вот какова.

Тон задавали овцы. Их пригоняли издалека и затемно, чаще большими отарами. Заранее об их приближении никак было не узнать, всегда их приход бывал неожиданным. Смотришь, они уж возникли под самым холмом. Разом раздавалось вдруг звяканье ботал на шеях длинношерстных козлов, нестройное оживленное блеяние, доносился плотный шорох, точно большой и мягкий мешок тяжело тащат по негладкой дороге, но скоро все стихало до утра. Чабаны принимались поить овец рано, с восходом. Как крепко ни спи, услышишь взывающий рядом мотор, овцы вновь начинают блеять, пастухи кричат, перелаиваются собаки. А если выйти из дома, вся картина видна сверху с особой предупредительной свежей ясностью. Овцы выстраиваются вдоль поилки бок о бок, хлещет в желоб вода, задние напирают, передние жадно пьют, развесив черные губы над маленьким ручейком; в воздух поднимаются клубы пыли, густой запах овечьих шкур окутывает низину. Мотор стрекочет, пастухи перекликаются гортанными голосами; большие рыжие псы помогают им, редко взлаивая, чаще молча сбивая отару ближе к воде, подгоняют крайних, и овцы шарахаются, вздрагивая ноздрями, семят и подскакивают, тряся грязными курдюками. Если овец бывало немного, напоить их труда не составляло. Единственный чабан пускал мотор, отрывисто кричал что-то. Близился к поилке медлительный и большой козел, овцы тянулись следом, не слышно было ни блеяния, ни лая. Вскоре мотор смолкал, пастух садился на лошадь или мотоцикл, отара растягивалась и медленно уходила с глаз. И не угадать было, куда погонит пастух овец, как и не предположить, откуда придет следующую

щий... Дважды приходили к колодцу овцы без пастуха: сперва три, потом пять. Отбивались ли они от отар или и составляли то, что от отар оставалось? Находили-то они воду без провожатого, но поить их было некому. Тесно сжавшись, ночевали, и первая троица удалилась несолено хлебавши. Те же, что были впятером, оказались упорнее: пугливо сбившись, паслись возле колодца и день, и другой. На третий день их напоил водовоз. Пока брали из его машины воду, он сходил к колодцу, наполнил поилку. Овцы скоро попили, двинулись дальше, лишь одна осталась лежать. Была, верно, больной, к поилке не подходила, лежала на одном месте. Когда другие уходили, попыталась подняться, но не смогла. Водовоз вернулся. Залез в машину, но направился не в сторону, а к колодцу. Доехал, снял с кузова шланг, протянул больной, напоил.

— Молодец, паря, — сказал Николай Сергеевич, когда водовоз проползал мимо в дальнейший путь на своей колымаге. И крикнул: — Как думаешь, выживет она?

— Да сдохнет, — отвечал водовоз и поехал своей дорогой.

Она и сдохла. Пока прикидывали, не пустить ли ее в оборот, потом, конечно, отказавшись от этой мысли и лишь кручинясь, что отпустили добром ее здоровых подружек, у колодца остановился грузовик. Вышел из него коренастый казах, поднял тело овцы за ноги, размахнулся, швырнул в кузов, дал газу — и был таков...

В другой раз пришла к колодцу цепочка верблюдов. Они, чинно один за другим следуя по узкой белой тропке, за годы пробитой среди щебня на глине, спус-

кались с холма. Величественно пересекли низину, тесно обстали колодец, но тут спесь с них слетела: желоб был сух. Верблюды принялись толочься возле, жалко перебирать худыми ногами, и горбы их, пустые и плоские, свешивались на бок, у всех на один и тот же, — свешивались, как тряпичные... Этих напоил Миша. Едва завидев верблюдов, он поспешил к ним с фотоаппаратом. От кошары видно было, как Миша бежал к колодцу, слышно, как завел мотор. Верблюды, растопыбив передние ноги и изогнув шеи, припали к поилке, пили, закидывая назад узкие головы, мотали ими из стороны в сторону и нехотя отворачивали от камеры морды. Вернулся Миша недовольный.

— Прорвы, — сказал он, криво усмехаясь, — и пахнет от них хуже, чем из нашего сортира.

Сейчас, когда парень затащил пустые бочки на прицеп, прицеп подкатил к машине и укрепил, Миша, потирая тряпочкой зеркальце от пыли, хмыкнул скептически:

— Снова приплелись, паскуды. Или уж не те?

У колодца и впрямь стояли верблюды. Миша завел, парень уселся, машина дрогнула, нетвердо сдвинулась, пошла с холма. Чем ближе, тем верней становилось, что от верблюдов и впрямь плывет приторный и душный запах. Свисавшие, точно обрывки веревок, хвосты были цвета навоза, куцы и словно щипаны, грязны были и ляжки. Животные не утруждали себя, справляя нужду; моча, видно, стекала по задним ногам, оставалась на шкуре. Было время линьки, шерсть клоками торчала то там, то сям, и это, да и выражения верблюжьих лиц, сморщенных, с уныло шевелящимися, из ношеного

дерматина скроенными черными губами, придавало им вконец облезший и нищенский вид.

Стали. Пока Миша возился с мотором у колодца, прилаживал заводной ремень, дергал, ругался, наматывал снова и упирался коленом, парень пошел к верблюдам поближе. Один особенно выделялся. Держался особняком, но, кажется, не по своей воле: едва шевелился, самый большой и высокий, угрожающе качал мускулистой круглой шеей, похожей на латинское «с». Отличался он и тем, что был окончательно и совершенно гол, без признаков шерсти, а худоба его была паразительна.

Мотор, рыгнув, завыл, Миша кликнул парня. Работали так: Миша подставлял под струю ведро, прикованное цепью за скобу, переливал в другое, парень бежал с полным к прицепу, забирался, выливал, спрыгивал, бежал обратно. В паузах вода струилась в желоб, но Миша всякий раз по-хозяйски сбавлял обороты, словно ему этой, чужой и горькой, воды было жалко. Вода снизу захватывалась широким брезентовым ремнем, на ремне, приплясывая, поднималась вверх, но, если ремень полз тихо, обрывалась на середине, гулко сплескивалась, в поилку доходила по капельке.

Верблюды стояли, не приближаясь. Вздыхали в стороне, мялись, подтанцовывая от нетерпения, молчали, двигая немо губами, обвислыми безвольно, мятыми и сухими. Прислушивались, но нет, не текло.

— Пусти им воду-то, — заметил парень, подбегая с ведром, — в каждую из фляг входило по двенадцати, парень еще и пяти ведер не отнес.

— Давай шевелись, — вместо ответа пропел Миша, — люди ждут. Это тебе все равно, а люди после маршрута обмыться хотят.

Парень до того не прекословил, бегал бойко, но и это будто Мишу не удовлетворяло. Отношения их давно не сложились, друг другу сразу не показались, но все не мог парень, младший ведь, отучиться возражать по пустяку. Вот и сейчас:

— Почему все равно? Я тоже не мылся.

Миша поморщился, отвернувшись к верблюдам, сплюнул, но вышло, будто и парень, и верблюды, вежливо ожидавшие поодаль, для него одно. Тем крепче обязан стал парень за верблюдов вступиться. Он промолчал. Подставил ведро, но едва отошел с полным, Миша вновь сбавил обороты, без вызова, а поделовому. Не было здесь парня, не было его просьбы... Парень взобрался на прицеп. Вылил воду во флягу. Прикинул, смерил взглядом — сколько, пошел назад не спеша, а дойдя до колодца, ведро поставил на землю. Мотор снова взвыл.

— Давай! — проорал Миша, но парень не пошевелился. Вода, искрясь и играя, бежала в желоб и по нему широким многоконечным языком. Теснила ссохшуюся грязь, укрывала запекшиеся и скрученные комочки глины, перескакивала через бетонные швы, волочила перед собой враз наросшую горку мусора, стремясь из желоба вон — в широкую, поставленную перпендикулярно метрах в пятнадцати поилку... Миша обернулся. Парень стоял в сторонке, словно хлещущая впустую вода его не волновала, вытягивал из кармана штанов пачку «Примы».

— Покурим?

Миша не сразу нашелся. Верблюды, подвигаясь боком, приблизились к поилке.

— Ты что? — поинтересовался Миша, цедя по словечку. — Кренделей хочешь?

Были они приблизительно одного роста, парень чуть выше, но Миша плотнее, зато у парня длиннее руки и ноги. Преимущества Миши в случае драки были не столь уж неоспоримы.

— Ты не волнуйся, — посоветовал парень. — На, закури.

— Сука, — сказал Миша и приглушил мотор.

— А если торопишься, — продолжал парень, — наливай сам, а я у мотора постою. А ты наливай и оттаскивай.

Хамством это было несказанным. Миша с сожалением прищурился на парня. Прямо тот ему не подчинялся, хоть и был должностью ниже. А бить его было не положено и долго. И Людка, как чувствовала, предупреждала, чтоб все в ажуре.

— Гад же! — только и сказал Миша, наполнил ведро, мотор чуть не вовсе выключил, понес к прицепу, надеясь, наверное, что парня проберет.

Какой там! Едва отошел, парень врубил воду на полную. Верблюды сбивались все ближе. Этого Миша снести не мог.

— Пошли! — заорал, затопал, замахнулся пустым ведром, и верблюды неуклюже шарахнулись. Теперь уж вконец сорвался: — А ты, сачок, тунядец, ведь ничего не делаешь. Мы работаем, а ты — карандаши валяешь.

И никогда ничего, а сегодня и вовсе бабу заставил. Сам ведь на кровать, так?

Откуда еще слов взять, не было больше слов. Хотел отвернуться и забыть, но взгляд привлекла сигаретная пачка, что и ржал парень в руке с вызовом.

— Дай-ка.

Парень решил, что победа близка, протянул Мише закурить. Тот повертел, выглядел удовлетворенно — дукатские, улыбнулся парню в глаза:

— Вадик, а ты, кажется, с фильтром курил?

Вода хлестала в поилку.

— А «Примочка» откудова? Московская. На «Примочку» для экономии перешел? На чужую!

Хлестала всласть вода.

— Мои кончились... А эта... на полу...

Ох, не надо было врать.

— На полу? — еще вкрадчивей, еще примирительней. И парень понял, что все проиграно и пропало. Дернул черт доставать.

— Поедем в магазин — отдам, — пробормотал, свежая с лица. Этого говорить уж вовсе не надо было.

— Отдашь, значит? — Миша качнулся с пяток на носки. Парень был в его руках.

А парень недоумевал: ничего, в сущности, он против Миши никогда не имел. Ничем его Миша не хуже и не лучше. Но всегда чуть заспорят, всякий раз в конце Миша прав. Будто нарочно подманивает то небрежностью, то дружелюбием, выжидает, чтоб подловить побидней и сильней ударить.

— Нас нет, мы работаем, — все качался Миша, — а он по рюкзакам шарит. Вещички перетрясает. Приятно будет всем узнать. Ведь Люда там и деньги...

Это уж было невпроглот. Парень драться не умел, удар пришелся Мише ниже лица и вскользь. И Миша кивнул благожелательно, отступил только на шаг:

— Не, бить не буду. Наябедничаешь, скажешь, что со зла поклеп возвожу... — Однако сам дрожал, в узду влез, но еле сдерживался.

А парня понесло. Все у него задергалось, сошло с осей, раскорячилось, бороденка вспенилась. Глаза кругло выкатились; он закричал тонким голосом и фальшиво:

— Сам вор, ясно? Сам вор!

Верблюды бесстыдно хлебали из желоба, и вода все прибывала, падая не на каменное звонко, а в полное булькаясь.

Миша впился в парня глазами, темнотой наливаясь снутри.— Что-о? Что ты сказал? — все круглей раззевались его губы от изумления.

— Что слышал! — Парень закусил удила. Так и казалось — вскочит сейчас Мише на спину, вцепится в загривок, будет клевать в темя. — Про богомола забыл, про богомола, думаешь, не знает никто. А он твой был, твой? Его Салтыков поймал, а ты в банку. Стащил и в банку. Украл богомола...

— Паскуда, — шипел, переполняясь, Миша и медленно шел вперед. — Все вынюхал, но только зря. С больной головы на здоровую валишь?

Он ударил правой прямой, но парень был быстрее, нервней, пугливей. Отшатнулся, голову пригнул, но все долбил Мише дырку в голове.

— И богомола украл, — кричал, — и овцу! Всех украл, вор, вор...

Миша ударил вновь, но без прежней убежденности. Рисунок парня смущал его. В армии видал, как — чуть что — рвут рубаху на груди, но не так. Да и не на ровном же месте.

— Богомол этот твой, что ли?

— Вор, вор... — Парень тряс головой, конечности его дрожали. Он с ненавистью глядел — растерзанно, взъерошенно.

— Дурак же, — пуще удивлялся Миша. — Богомол, если хочешь знать, не тот вовсе. Я его еще в первые дни поймал, хоть у Людки спроси. В маршруте. А вчерашнего не видал, дурак ты, — заключил, злясь на себя за пространные объяснения, сожалея, что хоть и посасывал парень нижнюю губу после второго удара, момент для хорошей драки упущен, потерян. Сплюнул, отвернулся.

— Хочешь, скажу? — услышал за спиной. — Я один сегодня был. Водовоз приезжал. Так он сказал: Телеген все знает.

— Интеллигент?

— Телеген, он вчера у нас был. Его племянник пас отару, а собака кишки принесла. Теперь они знают, что вы овцу своровали.

— Может, чужие какие кишки, — неуверенно и без нажима начал было Миша. И тут же: — Постой, постой, а ты чему радуешься? — Его как ударило. — Ты ж, ты

ж... — Не хватало вдоха, забулькал от ненависти. — Ты ж сам жрать будешь. Первый.

Парень согнулся, успел упереть локти в живот, как шарахнуло по лбу, долбануло по шее, хрястнуло по ушам, жахнуло по носу и — сильно — садануло ногой по бедру.

— Ногами! — взвизгнул от возмущения он, словно руками мог простить, а чтоб ноги поднимать — никогда. Правой длинной своей конечностью парень облапил Мишину ляжку, защебил пальцами сзади, рванул, будто клочок вырвать хотел.

Скача на одной ноге, крича победоносное, Миша дубасил его по спине, но тут ртом уперся в душное, заелозил щекой по шершавому. Парень изловчился, набрал полную пасть Мишиных кудрей, дернул, насел, от боли Миша заспотыкался, и оба повалились в пыль, вопя и давя друг друга.

Замерли, словно обоих холодным полили. То ли на одном из атаковавших поилку верблюдов, то ли на своем верхом сидела женщина и смотрела поверх их голов отрешенно, как бронзовая. Миша вспрыгнул на ноги, отряхиваясь по-собачьи; парень поднялся на колени, кивая головой, лакомясь кровью из ноздрей...

Темное лицо женщины было узко.

Узки и презрительны глаза, остры черты и подбородок. Ни взглядом дравшихся она не удостоила, держалась прямо, возвышалась надменно, глаза вперя отсюда далеко.

Одета она была неведомо.

Смуглые руки в звонких браслетах, грудь закрыта, узкий стан перехвачен браным платком. Ноги укрывал

широкий подол, прятавший седло и подпругу, из-под края глядели узкие сапоги. Верблюд, что был под ней, презрительно раскачивал голову, — видно, чихать хотел. Но раздумал. Он тоже толком ни на кого не взглянул, попятился, развернулся, поводит узкой челюстью и пошел прочь.

Мишу оторопь забрала. И парень, помаргивая, как щенок, смотрел женщине вслед.

Невероятно узкая спина ее удалялась. Спина ровная и прямая, точно вырезанная из гладильной доски. Верблюд под ней ступил шаг, второй, третий. В такт она покачивалась над ним. Но с каждым шагом очертания их становились туманнее, в том месте, где прошел верблюд только что, пролегла вытянутая узкая зеленоватая тень, все бледнеющая. Верблюд исчез. Тень испарилась. Женщина растворилась, но в воздухе, знойном и душном, несколько мгновений еще оставался словно какой-то влажный след.

— Кто это? — бормотнул парень, близоруко тараща слезящиеся глаза и сморкаясь.

Миша не отвечал. Он долго смотрел, куда женщина скрылась, харкнул и взялся наполнять ведро. Вдвоем они за десять минут управились.

— Думаешь, она все слышала? — в один из подносов спросил Миша.

— Видела.

— Пусть смотрит, плевать. Не знает же — из-за чего...

Из-за чего — не знал и сам парень толком. Что-то неприятное и стыдное было. Хотелось думать, что во

всем виновата жара, жара и пустыня, а о Мише хотелось забыть.

— Да она и по-русски не знает, — сказал Миша в другой раз.

А парень снова удивился: к чему это?

Дело было сделано, Миша пошел к машине.

— Я сам приду! — крикнул, хлюпая, парень, будто кто его ждал.

Миша не ответил. Но потом высунулся из кабины:

— Эй, ты, мотор не забудь выключить. — Убрался, высунулся вновь: — И не вздумай жаловаться...

— Ты тоже не плачься там! — фальцетом выкрикнул парень, но машина завелась, Миша не разобрал его слов.

Тронулся, высунулся в последний раз:

— Мордочки им не забудь вытереть, как попьют. — Но и парень не расслышал его.

Машина укатила. Верблюды все пили. Бока их явно раздувались. Парень доковылял, присел на бетонный желоб. Долго вычищал кровь из носа, и кровь розовым облачком сносила в поилку. Верблюды, не сморгнув, пили и ее.

Лишь голый стоял в стороне. Не глядел, жался, не смел подойти.

— А ты что?

Голый не шелохнулся. Парень подошел к нему, оказался рядом маленьким.

Остальные пили.

Когда делали они это вместе, вода убывала с такой скоростью, что оставалась лишь на дне, хоть толстая

струя хлестала бесперебойно. Прошла еще минута, они пили.

Терпенье парня лопнуло. Он приглушил мотор, выждал, покуда верблюды выхлебают остатки, заорал:

— Пошли!

Нехотя, перебирая ногами вбок, словно падеграс танцуя, верблюды отошли.

— Иди, — сказал парень голому.

И, то ли понял он, то ли сам по свободной дороге пойдя, голый, качая головой, точно кланяясь, приблизился к поилке, ткнулся в пустое. Парень запустил мотор.

Голый оглянулся.

Другие стояли в стороне, воротя морды.

Голый расставил ноги, присел вперед и стал пить.

Он пил жадно, казалось — колодца ему не хватит. Втягивал шумно, по звуку спутать можно было — верблюду воду пьет или колодец воду засасывает. Его худоба делала особенно заметным медленное вздувание живота.

Поначалу натянулась кожа, обвисла и распялилась на ребрах. Потом стали расти бока; живот сперва округлился яйцом, потом стал выкатываться шаром... Парень, наблюдая за ним, подставил под струю руку. Вода была холодной. Парень помедлил, потом провел мокрыми пальцами по губам. Вода была не соленой, как морская, а затхло-горькой, словно в ней растворили грубого мыла. Парень сморщился, плюнул.

Голый пил.

Прошло минут пятнадцать, его бока никак не помещались под обглоданным, пилой топорщившимся

хребтом. Живот выставился бурдюком, тихо качался от собственной тяжести, ноги разъехались далеко.

Парень понял, что переборщил, воду выключил, но было поздно. Голый упрямо допил до конца, постоял без движения, сделал два неверных шага, дрогнул. Тонкие ноги разом подломились. Голый осел на землю, раздав бока вширь, прикрыл глаза.

Мотор, поспотыкавшись, дернулся и заглох. Неожиданная тишина насторожила парня. И тут другие верблюды, ждавшие до того продолжения, медленно пошли прочь.

Сперва двинулись гурьбой, словно сговорившись. Но уже в полусотне шагов выправились цепочкой и той же тропкой, не оглядываясь, выверено переступая в лад ногами, поплыли.

—А как же он?—крикнул парень.

Верблюды удалялись.

Голый лежал на земле. Ноги его были сложены и поджаты, не видны за раздувшимся брюхом. На миг он приоткрыл глаза, но их заволокло, затянуло тут же, словно выскочили два бельма.

—Вставай,— сказал парень. —Вставай, а то не догонишь.

Верблюд не слышал, казался уснувшим. Парень постоял, поглазел, пошелел восвояси. Он брел к кошаре, заплетая ногами, не раз останавливался, взглядывал назад, ждал. Голый не шевелился.

И всякий раз, остановившись, чувствовал парень неясную во всем перемену. Потревожено осматривался, но все было по местам. Спала пустыня, дремали холмы, тело голого сливалось со всем вокруг. Будто не видел

его парень только что на ногах. Или всегда он лежал вот так и вот здесь? Как изваяние, как камень. Лежал, не отделяясь от пустыни, прямо держа неживую голову, шею согнув в вопросительный знак.

Глава 7. ДУШ И ВОКРУГ ДУША

Душ был приятно устроен попереди кошары.

Устроен так: на четыре крепко всажённых кривых и сучкастых столба были набиты листы фанеры. В прогале меж нижним краем и землею видны были ноги моющегося. Над верхним краем — голова моющегося. В щелях же, нешироких, однако, меж фанерой и столбами, при желании удавалось рассмотреть и тело моющегося, вернее, не тело, а как бы факт присутствия тела.

Закрыт был душ с трех сторон.

С четвертой, со стороны пустыни, ограды и не требовалось никакой, так что ни двери, ни занавеси не было — ничего. Кабинка раскрыта была ветрам и взорам, коли появился бы, конечно, в пустыне кто-нибудь, кому взоры могли принадлежать, и эта-то отомкнутость, пожалуй, и придавала душе приятность и очарование. Мытье происходило не заперто, не в глухом параллелепипеде, не доступном ни звукам, ни впечатлениям извне, где вся-то радость для глаза — собственное тело да унылый кафель, а в виду известного уж вам широкого пейзажа: низкого неба, покатых вершин, раскидистых лощин, всего одухотворенного, погруженного в себя

местного ландшафта, — и предоставляло помимо телесных удовольствий духовные утешения.

В самом деле, для натуры, нет-нет да голодающей по отдохновенному одиночеству, пребывание в душе давало некоторую иллюзию уединенности. Плеск воды способствовал неспешным размышлениям, сквознячок утишал разгоряченную голову, а ветхозаветность открытого в голом проеме вида дарила поводы для медитаций. Иного подобного места в сфере здешнего быта было не сыскать.

Конечно, стояла по другую сторону дома метрах в сорока одинокая постройка, скрупулезно сколоченная, точно вязанная из бледно-бамбучных жердочек, палочек и планочек, а ребристость и непроницаемость ее вызывали в памяти нечто восточно-соломенное, давнее, из детства, но что именно — не поймать. Устроен был над кабинкой и острошпицный флагшток под сигнальное знамя. Для его поднятия под рукой посетителя имелась на взгляд бестолковая, на деле же справно служащая система из малых блоков и двух-трех веревок, про которые нельзя было и при высшем инженерном образовании априорно заключить — за какую именно надо дергать. Посредством этой системы взвешенной вымпел маркировал ваше присутствие, спущенный — позволял дорогу другим. К достоинствам заведения надо причислить: добротный, мягкого дерева, лак на котором от зноя делался бархатным, стульчак; аккуратно выполненную полочку, висевшую справа на двух гвоздях, на которой стояла пепельница, лежал коробочек спичек и имелось всегда два-три номера иллюстрированного журнала «Юность»; наконец, подвешенный

на отдельном шнурочке розоватый рулончик, мягкий и гофрированный.

И все же, несмотря на перечисленное, в смысле уюта туалет проигрывал душу.

Виной тому была жара.

Хоть и отнесенная на значительное расстояние, надежная туалетная постройка источала, при несчастливом направлении ветра, даже в комнаты проникающую нестерпимую вонь. Что говорить об атмосфере внутри! Конечно, на этот фактор не всякий обращал внимание, флаг, бывало, подолгу развевался над лагерем, раз в неделю менялись номера журналов на полке. Но каждого, надо думать, рано или поздно вонь выпроваживала, каждого заставляла с надеждой оглядываться на душевую кабинку.

К сожалению, и душ был не без недостатков.

Так, водоподающая система снабжала водой моещегося не сообразно прихотям и капризам, а бесхитростно, и в короткий срок изливая из себя содержимое резервуара. Виновато в этом было устройство большого ржавого бака, водруженного над кабиной на крестовине из кривых палок и укрепленного ржавой же, толстой, навораченной и так и сяк проволокой. Но не в креплении было дело, конечно, хотя, едва задувал ветерок, бак начинал заунывно скрипеть и раскачиваться, по нудной старческой привычке зудя, что скорее рано, чем поздно, непременно рухнет вниз, но никого этим было не смутить. Чтоб вы поняли, что к чему, о баке расскажу подробнее,— а он мог бы служить предметом и вовсе отдельного поучительного повествования.

Первоначально руководство экспедиции такие баки предусмотрело в экипировке каждого отряда, и по инструкции бак, наполненный кипяченой водой, должен был в пустыне стоять общедоступно, чтобы всякий жаждущий черпал из него несырую воду. Однако общее отношение к этим бакам, как рядовых, так и начальства, было отчего-то сдержанно-отрицательным. Конечно, баки исправно ездили туда-сюда, но воду в них по непонятным причинам не кипятили никогда, они были вполне бездельны и заброшены. Рано или поздно их тишком выбрасывали, списывали и, не исключено, недорого сбывали местным жителям. Но вот когда от баков этих не было уж ни слуху ни духу, сами они позабылись, инструкция затерялась, в одном из отрядов единственный и последний бак-долгожитель, уж тронутый ржавчиной и покореженный, нашел неожиданное применение. Кто был безвестный рационализатор, который предложил использовать бак для душевой надобности, теперь не установить. Он исхитрился прокрутить в днище своего бака дырку, ввернуть обрезок трубы с резьбой и насаженным на нее набалдашником. В неизменном виде конструкция дошла и до наших дней. Но, спросите, откуда ж эта гениальная в простоте своей система попала в отряд Воскресенской?

Наивный вопрос, но ответу. После того как были произведены с баком описанные операции, ясное дело, он вырос в цене. Рационализатор и его коллеги, насладившись сполна результатами нечаянной находки, сдали на зиму бак на склад, простодушно полагая, что весной вместе с другой амуницией получат обратно. Разумеется, только они его и видели. Но, почитая бак спи-

санным, представьте, как они удивились, после сезона вновь обнаружив его на складе. Тут они его проиграли вторично, и на сей раз безвозвратно. Достаточно сказать, что этой же осенью заприметил его Миша. Бывшие хозяева, верно, и на этот раз понадеялись на весну да на свою шустрость, Миша же привык готовить сани с лета. Так что зиму следующую бак провел не на складе — на Мишином балконе в ряду других по штучке собранных наинедобходимых вещей, многие из которых нам уж попадались в кухне и по комнатам.

Итак, бак водружен был наверх. Но, как вы догадались, левша не приладил к трубе крана. Вода, едва налитая, принималась хлестать без перерыва, и после всякого мытья приходилось воду заливать вновь и тут же лезть под струю, ни на градус не успевшую нагреться. И это температурное обстоятельство есть последнее в кратком ряду душевых недостатков, хотя, конечно, его можно считать прямым следствием предыдущих. Поэтому воду заранее налить было нельзя, и сейчас, пока у колодца валандались и волтузились, возле душа воду нетерпеливо ждали. Володя с шофером, оба в сандалиях и по пояс голые, сидели на лавке, на какой утром прохлаждался парень, шевелили пальцами запаренных ног, смотрели с холма вниз. Но дымки нанесло, ничего было не видать. И повариха возле. Уставила на фанеру, какой был прикрыт желоб с черепахами, широкий таз, посуду рассортировала и выложила среди унылых стельков, чахлыми пучками пластовавшихся по сухой коре, — мыла. Вяло разматывали разговор про варана, тряпкой валявшегося в стороне. Шкура его побурела, глянец сошел, вид стал самый заваливающий.

— Что он жрет? — говорила повариха, клацая крышками. — Да что ни попадя. Всю гадость.

— Как понять? — Тон шофера был будто обиженным: повариха варана не ловила, а хаяла.

— Ну как, — скромно поболтала та рукой в воде, другой что-то терла, скребла, а побойчела заметно — взяли ее, документы в порядке оказались. Чуть поубивалась, что обед стынет, но и смирилась быстро. — И сусликов, и мышей. Иной раз в курятники забирается...

— Иди ты, — подбросил шофер полешко в топочку, — курица-то не птица, так ведь и варан не лиса. Ящерица.

— Сравнил хрен с пальцем. — Повариха с шофером уж вполне освоилась. — Ящерица махонькая, а это ж крокодил.

Володя в разговоре не участвовал. Томился, пальцами приминал сверток на коленях — полотенце и чистую рубашу. А то придирчиво осматривал себя: грудь в волосах, широкий живот в складках розовых, выпуклые родинки на плечах, — находил что-то, сдувал, оглаживал и похлопывал. Шофер ткнул в него пальцем.

— Не, ты в зоологии не петришь, Федоровна. Спроси лучше у товарища геолога, он скажет.

— Ящерица... — прорезался Володя, но повариха с сомнением глянула и на него, и на варана.

— Прошлый год, — сказала она, — мы с зятем в пустыню в вашу ездили.

— У тебя и зять есть? — удивился шофер.

— И дочка, и зять. — Тетя Маша наклонила голову, любясь то ли этим семейным обстоятельством, то ли вычищенной кастрюлей.

— Не поверишь,— упер шофер щеку в ладонь, — ведь молодая какая!

Повариха глазом на него повела с сожалением, продолжала:

— Поехали, значит, за шерстью от верблюдов. В это время, было в мае тоже. Выхожу, а на земле энтот самый крокодил лежит,дохлый конечно, нутро выворочено. Так казах, к кому ездили, говорил, что вран этот по ночам ходил овец сосать. Подберется под живот и сосет вымя. А назавтра молоко скисает опосля него.

— Так его приручить надо было — приручить простоквашу готовить.

— Между прочим,— вставил Володя, — накормить бы его не грех.

Варан лежал в сторонке, ни движения не проходило по шкуре, а густо ползали мухи.

— О, товарищ геолог мудрое слово сказал. Ты говоришь, молоко сосет, мы сейчас и проверим, сейчас ему граммулечку накапаем...

— З-заладили: товарищ геолог, товарищ... — возмутился наконец Володя, но шофер уж исчез в доме.

— Сивым волосом порос, а чудной, — повариха головой покачала.— Пьющий хоть?

— Кто — я? — изумился Володя прямо поставленному вопросу.

— Христос с вами, он.

— Почем я знаю. З-за рулем вроде нет...

— Вот я и вижу, что пьющий, — удовлетворилась повариха, — такие шустрые завсегда...

Шофер нес из дверей блюдечко разведенной сгущенки. Доза была гомеопатическая, молоко едва прикрывало донце.

— Сперва попробуем, — пояснил, — может, и не станет.

— Надо ж, угощать его вздумал. — Повариха подняла таз и ухнула содержимое на песок. Потом налила из бидона чистой воды, взялась полоскать. — А на что он нужен? Ведь страшной.

— Первым делом, ты здесь блевотину не разводи, — указал шофер, — подальше от дома относи-то. И потом, ты не понимаешь, а варан в домашнем хозяйстве очень может сгодиться. Правда, начальник?

Володя брезгливо пожал плечами, не ответил.

— В Египте, например, этих крокодилов во дворе в будке держат вместо собак. — Шофер блеснул сталью во рту. — А в городах на цепочке гулять водят.

Руки поварихи замерли.

— Да что ты!

— Так вот. — Шофер утащил блюдечко задалеко от черты, куда привязь могла достать, ухватил палку, приладился осторожно блюдечко пододвигать. Варан лежал. Казалось, он совсем спекся. Хвост скрутил, глаза запрятал.

— Миша из него хочет чучело сделать, — произнес Володя отчетливо.

— Чучело — и в музей, — снова нашустрил шофер.

— Ты, музей! — прикрикнула тетя Маша — за километр видно, как она начальству подыгрывает. — Под самую морду подвинь.

И Володя встрял:

— Так он не достанет. Видите — он совсем обессилен... Дайте я.

— Леший его знает: обессилен или нет.

Володя схватил палку, но голова варана приподнялась, зашипела, надулся мешок округ шеи. Володя скорее всего посторонился.

— А ты говоришь — без сил. Да у него силищ!.. О, вот и водичка наша.

Педантично, но неуклюже маневрируя, дугой подъезжал Миша к душе, фляги позванивали на прицепе, вода побулькивала. Миша вылез, но оказался будто задумчивым.

— Пацана-то где потерял? — хватил его шофер по спине, но Миша даже не ослабил. Вздохнул, потоптался, рассеянно глянул туда-сюда.

— Что — пьет? — спросил Володю, который стоял над блюдечком с палкой в руке. — Да не, он не будет, — ответил сам себе тоскливо. — Сгущенку он не жрет. Хищник он, мне сеструха говорила. — Посмотрел на тетю Машу, на террариум с тазом наверху, почесал голову, спросил негромко, как бы между прочим: — Не видели, никто здесь не проезжал?

— Кто? — все удивились: кому здесь было проезжать.

— Женщина на верблюде. Не видели?

— Какая такая женщина?

— Да обыкновенная. Казашка на верблюде.

Шофер глядел на Мишу и лыбился. Вид у того был, словно ему темную сделали: глаза моргали, волосы стояли, как у пса на холке.

— Это бывает, — сказала повариха, — ездят бабы у них.

— Бабы?

— Ну да. — Повариха смутилась. — И верхом, и повсякому.

— Куда ездят? — нахмурился Миша.

И тетя Маша вконец сробела, словно шестым чувством чувствовала, что ни шофер, ни Володя здесь не могут командовать, а вот этот паренек.

— Муж в кошаре водку пьет, — пояснила суетливо, — а она на верблюда — и овец пасти. На конях-то у них бабы — не, только на верблюдах.

— Жена, думаете? — про себя как бы проговорил Миша. Снова почесал и еще раз поскреб. — Ну ладно...

И тут дверь кошары отпахнулась. В одном халате легоньком, волосы по плечам, словно сквознячком ее вынесло, — Воскресенская. И неожиданно для нее звонко:

— Есть вода? Я — готова!

Свое нетерпение она скрыть не могла — и без мытья была словно мытая. Поперек облупившегося участка на груди в треугольном запахе белела резиночка, простеганная розовой ниткой. Фестончатые рукавчики топорщились. Подол был короток по коленям, сверкали под ним яркие кругляки. Халатец, розово-пестренький, радостный, — ходуном ходил. О большие розовые пятки хлопали разношенные шлепанцы. Вокруг всего этого летало махровое полотенце с маками, в руках мелькали: баночка шампуня фирмы «Эскурат», розовая мыльница с серебряными блестками, снежный кусок мыла «Беби soap», изогнутая кокетливо зубная щеточка, тю-

бик пасты «Хлородонт» и пузырек «Био» для нормальной кожи.

— Я — готова!

Вся зефирная, жонглируя, бежала Воскресенская, смеясь и напевая:

— Наливайте, мальчики, что ж вы стоите.

Миша рот закрыл — нет, ничего такого нельзя было ей сейчас докладывать — и скомандовал:

— Взя-ли!

Мальчики подняли, взгромоздили, ухнули, опрокинули, дунула шумным пунктирным конусом из душа вода — и каждого окатило, обдало: да ведь праздник же! Едва отошли, взлетело на край фанеры полотенце, халатик лег поверх, голые ноги, из чего-то легонького по очереди вымелькнув, замерли, мокрые волосы свисли вокруг головы. И началось: повизгивание, ужимки, вздрагивания голых плеч, переступание мокрых ног, творожное облако на месте головы, руки вперехлест, углы локтей, плеск и брызги, пена и струи вперепут... Сделалось весело и бестолково. Надо же, волновались пустяками, переживали мелочи, а близкое, скорое, пастильно-лакомое забыли: скинуть все — и под струю, а потом в чистое, а там за стол... Только Миша еще сабантуйному не сдавался.

— Слышь, Коля-Сережа, — перебойным, дробным шепотом, — с овечкой-то нас засекли-застукали. Тот казах, что вчера приперся, и накрыл. Ты Людке не говори пока.

— Дело прошлое, не докажут.

— Как же! Забыл, что этот гад клейменные куски все отдал? Слышь, они хоть теперь нагрнуть могут, мясо найдут...

— Не бэ, Мишка, погрузимся.

— Чего не бэ, дело пришьют. Показуху разведут, в экспедицию накатают...

— А я вот что предлагаю в этом разе, — посерьезнел шофер, — давай ее всю сегодня и схаваем. Сожрем овечку — следы заметем. Я лично принимаю на себя повышенные обязательства. — Уж скалился, хохотал. — А ты чего такой, точно поглаженный? Поклевались с пацаном, а? Кто хоть кому наложил? — При этом он подмигивал поварихе, а та улыбалась празднично и конфузливо. Шофер язычничал, чертятничал, но она на подмигивания его ни словечка не ответила, а взяла на руки высокую дзинькающую стопку и пошла, понесла, позвенела.

Облако над кабинкой стояло. Убрана была из-под струи голова, округлость спины и сведенных плеч исчезла было, но вот сверкнуло на миг в потоке воды голое полушарие, вспорхнуло с ширмы полотенце, затрепетало и заполоскалось, потом исчез халат...

— Начальник! — завопил шофер. — Ныряй, что ли!

— Да я уж вас п-пропущу! — уязвленный прилюдной фамильярностью, свеликодушничал Володя. И скартавил: — П-прошу

— Нас просить не надо. — Шофер рванулся, разминулся с Воскресенской — с лица блестящая, в махровом тюрбане, с капельками на выгоревших висках, она припрыгивала к дому, пальчиком прочищая в ухе, — на миг приостановился, понюхал кондитерский душок от нее в

воздухе, избавился тут же из штанов. Всунулся, вкрутился под струю и заорал, молотя себя по плечам: — Х-хара-ша, братцы!

Волосы облепили маленькую голову, засветила лысина, по синеватым ногам поползла пена, западала хлопьями. Заструилась черная вода, потом серая. Но не успела попрозрачнеть, как чавкнуло наверху и с пневматическим высосом стихло. Саксаульно-гнутыми пальцами шофер согнал мыло с лица, глянул наверх, на небеса в четыре квадрата со светилом ржавым посреди, и — благим матом:

— Мишка, вода вышла!

— А. чего ж ты телишься?

— Да мне Людка и так полстакана оставила.

Шофер подпрыгнул, сухощавую ногу отставив, оттолкнулся от прицепа, вылез черной половиной, осмотрел местность. По всей селитьбе одна повариха из женщин добирала по земле крышечки да ложечки, нацелясь задом. Шофер ахнул и вылез белой. Это усилие стало решающим. Крестовина затрещала, бак пошатнулся, ржавая проволока натужилась, запищала, бак накренился, но устоял.

— Крепкая работа, — постучал шофер по подбитому баку пальцем. — Постоит еще, а?

— Ладно, завтра поправим, — торопил Миша.

— Не сегодня же. — Шофер гнезвился наверху раскорякой, левой рукой прикрывал срам на случай. — Там водка остывает, а мы возиться будем. Добро б крыша обвалилась, тогда да. А то — душ.

— Подымай! — раздалось тут.

Вторая фляга с Володиным и Мишиным подпором заехала наверх, шофер подтянул — обе руки пришлось приложить, повариха разогнулась и обмерла.

— Хорош, опрокидывай. — Увидел тетю Машу, левую руку вернул было на место, но равновесия не удержал.— А здесь, наверху, ветерок задул, прах-ладнень-кай! — И полетел вниз по-бабочьи, душ же вслед ему ранено простонал.

— Давай-давай заканчивай, — гнал картину Миша и Володе кивнул: — Вы сейчас.

— Ничего, — отвечал тот невнимательно.

— Чего — ничего?— Миша распаленно.

— Ну, все равно кто. Иди ты сначала. — Володя дернул головой.

— Как хотите. — Миша сплюнул. И добавил: — Да я быстро...

— Прекрасно, прекрасно же, — уж вовсе нервно вскрикнул тот.

— А ветерок-то дует, — припевал шофер душным голосом, уже запутав голову в майке.

Миша залетел... Он сильно мылил крепкую шею, взбивал тяжелые ватные брызги, фонтанировал ртом, как увидел парня, взбредающего по холму. Фыркнул, сощурился, сделал оборот на сто восемьдесят, а вода, сбегая по хребтовой выемке, ударялась о копчик и расплескивалась веером.

— Смотри, Мишка, не затягивай! — кричал шофер.— Ветром сдует бак, так зашибет...

Миша и не затягивал.— Давайте вы, — проорал, разбрызгивая воду ртом, как пульверизатор, — полезайте.

Володя полез. Уж всунул плечо, как Миша, полотенце отняв от лица:

— Вас не дозовешься. — Словно долго звал. — Водичка-то того. Кончается. — Но, заметив на лице Володи выражение, будто тому на ногу наступили, поправился:— Да я сейчас вынесу, начинайте... Пресной для вас налью.

Володя колебался, то убирал, то вдвигал плечо под струю, а вода убывала. Утекала из-под ног. В песок уходила:

— А разве м-можно пресной?

— Вам, — расплылся Миша, — можно. А завтра привезет водовоз. Мойтесь, купайтесь, пресной оно даже чище будет

Володя уступил. «Вам» не расслышал будто, полез, закинул голову, глаза прикрыл, повел лицом так блаженно, словно не водой — духами поливали, сделал вид, что не заметил, как Миша лил в бак из пузастого бидона, а тихо выдувал воздух, массажировал груди, потряхивал ляжками. Потом стал мылить затылок... Сидя на лавке с полотенцем через плечо, его ждал парень. Миша прошел мимо, насмешливо скривился. Володя намылил и затылок и шею. Парень сидел. Неслись из дома голоса, шумы, словно мебель двигали, кто-то засмеялся, тетя Маша несла из двери помойное ведро... Володя смыл, тер мочалкой спину и живот. Парень сидел. Смех плеснул снова. Размахнувшись, тетя Маша вылила помой за ограду. Теперь смеялся и Миша, шофер говорил быстро, Володя мочалкой потер и ляжки, и щиколотки. Парень сидел... Напор воды слабел. Володя ловил остатки раскрытым ртом. Смех плескал пуще. Над

самым ухом — сдобный голос поварихи: с легким паром вас. Володя шел из душа, вытирал крупную голову, застегивал рубашу на ходу, смахивал капельки последние с широкого лица.

— Вы уже? — встал парень навстречу. — Теперь мне можно?

Вода давно не шла, но парень рассмотреть не мог, был ведь близорук.

— Э-э, — сказал Володя.

— Ой, Мишка, не могу,— захлебывалась Воскресенская в доме.

— Я н-не знал, что ты не м-мылся, — соврал.

— Как? — затвердел парень. — А что, в-вода в-вышла? — Он не нарочно передразнил: так долго говоришь с иностранцем, сам себя на акценте ловишь.

Володя же нахмурился:

— Т-тогда помогите мне из фляги налить.

— Д-да, собственно...

И вдруг — совсем близко, очень отчетливо:

— Чего пристал?

Парень успел еще удивиться, что тетя Маша с Володиной так грубо разговаривает.

— Что привязался? Человек с работы, а ты весь день на койке лежал...

Парень струхнул. Это его ругала повариха, та самая, с которой он так сдружился. С которой, полутора часов не прошло, задушевно беседовали. Тетя Маша, Марья Федоровна, подсобившая с обедом от сердца.

— Воды ему не осталось, ишь! — несла на все корки. — И без воды хорош. Что тебе мыть-то, нечего тебе мыть...

Молча и отвертывая влажное лицо, Володя обогнул парня, ловившего ртом по-рыбьи, немного от обиды, миновал повариху, любезно и сыро улыбающуюся ему, тряхнул мокрыми редкими ниточками волос и исчез в доме. Тут и тетя Маша успокоилась. Перевернула ведро кверху дном, сцедила жидкие остатки парню под ноги, махнула хвостом и ушла.

Парень остался совсем один.

Ветер дул вполне ощутимо, но во рту стало сухо и душно красному лицу. Смех еще сочился из дома. Ветер дул, он и был причиной неясной перемены, какую учуял парень раньше во всем вокруг: неподвижный и застойный прежде, воздух двинулся. Ветер дул с севера. Парень подставил горевшее, словно всухую натерли вафельным полотенцем, лицо, прикрыл прослезившиеся глаза. И пошел навстречу, глотая, давясь, сжимая кулаки.

Пять минут он шел не останавливаясь. Все быстрее. Все изломанней, точно погони боялся. Одно плечо выставил вперед углом. Но оглянулся.

Никто не хватился его, никто не звал.

Кошара стояла на север слепой стеной, увидеть долговязую фигуру на краю свищеватого, в норах и водомоинах, поля из дома не могли.

Парень стоял.

Рубаха выбилась из штанов, полоскалась, то надувалась пузырем, то лопалась и обвисала. Подслеповатые глаза высохли, но воспалились и уменьшились. Кожа на лице натянулась, ветер приподнял волосы, вид стал совсем шальной.

Парень смотрел в сторону кошары. Но видел он, должно быть, лишь смутный силуэт. Белесый кубик, больше ничего... Пару раз он глотнул слюну. Колебался, щурился, шептал неслышно, обметанными губами. Потом двинулся дальше.

Фигура его стала уменьшаться.

Ветер замотал штаны, и ноги истончились. Стало смеркаться, и туловище сплющилось. Он маячил некоторое время, издали похожий на птицу, тем больше, что шел кособоко, подбито, припадая. И исчез за холмом.

Глава 8. ТОРЖЕСТВО

Впрочем, о сумерках не откажу себе в удовольствии сказать отдельно, они в здешних местах особенно хороши.

Взгляните-ка: теплые горы, виднеющиеся на горизонте бородкой английского ключа, поскучнели, будто наизнанку вывернулись. Спины буланных дальних и ближних гряд, утопанная котловина колодца, песочный шифер въезда на холм — все обернулось точно давним пергаментом, в выдолбленные добела колеи и следы и вовсе желты. Пустыня стала черепаховой, как гренок, воздух же налился нежданно-нежной жиденькой акварелью.

Посмуглело небо. Застирано-полотняное смягчилось до кремового. На западе проступили бледные рубцы. Солнце клонится и растет. Крепкие, сбитые облачка с припекшимися сподками, с рыжими взвихренными верхушками, с русыми завитками на мордочках зажму-

рились и плывут. Между тем чудится, будто само небо, исполосованное близким закатом, стягивается за край, под ним на востоке раскрывается следующий, шелково-бусый, подол.

Тени длинятся. Вересковые отсветы ходят по белесым стенам. Снутри же дом точно пеплом выстлал.

Обычно ламп не зажигали в этот час, хоть и томителен. Занимались кто чем.

Шофер спал чаще всего. С обеда дожидаться ужина укладывался босой поверх одеяла, приоткрывал рот, поекивал, желтая слеза от угла губ близилась к оловянной подушке. Он крючился, точно по давней привычке и во сне тужился занимать меньше места.

Володя сидел здесь же, писал.

От вспыхнувшей на окне марлечки через столовую в прогал двери шло сквозное свечение. Ржавые струйки падали на прямоугольник письма. Володя ворочал головой, будто шее тесно, вслушивался, листок разрисовывал медленно, всякий значок отдельно, точно не буквы выводя, — ноты.

Свет вырезывал и обводил абрис Мишиной головы. Он бывал у стола. Кейфовал с послеобеденной сигаретой над кружкой остывшего чая. Табурет отставит от стола, руки олокотит, пальцы запрячет в волосах, покачивается, покуривает, сигарета свисает на губах. Смотрит в одну точку на стене. Серые клубы неспешно разматываются над ним, вся фигура говорит, что он сейчас далеко.

Прежде гладкая, стена теперь в живых завитках и пятнах, точно в свежих мазках масляных, но Миша вряд ли видит. Зато слышно, как в его желудке мягко, вкрад-

чиво шевелилась перевариваемая им пища — куда-то засасывается, из чего-то перетекает.

А вокруг тихо. Мухи с огорчения, что дивный душный день прошел, от назойливого зуда сползли к пианиссимо. Замерли на потолке, переходят по стенам, только две, слепившись, жужжат на липкой клеенке.

В другой раз Миша не один, сидит Воскресенская рядом. Взались что-то хозяйственное вычислять да прикидывать. Глядишь, парня призовут за писаря. Только и слышно тогда:

— Масла два кило, хлеба пять буханок, песку четыре. Пиши, пиши, что рот разинул?

Бабочки ночные сумерничать не летят. Окна раскрыты; протягивает под провисшей марлечкой еле слышно пылью, неуловимым сквознячком и точно цветами. Лицо Воскресенской посверкивает от крема в полусвете, двумя рядками выпирают на голове под газом бигуди. Бесстыдных мух согнав, тычет пальцем, куда писать. Парень царапает пером послушно, стул под Мишей скрипит — он касается под столом коленом ее колена, серые клубы вконец распустились. Голос все бубнит без выражения:

— Сухофрукты — четыре кило, постного масла на три рубля, заправка газом на два пятнадцать, да не в строку пиши, столбцом, чтоб цены можно было проставить. — И Мише: — Чего размечтался?

А то усядутся — еще и Володя — рисовать карты.

Вырастает на столе — стальная причуда в сумерках — стереоскоп: затейливо гнутые ножки, моноколь в единственном глазу, два зеркальца крылышками — два озерца в чайных потемках. Явится баночка с водой,

ящичек с красками, стакан с карандашами. Линеечка, транспорир, лекала — калька под пальцами шепотом повторяет их имена, бумаги и блокноты.

Разрисовывают по участкам: кто прошел в маршруте, тот и сидит за прибором, рисунком повторяет на карте. Другой следит, по своему журналу сверяя, чтоб пласты стыковались, чтобы его обнажения и у соседа нашли подтверждения. Так и подгоняют, так и меняются — то Воскресенская, то Володя.

Миша рядом. Хоронит зевки за ладонью, заглядывает рисующему через плечо, колено прижимает тесней. Стул его пищит тише.

Света все меньше.

Володя прячет кисточку в кулаке, горбится, будто невысказанное в письме дорисовывает. Воскресенская подсказывает изредка. На кухне парень брякает ножом. К ужину там уж горит робкая свечечка, светит, как из пещеры,— и делается видна по тесным стенам спящая вниз головами посуда.

По углам вечер.

Марлечка все алеет. Голос Воскресенской глуше. Гуще плесень на стене, отчетливей вылезает из груды островов цвета серы и засохшего мха каряя географическая оконечность, пуще пахнет невесть откуда, точно укропом, волглым красным вином, — воздух прянеет. Свечечка с кухни подмигивает смелее, того и гляди ушлют парня во двор, пока совсем не стемнело, заправить лампы, подрезать фитили, протереть прокопченные вчера колпаки. Мухи ноют все жалобней, вразной, просительно. Последняя пыль догорает, укладывается, она еще мерцает за окном, но предзакатный этот час

вот-вот оборвется... И словно в подтверждение что-нибудь тогда случается.

То шофер диковато и обиженно крикнет со сна в тишине — и все подскочат ужаленно. То потянет с кухни, точно предвестием пожара, горелым, парень загремит сковородками, и его закостерят с облегчением. Иль среди сумерек и занятий подождет Воскресенская ноги, ойкнет, а по потолку пушистой тенью проплывет что-то живое. Тут уж засветят сразу. Серое потемнеет, окажется бурым, мохнатым, раскоряченным.

— Фаланга! — встрепенется Миша, руки потрет. — Здорово, меня сеструха просила...

Паук замрет. Присядет, точно со страха. Повисит и боком поскользит, скромно и вкрадчиво. Углы его лап механически двигаются, каждая шерстинка пропечатывается на светлом, зловещая тень съела трещинки на потолке.

— Б-р-р, — трепещет Воскресенская, дрожа и жмурясь. Да и всем не по себе.

Руша пасьянс из бумажек и листков, испещренных колонками цифр, Миша лезет на стол с ногами, держа пустую банку в руке. Фаланга готова к нападению: челюсть ее шевелится. Но вот горловина накрывает животное, кручатся десяток прищемленных волосатых хвостов, секунда — и банка припечатана крышечкой, мир восстановлен, Миша рад, а паук в отчаянии переплетает остатки конечностей и зарывается в убогий клубок с головой.

А пару дней назад в раскрытую дверь на закате со двора залетела саксаульная сойка, маленькая и не-

взрачная. Заметалась по углам, забилась, Миша же, выродив очередной моточек дыма, заметил философски:

— Кстати, о птичках.

Сойка трепыхалась под потолком. Ничего не задевала на лету, что было мочи била и хлопала крыльями, никак не угадывая спуститься ниже притолоки, напоминающая светлым тельцем в полумраке летучую мышь. Воскресенская прервала писание. Замерла, подперла рукой подбородок и, водя глазами, пробормотала, что в визите этом — какая-то примета.

— Какая только — не знаю, — добавила отчего-то шепотом.

— К дождю, — ляпнул шофер. Он возник на пороге, щурясь, запихивая подол в штаны и готовясь ужинать.

Слова его были внезапны, Воскресенская и второй раз вздрогнула.

— У греков, к примеру, — заметил Володя, обмакнув кисточку в краску и держа на весу, — птички эти приметы п-порядочно были расписаны. Возьмите хоть «Одиссею»...

— Чего у греков-то? — обиделся шофер. Он, видно, проснулся не в духе. — А у нас что? Грек, посмотрите на него.

Володя не дал краске капнуть, ничего не ответил, а согнулся и залил намеченное. Шофер продолжал:

— У нас как? У нас сорока к гостям прилетает, ворона в стекло корябает — к смерти...

— А эта? — оглянулась на него Воскресенская.

— Эту не знаю, — буркнул шофер и застегнул штаны на крючок. — Говорю же: хоть какая птица, а коли ме-

чется в дому, так к дождю или к грозе. Ильи-пророка птица, так в деревне говорят.

Миша ослабился, окурок отлип от верхней губы:

— А ты, Коля-Сережа, верующий, а? — Он подмигнул Воскресенской, но та не заметила или сделала вид, что не видит. — Мы-то думали, ты — атеист, а ты...

— При чем здесь?.. — хмуро оборвал шофер и отвернулся.

— Я вот думаю...— начала было Воскресенская, Мишу не слушая и все следя за сойкой, но не договорила.

Птичке, видно, надоело дожидаться, наскучило болтаться без пользы туда-сюда. Сделав дело, она нырнула вниз, сплапировала углом, мелькнула в просвете двери — и была такова...

Но хватит о буднях!

Сегодняшние сумерки не были похожи на всегдашние. Необычно жгуч и ал казался в окошке близкий закат, оттертая до блеска клееночка на столе смутно розовела, и цветы, разбросанные по ее полю, сделались из светло-синих сказочно-фиолетовыми. Лампы зажжены были до срока, и в чашечках цветов то и дело пробегали скорые золотые молнии, на потолке приплясывали серебряно-сиреневые искорки.

Да и герои наши, забыв все будничные дела, жили уж в предвкушении праздничного стола, принаровляясь кто как мог к близкому торжеству.

Вот полюбуйтесь.

Шофер надел со дна чемодана выуженные, отгладившиеся под весом других пожитков многими короткими лезвиями, пересекавшими и вкривь и вкось ос-

новное, вертикальное острие, парадные черные штаны. Расческой о двух гибких ресничках, строго глядя в глухую стену, но мысленно видя себя в зеркале, уложил на сторону редкие плоские волоски.

Миша, одеколонный, в парадно расчесанной бороде, в рубаше драконовой, гофрированной, раскопал под перловкой и гороховым концентратами шоколадные кружки в нарядной фольге с выдавленными новогодними снежинками, спрятался за спиной шофера и в потемках принялся корябать адрес в распашной открытке с лиловыми маками.

Володя, по-прежнему влажный, мягкий, всегда обходивший кухню стороной и евший, что дадут, теперь наказывал сбитой с толку, раскрасневшейся поварихе, на каких сковородках шашлык жарить, и даже покушался собственноручно готовить соус...

Наконец прозвенели из-за двери Воскресенской последние скляночки, что-то еще прошелестело, да так громко, словно ее саму вощанкой обернули, дверь отпахнулась, публика попарно — Володя с поварихой из кухни, Миша с шофером из комнаты — протянула головы и пораскрывала рты, чтобы не пропустить подробности, — и выход состоялся.

Дивно шурша, перламутрово покачиваясь, в оглушительных облаках аппетитнейших духов, остро и бегло взблескивая рядами каких-то заклепок и крючков, вся мерцая и томясь, качаясь и множась в отсветах зажмурившихся ламп, Воскресенская предстала перед сраженными подданными, пододвинулась тишайше и так, что в передвижении ее нельзя было и намека схватить на поочередные шаги, а как бы пропадая в одном месте

и материализуясь в следующем, оказалась у кромки обеденного стола, повела рукавом, обнажив бездонный его зев, и оттуда, на дрожащих руках вконец ополумевшей тети Маши, поплыла по воздуху огромная, вулканически клубящаяся, потрескивающая, как черепица на пожаре, эмалированная кастрюля, полная до краев томатно-золотистого борща.

Уселись так.

Воскресенская при кастрюле — во главе, по бокам Миша и Володя, шофер к кастрюле лицом, а спиной — в простенок, тут же и тетя Маша, в близости от кухонной двери, на уголке, за пяточком скромнейшим, оставленным для тарелки с рюмкой. Явились четушечки с белыми рожцами в красных ободках, поллитровки с рожками, разукрашенными разводами, особые, праздничные, розовой пластмассы, кое-где с желтыми проплешинами на стенках, стаканчики, водка в которых лиловела; округ главного вулкана, освобожденного от крышки и исходящего паром, образовались пять кратеров поменьше... Миша поднялся говорить тост.

Однако я вовсе не забыл о пропавшем парне, развернувшемся на сто восемьдесят и уканавшем в неизвестном направлении, обидевшись на нехватку воды, скорбя о не случившейся помывке. Просто-напросто пока никто о нем не вспоминал. И не вспомнит, как это ни странно, вплоть до следующего появления на сцене, не очень вовремя, посреди пиршества, в переломе нынешней главы.

Итак, что говорил Миша?

Сперва, разумеется, о производственных качествах новорожденной. О неистощимой энергии ее на почве

аэрогеологии. О том, как любит ее коллектив, и в этом месте, сделав едва заметную тематическую модуляцию, чего от Миши, право слово, трудно было ожидать, он переехал на щедрые личные качества виновницы торжества, поблагодарил от лица присутствующих, а там достал шоколадку и под аплодисменты вручил торжественно, жестом остановил проявления восторга — преимущественно с противоположного объекту поздравлений конца стола — и внятно прочитал написанный в открытке адрес. Вот эти строки: «Коллектив шестого отряда третьей экспедиции треста «Аэрогеология» сердечно поздравляет Воскресенскую Людмилу с днем рождения и желает в этот день ей радости в труде и успехов в личной жизни». И подпись: «Коллектив 6-го отряда».

— Спасибо, спасибо, — жала Воскресенская протянутые с трех сторон руки, — да только женщину после тридцати поздравлять не с чем...

Однако руки тянулись, говорились слова, мужчины вразнобой, но единодушно заверяли виновницу торжества в чем-то приятном и неразборчивом, а повариха норовила чмокнуть и щечку, хоть и была трезва, причем успела вставить под шумок «дочку».

И так могло бы, должно быть, продолжаться еще дольше, когда б сама Воскресенская, истомившись от смущения, ни произнесла умоляюще:

— Ну, выпьем же, выпьем!

Тогда хор распался. Словесные выражения уступали место мимическим, и, нарастая, сперва робкий, потом все более внятный ропот заглушил восторги:

— Выпьем, выпьем!

Выпили по первой.

Закусывали жадно: ложки работали как заведенные, ныряя то и дело в самую парчовую гущу, от нетерпения осекаясь иногда, брякаясь о края и донца, металлическими голосами перекликаясь. Сразу стало тесно за столом, полно в комнате. Особенный сочный шумок, вкусное молчание наполнило все — всплескивали среди него чмокания, посасыванья и глотки. Повторно задымился весь выводок суповой посуды, и стаканчики вновь наполнились. Теперь пауза была недолгой, будто заранее сговорились, за что пить. Стаканчики вновь опустели, во второй раз совершив по мере опустошения переход от одного края радуги к другому без пяти промежуточных цветов.

Несмотря на сквознячок и общее движение, лампы светили сыто и весело. Впрочем, великолепии борщовых переливов, кокетливых нырков то здесь, то там алых бочков консервированных помидоров пикантно оттенялось простотой стола.

Вот вам этот неприятный натюрморт.

По знакомой вам клеенке двумя кучками были расположены деревянного вида, в кристаллической крупной сыпи, черные сухари. В широкой миске в центре громоздился штабель с похвальной прямоотой нарубленного серого недельного хлеба. Среди этих возвышенностей над матовой пустыней порхала чесночная шелуха, кое-где косо произрастали не вконец обездоленные серые стерженьки с мохнатыми пятками. Солонку заменяло простое блюдо, салфеток не подавали. Вместо холодного были какие-то томатные сегменты; коли судить по бумажным извещениям на банках, из

породы рыб. Непритязательностью отличался и разговор, в той или иной степени тронувший всех.

— Не-ет, что вы ни говорите, — утверждал шофер, доскребая повторную порцию со дна миски, — а за границей не так, как мы, пьют. Больше.

Володя кивал, будто соглашался, и зажимал в крупных ногтях пойманный им только что чесночный коготок.

— Вы, Николай Сергеевич, абсолютное употребление на душу населения имеете в виду или относительное?

— Я такое потребление имею, — облизнув ложку, не спеша пояснил шофер, — что они как пойдут с утра пить, так и не останавливаются до вечера. И виски всякие, и джин, и не знаю чего. Положим, он утром проснется, стопарик налил себе с этой своей кока-колой, шарханул и на работу. Туда пришел, в шкафчик полез, снова. Так и шлепает до самого вечера, пока спать не ляжет. А как проснется, примет на опохмелку и на работу идет. Вот, считай, и набирается за весь день.

— Ты, Коля-Сережа, так говоришь, словно сам был, — подзадорил его Миша. — А я чего-то не верю: что ж они, всю жизнь так пьяные и ходят?

— А что? Это мы сели культурненько, борщок, супчик, закусочка, все честь по чести. Так хоть одну бутылку выпей, хоть две...

— Положим, на Западе тоже закусывают, — вставил Володя. — Однако я не понимаю, откуда у вас такая информация?

— Информация-то? — выговорил шофер не сразу — дикция его, и так не бог весть какая, теперь и вовсе ос-

тавляла желать лучшего. Впрочем, хоть и быстро разбирал его алкоголь, но в какой-то момент происходило в его организме нечто вроде насыщения. После этого пить он мог долго и без потерь, в стельку не напивался никогда, вот дикция только...— Информация? — повторил он. — А я скажу. Газеты — раз! Телевизор — два! Книжки! У них количество алкоголиков с каждым годом растет, знаете вы это?

— Ой, а у нас тоже пьют — смерть как! — Тетя Маша из кухни внесла свою лепту в разговор, настаивая на объективности.— Вот хоть соседка моя. Молодая совсем, а уже четыре раза леченная!

— И я скажу — почему, — продолжал шофер. — Хочешь, скажу — почему?— Он прищурился, прямо посмотрел на Володю и торжественно произнес: — Да потому, что у них там пить причины есть, а у нас — у нас только поводы. Ясно?

Володя впервые поднял на него глаза и взглянул с недоверием. Но шофер был серьезен.

— У меня один пожарник есть, — продолжал он, — кореш по седьмой автобазе. Так он рассказывает. Раньше, говорит, что? Раньше приедешь на пожар,ходишь в квартиру, а там уж пусто, все успели вынести, немного было имущества. А теперь? Теперь, говорит, приходишь, так полный дом, говорит, барахла у каждого. А почему? Да потому, что пьют меньше, денег больше, так-то вот. Им, пожарникам-то, вещи брать строго запрещают. У одного на построении после пожара в кармане штанов будильник зазвенел, так и то строгий выговор и тринадцатой зарплаты лишили, — так они сразу к холодильнику. И что думаешь: нет, говорит, та-

кого пожара, чтоб в холодильнике початой ли, полной ли бутылки не стояло. А ты говоришь. У нас теперь не допивают даже: рюмочку выпил и обратно поставил, до вечера.

— Пьют теперь и вправду меньше, — подтвердила Воскресенская. — Я вот в новогоднюю ночь возвращалась в метро из гостей. Часа четыре только было, не больше. Так все трезвые сидели, честное слово...

— Ну, это, конечно, не оттого, — прищурился на нее шофер. — Это потому, что которые трезвые, те только и ехали. А кто пьяный, так он там же, в гостях, и лег... Что, Федоровна, — обернулся он тут к поварихе и обнажил сталь во рту, — теперича по мясцу вдарить не грех?

— Нет-нет, мясо рано подавать! — запротестовала Воскресенская. — Как, мальчики?

Она поскребла пальчиком в уголке губ, сложенных скошенным овалом.

— Вы, Марья Федоровна, первую сковороду крышкой прикройте, а вторую не надо, не дошло еще, наверное...

— Так ты понял? — вразумлял шофер Володю. — У них жизнь там такая, что за горло берет. Как не запить! А у нас: гарнитур тебе — пожалуйста. Холодильник у каждого. Цветной телевизор тоже купить — что два пальца помыть. Ведь в рассрочку...

— Это вы правы, конечно, — качал крупной головой Володя, закуривая.

— Поэтому как мы пьем? Положим — Седьмое ноября, грех не выпить. Или там день рождения.

Закурили и остальные. В предвкушении настоящего ужина, ибо суп относился, бесспорно, к пропущенному обеду и занимал в праздничном меню место увертюры, настроены были благодушно. Табачный дым мирно заворачивался голубоватыми шлейфами возле бойко коптящих ламп.

— Да и на улицах пьяного теперь реже увидишь. То ли подбирают вовремя, то ли еще что, — сказала Воскресенская, — да только редко когда лежит.

И она благодушествовала. Самый деликатный момент — момент одаривания и поздравлений — счастливо миновал, подарки оказались скромны до наивности, взяткой не пахли, и даже Володя вместе со всеми тянул полную руку. А выпив, заговорили тоже хорошо: не о том вовсе, что где-то якобы что-то не так и плохо, а наоборот, что все к лучшему. И вообще: что может быть славнее этой русской манеры, выпив водки, закусив борщом, говорить не о политике или службе, а о борще же и водке.

— Ты, может, и прав, Коля-Сережа, — говорил меж тем Миша с этой своей ироничной интонацией и снова как бы подстрекательски, — да только вокруг погляди: вся пустыня посудой завалена.

Володя поднял голову.

— Да-да! Помнишь, Коля-Сережа, мы с тобой в прошлом году считали, когда по шоссе ехали: ты слева, я справа? Так за один километр на обочине я двадцать четыре штуки насчитал, а ты и того больше.

— Так то у дороги, — возразил шофер.

— Да дорога ни при чем здесь. Мы и в маршрутах собирали. За неделю — помнишь, Люд? — за неделю

сто с лишним штук набрали по бездорожью. Я в любом месте становлюсь и пять бутылок вижу.

— Это интересно, — заметил Володя. — Странно, что я н-не замечал.

— Еще как интересно! — Миша по привычке своей качнулся со стулом. — Только не поймешь: откуда они? Ведь вся пустыня завалена, ей-богу.

— Это за много лет накопилось, — откорректировала Мишу Воскресенская. — Бутылки принадлежат, как говорят археологи, разным культурным слоям.

— Да как же разным-то! Все одному слою принадлежат. Из-под «Экстры», из-под портвейна. И из-под пива, правда, редко когда.

— У нас с пивом перебои, — вставила тетя Маша. — Дефицит. Но скоро обещали...

— Я тоже сперва думал — давние будут попадаться. Из-под «Московской» там или из-под коньяка, когда он еще дешевый был. Так нет — все теперешние!

— И что, м-много с этого в-выручали? — спросил Володя с интересом.

— А ты посчитай, — перешел Миша на «ты» в азарте. — Неделю набрать сто штук в маршрутах, если всем отрядом собирать конечно, — нагибаться не надо: идешь и наступишь на них. В городе их по гривеннику принимают. Вот и считай. В кузов в тот раз, Коля-Сережа, штук триста вошло палом, так?

— Штук триста, — губами изобразил шофер.

— Ну вот — тридцать рубликов.

— И что, никто их н-не собирает больше?

— Так транспорт надо иметь, чтоб за двести километров в город из пустыни их везти. Но все равно сдают: только я думаю — свои же, из города. Из пустыни нет.

— Свои, свои, — подтвердила тетя Маша.

— Там какая система? Там приезжаешь часов в семь, а пункт приема в десять открывается. Очередь огромная: кто с детскими колясками, кто с чемоданами, кто с мешками. Сидят, курят, разговаривают. И вот в десять ровно ворота открываются и грузчики выбрасывают тару — ящиков сто, не больше. Галдеж поднимается, шум, гам. До драки дело доходит...

— До др-раки! — неожиданно взрычал Коля-Сережа, и Воскресенская озабоченно покосилась, хотела было отодвинуть бутылку от него, но удержалась.

— Кто захватил ящики, тот и сдает. Не успел ящик приобрести — пеняй на себя. Только ящиками принимают, на штуки счет не идет.

— Мне вот зять тару каждую неделю с работы приносит, — высунулась из кухни Марья Федоровна. — Я и хлопот не знаю. Спокойненько иду к одиннадцати часам, без очереди, без толкотни сдаю...

Но тут Воскресенская, с раздражением слушавшая разговор, взвилась:

— Марья Федоровна! Давайте же мясо! Чего мы ждем?

— Да вы ж сами сказа...

Раздался шум. С треском распахнулась фанерная дверь, послышалось топанье — шаги были не всклад, все обернулись в предвкушении плывущей из кухонных потемок, из сокровенных глубин трапезных кулис, громадной, шипящей, огненно пахнущей, плюющей соком

и жиром от нетерпения вожденной сковороды, но свет мигнул, запрыгали по освещенной сцене тени, и выступила навстречу взглядам долговязая всклокоченная фигура. Несколько секунд глубокой молчаливой задумчивости ушло на переваривание того факта, что парень явился откуда-то извне дома, из-за стен, со двора, а стало быть, в доме его не было. Но так как факт его отсутствия, сам по себе довольно занятный и требовавший каких-то объяснений, был не отмечен никем до сих пор, то и появление представлялось странным, почти парадоксальным.

Да и сам парень не сделал ничего, чтобы объяснить. Не раскланялся, не состроил рожу, не вскрикнул клоунски: а вот и я! Он будто намеренно усугублял неловкость, видом своим — мрачным и замкнутым — подчеркивал, что не было его неспроста; не желал как-нибудь унять свои, никому, кроме него самого, не ведомые капризы, обтесаться, проникнуться застойной атмосферой, а протянул в потемки длинную нескладную свою конечность и отнял у темноты лишний табурет. Пристроил его к столу и сел молча. На секунду это невинное действие могло бы породить успокоительное подозрение, что не отсутствовал парень с самого начала, а лишь на минутку незаметно выскользнул, все даже взглянули на него с некоторой надеждой, но парень глаз не поднимал, молчал все тяжелее, будто не только прошлялся где-то вопреки общему распорядку, но и узнал нечто без него никому не ведомое или принес ордер на выселение.

— Явился, значит! — угрожающе сказала Воскресенская. — А мы думали — отдельного приглашения ждешь!

Было это, как мы знаем, ложью, про парня никто ничего не думал, но он-то этого не знал, а дернулся ужаленно и посмотрел на Воскресенскую скользящим неверным взглядом, будто лгала не она, а его только что поймали на лжи.

— Я гулять ходил, — сказал он тихо и невпопад.

— Гулять! — вскрикнул вдруг Миша. — Да ты б, может быть, поздравил бы Людмилу Алексеевну, а? Гулять он ходил. Что, далеко от школы живешь? Не знаешь, как с днем рождения поздравляют?

Глаза парня вдруг страстно вспыхнули, ресницы забились, он набрал воздуха, чтобы что-то сказать, и, видно, важное, но Воскресенская воскликнула:

— Миша!

А со стороны кухни уж вылетела по воздуху запоздавшая спасительная сковорода, моментально всеми опознанная.

В течение следующих пяти минут ничего ровным счетом не произошло. Парень без комментариев получил тарелку, вилку и стакан — причем до краешков полный, стараниями шофера, и при распределении баранины не был обделен, после чего был снова всеми с облегчением забыт. Никто уж не смотрел, как он, давась, пропихнул внутрь водку, как ловил воздух ртом, украдкой тер взмокшие глаза, потом жадно рвал мясо крупными, врозь стоящими во рту зубами, близоруко щурился на прочие лица и, стараясь быть незамечен-

ным, воровски слизывал бараний жир с грязных пальцев.

Речь Миши была столь исчерпывающей, что не нашлось ни у кого больше новых слов для именинницы. Все только поднимали стаканчики, кивали, что-то бормотали, тянулись чокаться, а там, получив ответный кивок с головы стола, опрокидывали водочку и вновь устремлялись к мясу. Оно убывало. Первая сковорода в пять минут была опустошена, разоренно поблескивала в ней лишь ржавая и талая кромка сала у берегов, а посреди росла свалка обглоданных костей.

— Мишка! — ворчал Коля-Сережа. — Нажимай, как договорились! Чтоб все дочиста!

— Ты за меня не переживай, — урчал и тот. Остальные чавкали молча, и лишь при появлении на месте разворванной сковороды следующей разговор возобновился.

— Был у нас в партии один геолог, — говорила Воскресенская, жуя, а потому прерывисто, — этикетки собирал... водочные. И больше ни от чего...

— Мой малый... — вставил и шофер, любовно обсасывая кусочек сухожилия, — марки... про космос.

— Причем не от всякой... водки, а только от той, что по три шестьдесят две...

— Коленвал, — подсказал Миша, зубами роясь в глубокой какой-то разлапистой кости.

— А п-почему не от всякой? Непонятен принцип...

— То-то и оно. Оказывается, этикетки от «Экстры», к примеру, или от «Старорусской» все на один лад, а вот по три шестьдесят две — так все разные!

— Да ну?

— Да, а вы как думали? В одном городе в одну сторону завитушки, в другом — в другую...

— В Москве вот, — заметил Миша, ковыряя ногтем в зубах, прилежно вычищая оттуда кусочки мяса и проглатывая их, другую руку потянув к сигаретам, — один генерал в отставке пустую посуду собирал.

— Разные бутылки, да? — кивнула Воскресенская.

— В том-то и дело, что нет. Не разные, а одинаковые — все пол-литровые, из-под пива или из-под водки. А потом столько набрал, что из них дом построил и веранду.

Миша закурил, затянулся и пустил дым так, чтобы сквозь него взглянуть на пламя в ближайшей лампе.

Все охнули. Парень молчал.

— Кажется, — сказал Володя, — такой случай был в Австралии.

— Опять он с Австралией! — Шофер тоже отвалился от тарелки и мял сейчас в стальных зубах еще не прикуренную папиросу. — Дело не в том, пустую посуду везде собирают. Но дом-то дороже, чем если сдавать. Головастый мужик!

Вместо спичек он потянулся к бутылке, но Воскресенская помахала рукой.

— Да не спешите ж вы так, Николай Сергеевич.

— Я нет, я что...

Закурил и он.

— У нас, когда я еще в столовой работала, одна всякую-превсякую дрянь собирала. Увидит тряпочку — тряпочку домой несет, увидит веник — веник. Гвоздики, палочки — все несла к себе. Мы ее спрашиваем, бывало: зачем, Василис, тебе это все, на кой хрен? А она

молчит. Одна жила, вроде как дурь у ней такая: все собирать. Потом померла.

— Календари собирают, монеты, — сообщил шофер тугим языком.

— Я в детстве — значки. Потом всю коллекцию Тате отдала. А сейчас не могу понять: какое в этом развлечение? Вот я знаю одну женщину, так она с сорок девятого года мыло коллекционирует. Вся комната в мыле: и на серванте, и в шкафу. Зачем?

— Я думаю, здесь общей идеологии н-нет. К-каждый по-своему к коллекционированию приходит. Это, может быть, и мода, а может быть, и страсть. М-может, и болезнь, к-ко-нечно. А коллекции бывают чудные. Ножички, замки, утюги, меню из ресторанов, импортные пачки из-под сигарет, фонарики, д-даже к-консервы...

— Да, работает фантазия у людей.

Послышались какие-то горловые бульканья, нечто похожее на икоту, — все повернулись к парню. Он залил уже в рот вторую рюмку, обвел глазами повернутые в его сторону лица и сказал очень внятно:

— А я озеро нашел!

И, потрянув головой, снова икнул.

— Ах, это вы, Николай Сергеевич, ему наливали! Тоже мне штрафник. Что он несет? Да его стошнит сейчас на стол, вот что.

— Нет, не стошнит, — сказал парень. — Я выпил мало, я трезвый совсем. Озеро — во-от такое, спросите у нее.

Он ткнул пальцем в тети Машино плечо и ковырнул ногтем. Та дернулась и прянула в сторону:

— Но-но, ошалел? Ты смотри, гусь свинье не товарищ и брат.

— Чего вы в самом деле-то! Вы ж говорили, что на озере с зятем были. Сегодня мне говорили. Так вот, рядом оно. Километра три, ясно? Я нашел, — утвердил парень и похлопал себя ладонью по груди. — Что, не верите?

— Теперь я понимаю, за что тебя из института выперли. Боже, откуда на мою голову?..

— Я говорил, — вставил Миша.

— Вот что, поднимайся-ка и баиньки. Мальчики, ну-ка...

— Да никто меня не выгонял, ясно? — вдруг взвился парень, вскочил на ноги и за тесным столом, среди дыма и сумерек оказался огромным, угрожающе машущим громадными руками, будто жонглирующим своими кистями так, чтобы они перепрыгивали одна через другую на потолке. — Никто не выгонял. Я сам ушел, понятно? И не смейте так говорить. Я озеро для вас искал. Там скважина, мне водовоз говорил. А он не приедет больше, а там вода! И она знает, и водовоз. А я нашел... Ни-никто меня не выгонял. Я специально ушел, чтобы поехать... И спать не хочу...

— Что он несет? Почему водовоз не приедет?

— В отпуск он пошел, видно, — процедила тетя Маша с опаской.

— А что ж вы молчали? Что ж мне не сказали? Нет, это не укладывается в голове. И мясо перевели...

Тут Миша выразительно глянул на ухмыляющегося Колю-Серрежу.

— А сейчас вода кончится — что делать будем?

— Я озеро нашел. Большое. Там по колено, водовоз говорил. Там купаться даже можно. Буровики оставили. Воду искали и оставили...

— А в к-какой это с-стороне? — спросил Володя.

— Вот так.

— На север, з-значит?

— На с-север.

— Вот что я вам доложу, дорогие товарищи... — начала Воскресенская, при каждом слове легонько ударяя ребром ладони по столу.

— Простите, Люда, — перебил ее Володя. — Но мне к-кажется, это должно быть интересно. И местное население, и водовоз, и Вадим вот говорят об одном: рядом есть п-прес-ный источник. Мы должны с вами п-прислушаться...

— Бога, бога ради, Володенька, или, простите, товарищ Салтыков, — прислушивайтесь! Да только мне-то не надо...

Где-то, чуть не под самым окном, раздался вдруг отчетливый, громкий удар грома. Воскресенская оборвалась, выпрямилась, на лице ее показался испуг. Удар был раскатистый, металлически гулкий, словно кто-то ударил палкой по днищу железной бочки.

— В это время года... здесь не бывает гроз.

— А молнии не было видно, а? — встрепенулся Миша.

— Не, только гром,— прошептал и шофер пришибленно.— Я ж говорил вам — птица к грозе залетает.

— Верно, верно, верно, — зашептала Воскресенская,— я и забыла совсем. Птица...

— Должен пойти дождь, значит? П-посмотрите, Миша, идет дождь?

— Да нет!

— Выйди посмотри, — попросила Воскресенская неожиданно жалобно. — Выйди, Мишка.

— Я стою наверху, а оно внизу, — все рассказывал парень, которого окончательно развезло, — а оно внизу как будто блестит. Я спускаюсь — и руку туда, а там мокро, вода там. Я тогда как побежал обратно, сюда побежал...

На секунду все повернулись к парню, недоуменно вслушиваясь в его слова. То, о чем он бредил только что, было за начинающейся, пугающе неправдоподобной здесь грозой начисто забыто. Он говорил, но никто не мог понять: о чем он? Но едва дошло до каждого, что никакого объяснения происходящему в словах парня нет, как все отвернулись с досадой.

— Это рядом, — все бубнил он, — не верите, тогда завтра...

И тут Миша, переведя взгляд с трясущихся губ Воскресенской на посоловевшее лицо парня, что есть мочи истошно заорал:

— Достал ты нас всех со своим озером, ясно тебе? Заколебал, понятно?

Глава 9. ТОРЖЕСТВО (продолжение)

И вот изрядно нарядная картинка — строгих тонов, но с богатым праздничным фейерверком, с группой зе-

вак, только что прервавших застолье с тем, чтобы поглазеть на данное природное явление.

Признаться, мне она сладко напомнила навечно пропахшую типографской краской, мучительно полузабытую гравюру к забытой накрепко сказке, несомненно волшебной, ибо над головами щеголей в жирно оттиснутых цилиндрах и глянцевых изящноталиевых барышень широко распустились невиданные гроздья иллюминации и диковинные пиротехнические цветы. Однако эта моя ассоциация вам ровным счетом ничего не прояснит, опишу картинку подробнее.

Большую часть изображения занимает собой почти совершенно круглая чаша с зазубренными краями, полная самой густой и беспроглядной черноты и образованная цепочкой наскучивших вам, должно быть, все тех же голых холмов. Откуда-то снизу, из-под необозримых ее боков, то здесь, то там вырываются, точно языки костра, исполинские белые сполохи: похоже, что кто-то машет по небу летучими бледными кисеями. Туманные отсветы не успевают гаснуть, как новые и новые языки жадно лижут небесный свод над полукружием горизонта.

Края чаши фарфорово мерцают, словно холмы плоски и тонки, и сквозь них видно на просвет, по ним то и дело пробегает судорожный тончайший рисунок. Видны дрожащие трещинки, какой-то неясный орнамент, неверный узор, нанесенный, скорее всего, замешенной на охре золотой пылью. Матовая синева, расплывшаяся наверху, не причуда и не небрежность художника, а блики, которые отбрасывает фарфор на искусно инкрустированное изображением астрономиче-

ских объектов ночное небо. Зарницы быстры, вспыхивают всякий раз на новом месте, но композиция такова, что зрителям, стоящим у кошары, видна вся панорама, мельчайшие детали этого светового представления.

Игра света в темноте словно бездумна, легка, красивы взмахи белых плюмажей над пологими спинами, однако полная беззвучность происходящего делает эту игру загадочной, если не пугающей.

Мы привыкли, что гром не только сопровождает, но и объясняет молнию, а плеск водосточной трубы делает понятным дождь. Но представьте на секунду, что и в первом и во втором случае кто-то выключил звук. Тогда беззвучность происходящего помешает вам уловить, какая отведена роль в этом немом спектакле электрическим и прочим силам, душа ваша смутится, и, быть может, даже самому рьяному физику на миг представится, что небо и земля приведены в неистовство не посредством ясной механики, а вмешательством потусторонних причин. Подобное чувство, наверное, испытали и те из наших героев, которые к этому моменту праздничного ужина еще не потеряли способность удивляться.

Однако в конце предыдущей главы мы оставили не только их, гуськом потянувшихся за Мишей из дома, не только несколько полных, две пустые и одну початую бутылки водки на столе, недоеденную овцу, но и одинокий, загадочный раскат грома, который чуть погодя конечно же объяснится.

Итак, герои наши ослеплены, оглушены, очарованы. Но уже через секунду, обретая дар слуха, они стали разбирать — те из них, разумеется, которые остались

способны не только удивляться, но и замечать происходящее вокруг себя, — делавшийся все слышней, все явственней и несомненней, идущий неведомо откуда — подземный, никак? — плотный и сплошной, глухой и низкий, грозный и непрерывный, гладкий и густой, тупой и постоянный, непрерывный и ровный гул.

Все прислушались.

Если напрячься, то в гуле этом можно было различить и кое-какую дробность, какое-то неверное шелестение и шуршание, потрескивание и позванивание, так что ровным и гладким он был только на первое вслушивание. Однако — и это было ясно сразу — он не имел никакого, ни причинного, ни следственного, отношения ко всей этой небесной пиротехнике, к полыханью зарниц, на фоне яркой и глубокой черноты неба, никак не объяснял ее, напротив, делал происходящее еще более чарующим, еще более пугающим.

Лишь выйдя за ограду двора из-под защиты стен, можно было понять причину этого подземного и устрашающего рокота. Это ветер задул теперь настолько справно, что вся пустыня буквально зашевелилась. Мелкая галька, камешки покрупней, пыль и песок, обрывки сухих листьев больших вонючек, палочки саксаула, перышки и сухие стебельки, катышки помета и комочки словно чего-то живого — ничем ветер не побрезговал, все волок и тащил куда-то, потряхивая и побренькивая, тащил без видимой надобности, с жадностью и упорством. Могло показаться, что разворовал он тысячу птичьих гнезд, однако пока весь этот мусор катился низом, а воздух оставался чист, прозрачен, даже

влажен, коли сравнить его с дневным, конечно, а не с морским бризом.

Напор у ветра был неистощим.

Страстно вцепился он в пышное платье Воскресенской — в его объятиях она вся скомкалась и зашуршала, — не медля попытался оторвать подол, а там унести к себе, куда-то в сторону колодца, но с похвальной скромностью и быстротой она успела поймать юбку двумя руками и сжать вокруг колен.

Тогда ветер пошел буянить. Вырвал из губ и мигом превратил в бесноватое скачущее красное насекомое, унесшееся диковинными скачками во мглу, Мишину сигарету. Тетю Машу схватил под косынку за волосы и хорошенько отодрал. Даже на Володины редкие ниточки позарился и принялся алчно трепать, а уж при виде косм парня и вовсе ополоумел.

Впрочем, парень еще с ним спорил. Выйдя последним, он на зарницы глядеть не стал, а торопливо прокачался в сторону, согнулся пополам и крикнул ветру что-то настолько вздорное, должно быть, что тот мигом плюнул в темноту какой-то жидкой и вонючей дрянью. Парень и тут не уgomонился, пытался добавить, да больше не выходило; тогда он повернулся лицом к летящему воздуху, голову запрокинул, рот раскрыл, словно что-то орал беззвучно, и стоял так, а ветер приподнял его за лохмы и отмолотил по щекам.

Одного шофера ветер, видно, не трогал, если не считать тех брызг, конечно, что вырвались из-за угла дома, едва шофер зашел туда...

— Черепахи! — слышался тогда из темноты истошный Мишин голос. — Расползлись, благодарю их мать!

На крик проследовал по ветру шофер. Картина разорения была беспримерной. Лист фанеры, укрывавший террариум и препятствовавший побегу, был искорежен и отброшен прочь — и это невзирая на то, что Миша, прежде чем сесть за стол, водрузил сверху дополнительный заметного веса камень. Черепахи и впрямь не было ни одной, а только издевательски светились и там и сям белые фосфоресцирующие потеки и лужицы, единственный привет, на который у бедных созданий хватило фантазии.

— Да! — полезли оба в головы.

— Так ведь новых соберем? — предложил шофер.

— Этих жаль, — мрачно отвечал Миша.

— Да что ты, ей-богу! Хотя постой, уползти они далеко не могли, как думаешь?

— Могли.

— Не-е, давай посмотрим...

Шофер попятился, что-то металлически лязгнуло, он пошатнулся и, примерно матерясь, грохнул наземь. И вдруг заорал радостно:

— Бак! Ядрена вошь, это ж бак скovyрнуло! Вона!

И верно, всякий теперь мог удостовериться, что грома никакого не было, грозы и не намечалось, а только душевой бак, побежденный безжалостным ветром, поверженный, лежал с шофером рядом на земле.

— Упал все-таки, — приговаривал тот любовно, приобняв бак и похлопывая его по мятым бокам.— Я ж говорил!

Все столпились вокруг него. Вздыхали облегченно, подталкивая друг друга локтями.

— Я ж говорил, — все приговаривал шофер умиленно, — вон оно как.

— А Людка-то, Людка-то — так и поверила, а? — трясся от смеха Миша. — В примету поверила.

Кажется, даже Володя испытал облегчение, крутил головой и улыбался, распялив и без того широкое, от еды и водки обмякшее лицо.

А уж повариха была рада общей радости.

— Вот и хорошо, — повторяла, — вот и хорошо, что не на голову никому...

Зарницы меж тем полыхали.

И все вместе: беспокойствие неба, растревоженность пустыни, ветер, что наяривал с редкой силой, и красивое то обстоятельство, что ничего непредвиденного и загадочного не случилось, а просто-напросто рухнул душ и ни на кого не попал, и выпитое, конечно, — рождало в душах наших героев некий восторг, а в телах наших героев приятное возбуждение, какие при других обстоятельствах предшествовали бы решению станцевать или, на худой конец, спеть единым хором что-нибудь до слез родное, какие-нибудь такие слова, что поются всеми вместе теперь все реже и реже, но все же имеют еще силу выразить единство людей.

— Мишка, салют устроим! В честь именинницы, ага? — Устроим, Коля-Сережа, еще как устроим!

— Ракетницу тащи! Людка, слышь, в честь тебя по всем правилам сейчас салют развернем.

— Да что вы в самом деле, — будто смущалась Воскресенская, но и сама на ветру пьянела, волосы распустив по плечам.

— Давай ее сюда. Красную заряжай, потом синюю. Товарищ геолог, может, ты сигнал помнишь? Мол, так и так, поздравляем...

— Во, чумной, во, чумной! — прокричала тетя Маша.

— А ты, Федоровна, салюта и не видела никогда, а? А у нас в Москве, почитай, каждый день салюта!

— Ври, да не завирайся.

— Точно. Каждое воскресенье. Мишка, скажи!

— Точняк! То юбилей, то День милиции. Внимание!

Миша воздел руку с пистолетом к небу, упер локоть в ладонь другой.

— Осторожней! — успела крикнуть Воскресенская, когда вспыхнула с краю неба особенно яркая и длинная, как хвост воздушного змея, зарница.

Миша нажал курок, красная ракета, сыпя искры, шипя и разбрасывая по ветру горящие точки, ушла вверх, а все, не сговариваясь, завопили:

— Ура-а-а-а!

Оставив белый дымный хвост, ракета померла в вышине, кричать стало скучно, и шофер проорал:

— Синюю давай, синюю!

— А не может случиться, ч-что это воспримут к-как с-сигнал, — заикнувшись отчего-то раза в два больше, спросил Володя негромко.

— Я думаю... — хотела что-то резануть Воскресенская, но шофер был тут как тут:

— Не бэ, погрузимся. Кому здесь быть, твой сигнал ожидать? Черепахам разве что? Ох, опять ты переживаешь много. Не бери в голову...

— Внимание! — заорал Миша истошней прежнего. Снова он прицелился куда-то в небеса, ногу отставил, как горнист, и бабахнул. В ответ гулко ухнул сверженный бак, зарницы замигали, пропел на лету что-то заливчатское ветер, искры рассыпались широким шлейфом, ракета прочертила в небе большую синюю запяточку.

— Ур-ра-а-а! — проорали теперь три мужские глотки.

— Ур-ра-а-а! — отозвалось где-то на холме.

— Ур-ра-а! — прошептало эхо в другой стороне.

И, словно в ответ на этот троекратный клич, в темноте кто-то тягуче и мутно завыл.

— Что это? — спросила Воскресенская с опаской. Прислушалась, но вой смолк. — Или мне послышалось? Ведь было что-то? А, мальчишки?

— Да вроде, — неясно отозвался Миша, разочарованный временной оттяжкой очередного залпа.

— А может, и послышалось, — заметил шофер.

— Как же всем послышится-то, голова. — Голос тети Маши тоже волновался — в такт начальнице. — Я тоже слыхала. Ишак, кажись. А может, верблюд.

— А может, варан? — бойко осведомился шофер. — Может, это он так «ура» кричал? А, Федоровна?

Вой не повторялся.

Постояли секундочку молча, в ожидании, как вдруг Воскресенская подозрительно глянула во тьму, пригнувшись.

— Орехов, ты?

Парень не отвечал. Вгляделись и остальные: фигура парня действительно нарисовалась неподалеку, он стоял спиной ко всем молча и точно задумавшись.

— Эй, Вадик, это ты воешь-то? — спросил шофер.

И вновь ответа не было.

— Обиделся,— откомментировал Миша. — Ну и хрен с ним.

Тут спину парня передернуло, он скособочился, сгорбился, что-то клокочущее донеслось с его стороны — бульканье и хлипы.

— Не проблевался еще, — отметил шофер. — Мишка, заряжай. А ты два пальца в рот сунь, — посоветовал он парню, — полегчает.

— Ур-ра-а-а! — вновь раскатился по округе диковатый, не идущий к здешним молчаливым местам вопль. Ракета, на сей раз зеленая, мертвенным светом высветила стены кошары, кучку людей, оспинную пустую землю перед домом, зарницы откликнулись ленивее, зато вой не замедлил повториться — но только ближе, тягучей, громче, ясней и еще более противный, чем прежде. Что-то больное, надрывное слышалось в нем.

— Верблюд,— на этот раз уверенно сказала повариха. И добавила, будто другие не слышали или не знали, как этот звук назвать: — Воет!

— Может, заблудился? — предположил шофер.

— Как же он в пустыне заблудится-то? — возразила Воскресенская. — Больной, может?

— Или пить хочет? — вставил Володя без запинки, но уж вполне ни к селу, ни к городу.

— Сейчас мы ему поднесем.

Миша заржал. Но оборвался, потому что верблюд завыл снова — яро, неистово. Начиная с какой-то низкой и обиженной ноты, как бы с мычания, потом взывал и заканчивал высоким фальшивым голосом, словно кричал от боли или притворялся. Надрывный этот вопль в темноте раздирал душу.

— Что ж это, боже мой, — пролепетала Воскресенская. — Кажется, к нам идет?

И вдруг парень, все корежившийся в темноте, вымолвил глухо:

— Это голый.

— Кто?!

— Голый верблюд. Оставили его.

Парень говорил, все стоя к остальным спиной, а лицом к ветру, отчего выходило душно и неразборчиво. — Верблюды пили у колодца днем, а его оставили. Вот он и...

— И что ему надо? — подозрительно поинтересовалась Воскресенская.

— Тебя, что ль, ищет? — спросил Миша иронически.

— Голый, одетый — один черт! — вставил шофер.

— Да слушайте вы его! Напился — и молчи себе! — крикнула парню повариха.

Тот и вправду замолчал и вновь рыгнул.

Всем стало спокойней.

— Повоет и уйдет.

— Конечно. Это ракеты его испугали, вот что.

— Ну, не надо больше тогда.

— Конечно, в дом пойдем. Водочка-то выдохнется, да, Мишка?

— И овечку надо добить.

— За стол, за стол, мальчики. И Орехова прихватите, спать ему пора...

Но тут такой истошный вой раздался поблизости, что разом замолчали в оцепенении. Кровь стыла в жилах, так этот животный крик был страшен, впечатление было, что рядом открыли живодерню.

— Где он?

— Рядом где-то.

— Фонарик есть? Засвети!

— Там, там, не туда светишь. В той стороне, кажись.

— Боже, только б он замолчал! Но вой не прекращался теперь.

Долгий, мутный, такой, что с души воротило и тоже хотелось завывать.

Фонарик прыгал у Миши в руках, светил близко, шагов за десять, зарницы приутихли, как на грех, ничего нельзя было разглядеть во мгле.

— Голый это, — повторил парень шепотом. — Заболел, наверное.

— Да замолчи ты!..

Наконец что-то темное зашевелилось в стороне от дома, где-то за туалетной кабинкой. Ветер посвистывал, поигрывал своей добычей, неся вниз по холму, но не мог уже заглушить будто какой-то топот, посапыванье. Темное надвинулось, невольно все сделали шаг назад, где-то далеко на востоке выбросилось из-за горизонта наискось белое пламя, и все увидели упирающуюся, громадную впотьмах фигуру верблюда и человека под

ним, тащившего его за короткую веревку, продетую в кольцо у животного в носу.

— Эй, что тебе? Что тебе надо? — закричал Миша, ошалело водя фонариком. — Кто ты?

Ответа не последовало. Но в следующей вспышке можно было различить: положение фигур изменилось. Верблюд теперь стоял на коленях, мерной тушей маяча перед ним, а человек хватал что-то с земли и будто засовывал верблюду в пасть. Зарница потухла, верблюд завыл, сперва муторно, тяжело, а потом вдруг закричал — именно закричал — как ошпаренный. Закричал и Миша. Зрелище было настолько отвратительно, крик верблюда так безумен, что Мишин голос сорвался, звучал истерически и надрывно.

— Что происходит? — орал он. — Я вас спрашиваю? Эй, ты, что такое?

Но и на этот раз человек не ответил. Он уперся в землю ногами, ухватился за веревку двумя руками и поволок верблюда еще ближе к дому.

— Стой! — орал Миша. — Стой, стрелять буду! — Хоть и не из чего было стрелять. — Коля-Сережа, ружье давай!

— Спокойней, Мишка. Сперва узнать надо: чего ему?

— Миша, Миша! — только твердила Воскресенская, потеряв способность что-либо понимать.

— Убивает он его! — тонко и заполошно, по-бабьи закричала повариха.

И была права.

Кривоногий и низкорослый казах — а подошел он уже так близко, что в пляшущем электрическом свете

различно было бледное и круглое пятно его лица, — потянул верблюда снова вниз, тот коротко взревел, подбросил голову и ухнул на колени. Быстро нагнувшись, казах захватил в горсть камней и песка и с размаху залепил верблюду в нос. Он сделал и еще какое-то вращательное движение кистью, будто всовывал камни верблюду в ноздри поглубже, и тот снова закричал — и так мутно, так жалко и болезненно, что Воскресенская отвернулась, и ее замутило.

Теперь уже все это: прыгающие нелепо по небу зарницы, подывание ветра, потрескивание пустыни и алкоголь, не успевший выветриться, бессмысленное появление из мглы незнакомого человека, мучения верблюда и его безумный вой — все вместе отдавало сумасшествием. Казалось, произойдет сейчас что-то непоправимое, до конца ужасное. Каждому, должно быть, хотелось самому заорать, начать плакать или кусаться.

В руках Миши возникло ружье. Это была охотничья двустволка, заряженная мелкой дробью, — на зайцев, но в бликах, в дикой игре зарниц, вскинутая, упертая прикладом в плечо, она чернела зловеще. Не на шутку запахло убийством.

— Убью! — заорал Миша дико.

Всхлипывая, плача уже, Воскресенская повисла у него на руках, он сбрасывал ее, обезумев, и, верно, нажал бы на курки, если бы не Володя, сильно ударивший по стволу ребром ладони.

Казах обернулся. Лицо его было чумазо, перепачкано грязью и, видно, слезами, тоже вполне безумно. Он сделал несколько неверных, вихляющих шагов, выпустил из рук повод — верблюд шарахнулся в темноту,

— пьяно оступился, упал на колени и рванул рубаху на груди.

— Стреляй! — гадко закричал он пронзительным высоким голосом.— Вот он я!

Слезы текли по его лицу, черная челка была дико взлохмачена, а голая грудь нестерпимо ярко и обнаженно забелела в темноте, словно это была не кожа, а раскрытая кость. И нельзя было поверить, что этот щедушный, пьяный, тупой и плачущий человечиска мог заставить мучиться и страдать сильное животное, способное раздавить его, пожалуй, едва шевельнув ногой.

— Стреляй!— терзался и плакал казах, пригибая голову, словно подставляя не грудь под пулю, а шею под топор. — Стреляй!

Он сипел, выл, елозил коленями по земле и полз к ним. Не выдержав, Воскресенская, когда он был вовсе рядом, пнула его ногой. С готовностью и страстью опрокинулся тот на спину и стал кататься по земле, крича что-то несуразное и хватая песок раскоряченными пальцами. Фигура его взывала к тому, чтобы броситься к нему, начать пинать, бить, топтать ногами.

Миша рвался из рук Володи и Воскресенской, шофер встал между ним и казахом, Миша тоже бился и кричал, а парень, оказавшийся тут же, вдруг встал на четвереньки и стал обползать место действия, подслеповато вглядываясь в казаха на земле.

Повариха сладостно и навзрыд причитала:

— Ой, мамочки, ой, убивают, ой-ей-ей!

И было уже нельзя понять — кого она имеет в виду.

Внезапно казах замолчал. Прислушавшись, оборвалась и тетя Маша, лишь всхлипывая. Воскресенскую била нервная дрожь, она стучала зубами, Миша утих и повис на руках у Володи, разом наступила не менее бессмысленная, чем прежний вой и стон, не менее убийственная тишина.

Что-то еще отчубучили зарницы над горизонтом, но вяло, тускло, словно чехарда им наскучила и они решили сыграть в прятки. Ветер же был неуютим.

— Ч-что в-вам надо? — спросил Володя как мог грозно, делая к казаху шаг.

Тот еще вздрагивал, но уже не рыдал. Он медленно поднял голову, еще прикрывая лицо руками, словно боялся удара, но можно было заметить, как между растопыренными пальцами светятся два глаза, светятся без всякого страха и чуть ли не насмешливо.

— Ч-что за спектакль?

— Дай ему, дай, — с дрожью, но едва слышно, измощенно пролепетал Миша.

Казах сел на земле, не отнимая рук от лица.

— Т-ты откуда?

— Из Актюбинска, — отвечал казах, неожиданно внятно, почти без акцента и довольно спокойно, промелькнула в его голосе какая-то кокетливая нотка.

— Д-дурака не в-валяй! Откуда пришел?

— От дяди.

Из-за грязных, маленьких по-обезьяньи ручек казах глазел на них, весь подобрившись, насторожившись, словно маленькое, пугливое, но не безобидное животное.

— К-какого еще дяди?

— Дяди Телегена. Вон его юрта, рядом.

Какой-то клокочущий звук вышел у Миши из горла, шофер потянул его за локоть в сторону дома, другой рукой прихватил Воскресенскую.

— Да что вы с ним нянькаетесь? Шпана ты, шпана! — врезалась в переговоры повариха. — Вот тебя бы так: продеть кольцо в нос и оттащить, чтобы знал!

— Сколько тебе лет? — Володя поморщился.

— Двадцать два.

— Как зовут?

— Чино.

— Т-тоже мне к-ковбой. Как по-человечески?

— Чингиз. Но все Чино зовут.

— З-зачем верблюда привел? З-зачем его мучаешь?

Этот вопрос погрузил Чино снова словно в задумчивость.

Если б не смысл, то та быстрота, с которой казах снова замкнулся и сжался, могла бы навести на мысль, что он не хочет выдавать какую-то свою глубокую тайну

— Иди отсюда, — с отвращением бросил Володя.

— Куда? — удивленно вскинулся казах.

— Откуда пришел.

— Можно?

— Иди.

Казах, не вставая с колен, попятился в темноту.

— И чтоб мы не видели тебя, п-понятно?

Лишь шагах в десяти Чино встал на ноги, заскользил боком и спрятался во мгле.

— Это вы все, вы, Салтыков! — зашипела вдруг над ухом Володи Воскресенская, да так зло, что тот опе-

шил.— Вы говорили: я в Сибири, я на Алтае... Мол, кабанов стреляли, лосей били, овечек умыкали. Вы за все ответите! — вдруг взвизгнула она. И тут же, понизив голос: — Думаете на меня все свалить? Нетушки, не выйдет! Вот сами теперь и...

— В ч-чем д-дело-то?

— Не понимаете? Я объясню. Видите, видите, они каждый вечер к нам ходят шпионить? Спроста? Так вот: оказывается, им все известно. Знают они, что мы овцу украли, Мишка говорит, послушайте. А ты скажи, скажи, — толкнула она локтем и Мишу.

— Что говорить. Этот, — ткнул он в парня, который успел подняться с земли и стоял рядом с Володей,— знает. Они и водовозу уже нажаловались, что мы овцу... взяли. Собака выследила. Теперь все, кранты. Коля-Сережа, все надо сжечь, сейчас же.

— Может, доедим?

— Сжечь, сжечь! — плотоядно, утробною выкрикнула Воскресенская. — А вы,— повернулась она к Володе, — отправляйтесь за ним, коль вы интеллигентный человек. Уговорите, деньги предложите. И сейчас же... Я прошу вас, — добавила она, но тут же зашлась снова: — А меня вы не поймаете. Пожалуйста... доложите Галкину... я тоже рапорт... — И она заплакала.

Глава 10 (вместо приложения к ЧАСТИ I)

Вот то небольшое, что удалось мне поднять с земли после того, как все было кончено.

Листок писчей бумаги, исписан с двух сторон. Почерк крупный, круглый, аккуратный. Строки расположены ровно, можно предположить, что во время писания под письмо подкладывали трафарет.

Текст:

«Мама, милая!

Как себя чувствуешь? Какая у вас погода? Я слушала радио, сказали, что похолодает, и обещали дожди. Болят ли ноги? А голова? Не читай слишком подолгу. Что отец? Очень ты с ним устаешь? По возможности советую тебе не давать ему слишком рассыпаться днем. Пусть лучше смотрит телевизор, иначе обязательно будет будить тебя среди ночи. Когда я с ним оставалась, я старалась ему больше переводить, а то он плохо понимает, о чем идет речь, и следить за действием почти не может. Даже когда смотрел футбол, все забывал, кто с кем и счет, все приставал ко мне, я чуть с ума не сошла, так скандалил.

Приходит ли Тата тебя подменять? Жалей себя, не стесняйся ей звонить и просить. Нет ничего странного, что дочь должна приходить посидеть с отцом и тебя высвободить, а свекровь должна понять ситуацию, пусть пару раз в неделю посидит с Вовочкой, не переломится. Ты же еще молодая у меня, тебе и туда и сюда сходить нужно, и если не позволяешь отдать отца в больницу, так пусть Тата помогает тебе, хотя бы пока меня нет.

Получила твое письмо. Ты все беспокоишься — как я здесь, повторяю тебе — не волнуйся. Не первый год, все здесь по-прежнему, все неплохо. С этим новым моим «сотрудником» хлопот пока нет, не так страшен волк. Так что жалею даже, что ситуацию расписала тебе

в таких черных красках. Питаемся, как всегда, неплохо, но все, что прихватили из Москвы, — все в дело пошло.

Часто думаю, как хорошо нам с тобой будет в октябре на Пицунде. Ты написала хозяйке, что мы собираемся? У меня в числах по-прежнему ясности нет, но думаю, что все пойдет по плану: мы из графика не выбиваемся и закончим, я надеюсь, как и рассчитывали. Я вспоминаю нашу комнатку, как мы утром с тобой ходили на море, тот маленький базарчик на Лидзаве, фруктов ужасно хочется.

Ты снова пишешь мне об Игоре. Конечно, он интеллигентный, вежливый человек, я согласна, но больше о нем ничего сказать не могу. Конечно, приятно, что он навещает тебя, справляется, но мне не очень нравится его настойчивость, партизанщина какая-то. И кроме того, мы сто раз уговаривались, что сватать ты меня не будешь, а ты опять за свое... Пиши, пиши мне, получать письма здесь единственная радость, скучаю по дому страшно. Неделю назад получила сразу два твоих письма, написанных с разницей дней в пять, и так рада была. Пиши. Целую тебя. Твоя Люша».

... Листок из ученической тетради в клеточку, скомканный, с одной стороны исписанный до конца, с другой — до середины. Первая строчка первой стороны — каллиграфически выведенное тригонометрическое тождество, дальше — начало доказательства. Тождество преобразовано три раза, следующие же строчки повторяют последнюю запись механически, причем почерк постепенно становится менее четким. На другой стороне записи оборваны на недописанной формуле. Знак равенства покосился и повис без поддержки.

Письмо на пяти листах писчей бумаги, сложенных вдвое по формату книги. Почерк сбивчивый, поля не соблюдены. Написание букв «т» и «д» варьируется. Очень длинные палочки в буквах «р», «ф» и вторая в «н». Судя по тому, что нет ни даты, ни подписи и очень много помарок, это — незаконченный черновик:

«Извини, что все-таки пишу тебе, несмотря на наш уговор друг друга не беспокоить. Ты вряд ли можешь обвинять меня в том, что я не выполняю наших соглашений, и это письмо единственный пункт, пожалуй, в котором я допускаю своеволие. (Далее следует зачеркнутое начало фразы: «Конечно, ты и в этом усмотришь...») Как Машка? Я не поверил тебе, когда ты уверяла, что она нисколько ни по кому из нас не скучает: ни по матери, ни по мне. Не верю и сейчас. Пятилетний ребенок, если он здоров, не должен грустить, однако это еще ничего не означает. От матери я недавно получил подробное письмо. Откровенно говоря, это и заставило меня писать тебе. Мать жалуется, будто Машка ей заявила, что у нее никогда не было папы, а всегда только мама. Неужели это ты учишь ее этому? Ведь это — чудовищно жестоко. Она уже не малышка, ничего не чувствующая и не понимающая. Она знает, может быть, больше, чем мы подозреваем. (Далее зачеркнуто: «... так не отравляй же ей душу».) Прошу тебя, не отучай ее от меня, не делай так, чтобы, когда она вырастет, когда ей вдвойне понадобится моя помощь, она стеснялась прийти к своему отцу с просьбой о поддержке. Другого отца ты ей не найдешь. И — будем говорить правду — если ты собираешься замуж, то отчим не заменит отца ни при каких условиях. (Зачеркнуто: «Неужели ты на-

столько эгоистична, что не можешь этого понять!») Прости меня за резкий тон, но то, что пишет мать, выбило меня из колеи. Ты сама знаешь, я всегда стремился уважать твою свободу, всегда считал и считаю, что брак не должен насилловать. Никто по принуждению не может любить (зачеркнуто: «и оставаться верным другому»). Но это вовсе не значит, что любые твои поступки, любое поведение для меня приемлемы. Впрочем, все это переговорено тысячу раз, и пишу я не затем, чтобы все это повторять или оправдываться. Так вот, может быть, мать сгущает краски, но даже если десятая доля того, что она пишет, правда, то позволь тебя спросить: разве достойно подобное поведение (зачеркнуто: «интеллигентной») женщины? Да что говорить. Выполни, пожалуйста, несколько моих просьб. Во-первых, не груби матери. Она тяжело переживает каждый раз то, как ты с ней стала груба. А ведь она столько делала всегда и для нас, и для тебя. Если она звонит тебе, то не для того, чтобы тебя обидеть, предлагает свои услуги не потому, что хочет уколоть. Она очень скучает по Машке, и ты не должна лишать Машку участия близких людей, которые ее так любят, как бы ни испортились у тебя лично с этими людьми отношения. Мать Машку нянчила, когда могла, как же можно их разлучать! Я не могу заставлять тебя относиться к матери лучше, но прошу быть хотя бы сдержаннее, ты видела от нее всегда только хорошее. Разумеется, ты можешь привозить Машку на дачу в любое время, но не будешь же ты требовать, чтобы мать для этого освобождала собственную дачу и уезжала? Ты знаешь прекрасно, что ни я, ни Наташа с мужем не считаем дачу своей. Дача мамина, она там хозяйка. Они с

отцом строили ее своими руками, все воспоминания об отце связаны для нее с этим домом. Пойми, Машку никто без свежего воздуха не оставит, но и твои требования непомерны. Я знаю, с матерью тоже не всегда легко, подчас она бывает резка, даже деспотична, особенно после смерти отца. Все это я знаю по себе. Но знаю и другое: никогда никому она не сделала зла, а добра сделала сколько! Скорее всего, тебе все это не очень интересно, но будь же справедлива! Второе. Готов принести тебе всевозможные извинения, что не успел до отъезда забрать свои оставшиеся вещи, как мы договорились. Но не заставишь же ты старую женщину (зачеркнуто: «переть») везти через всю Москву мои вещи, мой чемодан, мои книги? Подожди до моего возвращения, я все увезу сам. Неужели мои вещи так мешают тебе? Что касается денег, то я понимаю, что ты отказалась от них не подумав. Я вышлю тебе, как только из Москвы мне переведут зарплату, и буду посылать ежемесячно. И последнее. Ты кричала матери по телефону, что я якобы ушел из нашей экспедиции, потому что на моем теперешнем месте у меня любовница и якобы с ней я сейчас уехал. Это неслыханная ерунда. Мать была горько удивлена. Она пишет, что (далее идут шесть или семь слов, зачеркнутых так густо, что не разобрать)... Не вали с больной головы на здоровую. Прости, если я написал что-то, что могло задеть тебя, но твое поведение мне кажется (зачеркнуто: «странным») непоследовательным. Напиши мне прямо и точно о своих требованиях, и я постараюсь их выполнить. Все бумаги я подпишу, все формальности выполню. Только не разлучай нас с Машкой, прошу тебя».

...Тетрадь ученическая в клетку. На обложке крупно синим шариком: ДНЕВНИК. В скобках приписано карандашом: «экспедиционный». На первой странице:

«23 мая. Черепахи давно выкопались из земли. Видал и однолетку. У нее мягкий панцирь, как пластилин. Ферула вонючая, или, как называют ее, просто вонючка, засохла. Толстые стебли торчат из земли, а листья отрываются и опадают.

26 мая. Удивительно, но здесь много грибов. Это шампиньоны. Они очень сухие, обезвоженные. Жарить их приходится часа два или три, но вкусные. Они сверкают шляпками, и их видно издалека».

На этом фенологические записи обрываются. Для продолжения, однако, оставлено несколько чистых страниц. Далее — записи без дат:

«Су — вода по-казахски».

«Шофер называет тетю Машу расползуха».

«Беш-Булак. Узнать у водовоза, когда были ключи»

Из тетради вырваны несколько страниц сзади. На трех последних, на каждой сверху, по надписи:

«Дорогие мама и папа!»

«Здравствуйте, мама и папа!»

«Дорогие мама и папа! Погода здесь...»

...Письмо на одной странице. Почерк корявый, много ошибок, пунктуация отсутствует. Привожу его в отредактированном виде — для легкости прочтения, но сохраняя некоторые специфические стилистические обороты:

«Лида, здравствуй. Пишу тебе письмо из пустыни и посылаю переводом единовременно пятьдесят рублей на май, как договорились, тебе хватит. Туфли не поку-

пай, а если трусы Сашке нужны, то купи. Следи, чтоб кружок не пропуская, чтоб по улице не бегал, а в кружке. Володьку заставляй арифметикой заниматься, как учительница задала на лето, и проверяй. Если чего не разбираешь, то смотри, чтоб все было написано, или сходи к Степану, если он не пьет. И еще по числам проверяй. Положим, сегодня двадцать пятое, так чтоб у него в тетрадке над заданием двадцать пятое было написано. По русскому следи тоже, но пусть и в футбол побегаёт, а если будет баловать, скажи, папке напишу. Позвони на автобазу в местком, телефон записан на бумаге под зеркалом. Я заказывал две путевки, но если Сашку возьмут от Дома пионеров в ихний лагерь, то проси одну, но чтоб Володька обязательно уехал, и бери на все три смены. Если на все смены давать не будут, то скажи, что если ты одну уступаешь, то вторую надолго должны дать. Я возвращусь в конце лета, наверное. Ты так подгадай, чтоб отпуск у тебя был в это самое время и чтоб мы к твоей матери уехали. Если путевки на август не дадут, то возьмем пацанов с собой. Я бы и думал их на все лето, но только мать твоя готовить на всех уже не может, да и не из чего. И потом, они сами в лагерь хотят, и хорошо, пусть поживут с другими пацанами, там и режим, и без баловства. Если Люська будет звонить из Серпухова, спроси, когда она собирается к матери. Пиши, что и как, а то здесь сидишь и ничего не знаешь. Писать заканчиваю, всегда твой муж Коля».

...Блокнот длинный, в твердой обложке, с линованными страницами, тесно исписан. Первые десяток страниц занимают хозяйственные записи, перечисления необходимых продуктов под рубрикой «Расходы на пита-

ние».. Затем следует список членов отряда с цифрами против каждой фамилии Судя по всему, цифры означают траты денежных сумм, судя по мизерности их — это текущие расходы. Несколько пустых страничек отделяют от предыдущих записей список московских телефонов, по всей вероятности — служебных: против каждого номера — фамилии, имена и отчества. В одном месте приписано: «секр. Оля».

Для того чтобы прочесть остальные записи, блокнот надо перевернуть. На первой странице запись такого рода, другим почерком:

Людочке Воскресенской

Солончаковая степь,

Скажи «до свидания».

Ну и — ни оскорбления, ни расставания.

По телефону дикое оскорбление

Я оборвал, и... солнце мое не звонит.

В степи гласило,

Гласило предание:

«Не говори на середине ей — до свидания,
не говори — до свидания!»

Подпись под этим стихотворением неразборчива, можно прочесть лишь: «Ив. Овч...»

Затем следуют крайне сумбурные записи, перечеркнутые, наезжающие одна на другую и перемежающиеся небрежно записанными телефонами. Я приведу их без комментариев, так, как они выглядят:

«Гаишник — Тротуар».

«Только глухая, а так такая же».

«Время идет, а мы не танцуем».

«Арм. р. — длинное, зеленое, пах. колб.?»

«Вставай, мой принц, вставай, мой Фердинанд, пора ехать в Сараево».

«Картина Репина — приплыли!»

«Деньги счастья не приносят, но успокаивают нервы».

...Далее исписанная страничка из тетради в клеточку Ошибок меньше, чем в предыдущем письме, по необходимости они исправлены мною. Почерк какой-то слабосильный, куриный. Так что при перепечатке пришлось идти на некоторые рискованные реставрации смысла. Не надо удивляться поэтому, коли письмо кажется теперь неровным, написанным будто не одним человеком:

«Привет, корешок!

Как ты там живешь-дышишь? Жениться не надумал, как я уехал? Смотри, не очень-то... Ты пишешь, но я не понял, кто тебя звал с родителями знакомиться? Что ли, та, с телефонной станции? Лучше не ходи. Я все эти дела во как знаю, с этого как начнется, потом пойдет-поедет, не успеешь оглянуться, как захомутают. Еще и рожать будет грозить, это точняк, так что ты не очень-то, у нее лучше при свидетелях на ночь не оставайся.

Здесь как? Песок и жара, как в парилочке в наших Донских, а ночью бывает и холодина. Верблюды ходят, птички летают. Ты думаешь, что это красиво, когда верблюды вокруг, но только сейчас у них линька, так что они голые почти, клоки с них висят и воняют страшно, не поверишь. Подойти нельзя. Я хотел верхом сняться, но не нашел подходящего, чтоб ручной был. То есть они, конечно, домашние, но подходить к ним все равно опасно, не то что фотографироваться. Почти у всех в но-

су кольцо, но толку чуть, без хозяина все равно не даются. Черепах здесь хоть ж... ешь, как и прошлый год. Теперь я тебе такую пепельницу отгрохаю! Хочу и живых привезти, но в дороге они подохнут, думаю. Может, и бате твоему пепельница нужна, спроси у него. Со жратвой здесь пока хорошо, мясо само по пустыне ходит, шашлык на четырех ногах сам на сковородку просится. Ты тогда меня спрашивал, как здесь без баб, а я тебе про свою начальницу рассказывал, мол, одна баба у нас. Ну так, порядок, потом расскажу, в общем, все клево, только старовата уже, как Виталик говорит — долгожительница. Как Шурик? Передай ему привет, мол, Тишок из пустыни привет передает. Если поедешь опять в Икшу, то Таньке от меня ничего не говори. Она и тогда, на Восьмое, сама лезла, и потом все звонит, а ты знаешь, я таких, которые сами лезут, всегда не обожаю. Сеструху мою встретишь, скажи, я ей коллекцию собираю. И потом, у меня для нее такой сюрприз, закачаешься. Только это ей пока не надо, а сама чтоб увидела. Твой «Спартак» конюшня и позорники, я всегда говорил, проиграли вчера с позорным счетом — и кому? Смотри, вылетят они, так с тебя бутылка. Все, завязываю писать, зовут. Твой Тишков М».

...Наконец: на плотной бумаге в пол-листа обычной писчей, синим карандашом, печатными буквами, если можно, конечно, назвать так детские каракули, записка. Буквы «С» и «Ч» написаны зеркально, некоторые слова разделены точками — круглыми, полными синими капельками. Вот что в ней написано:

ВЫЗЫВАЮ ВАС НА ДУЕЛЬ ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ. СЕБЕ.
ПОРЯДОЧНУЮ ШПАГУ И НЕ УДИРАЙТЕ КАК. В ПРОШЛЫЙ
РАЗ

Глава 11. В ГОСТЯХ

Гёте заметил как-то:

— Сумрак и ночь, когда все образы стерты и сливаются воедино, пробуждают чувство возвышенного.

Прислушайтесь и убедитесь, что это истинно так. Для пущей возвышенности, впрочем, могу еще присыпать глубокий черный бархат небес кой-где горсточками созвездий, припорошить пылью далеких туманностей и галактик. В зените же размещу ночное светило. Однако до поры придется занавесить его облаком — большим, косматым, традиционно напоминающим косматую голову. В свое время лунный свет высветлит путь нам и нашим героям, пока же бледное и сонное сияние тихо и печально струится из подслеповатых глазниц.

Теперь не худо бы разобраться и со звуковой орнаментовкой. Позванивает и посвистывает, как вы помните, ветер, неумолчностью и упорством своим напоминая стрекот здешних голосистых цикад. Сами цикады, впрочем, молчат сегодня. И верблюду, взыв напоследок несколько страниц назад, сбежал глубоко в черноту, о нем пока ничего не слышно. Шаги наши по сухой земле беззвучны, шаги наших героев — очень тихи. Лишь изредка доносится посапыванье и хлюпанье носа

Чино, идущего в трех метрах впереди, но в общем все пока довольно тихо.

После неторопливого подъема на недалний холм начался, как водится, пологий спуск. Едва переступили гребень, жилье их с единственным помаргивающим окошком осталось позади, облако, которое повесил я прямо над головой, сползло чуть на сторону. Высветилась его разинутая беззубая пасть, пролился сквозь нее лунный сноп, черная земля впереди узкой косой полосой засеребрилась. Впереди стал различим на темном черной силуэт следующего холма с черной же растрепанной бахромой саксаулов на холке.

— Д-давно здесь? — спросил наконец Володя, чтобы так долго и так подозрительно не молчать.

— Не,— донеслось спереди.

Чино шел не оборачиваясь. Ветер резко задувал сбоку, и это «не» было им немедленно подхвачено и проглочено, причем ветер невнятно екнул. Тогда Чино нехотя добавил громче:

— Я шофером... в городе... прав лишили... Вот мать и послала... к дядьке... на лето... в деревню...

Так, по лоскутку, информация эта и дошла до Володиного слуха, он ухмыльнулся про себя, невольно скосив на «деревню» взгляд, но промолчал.

Ветер делался все колючей и пыльней. Шли хоть и медленно, но парень, за Володей увязавшийся, что получилось как-то само собой, все одно то и дело отставал. Оказавшись позади, спохватившись, он припускал и забегал вперед, но через секунду, не в силах измерить шаг, снова позади плелся и снова предпринимал неуклюжую попытку с Володей выровняться.

— Скучно здесь, — внезапно сообщил Чино, когда прошли еще метров пятнадцать. И пояснил: — Пустыня здесь.

Володя хотел было ответить назидательное, мол, скука — еще не повод верблюдов колошматить и людям посторонним жизнь отравлять, но сперва заспотыкался, потом, заикнувшись, как ему показалось, в последний раз, открыл рот, набрал воздуха, но в глотке тут же оказалось столько пыли, что наставлять стало невозможно. Володя закашлялся. Чино, однако, словно понял, что тот хотел сказать. Он подтер рукой под носом, словно смутившись, приостановился, проорал в темноту что-то гортанное и совершенно нечленораздельное. Никто не откликнулся. Чино постоял, подождал, прислушался, снова утерся и заметил сам себе:

— Да куда денется!

Он расправил рубаху на плечах, растянул ворот в стороны, почти сбросил его на предплечья, передернулся, дрыгнул всей спиной и дальше пошел, заметно фасоня перед спутниками, руки держа полусогнутыми, виляя бедрами и припадая то на одну, то на другую ногу.

— Б-близко уже? — спросил Володя.

Но Чино то ли не слышал, то ли не стал отвечать. Делался он все спокойней и удовлетворенней по мере продвижения. Зачем Володя с парнем за ним увязались, он, казалось, не интересовался. Ничего не спросил, когда потребовали у него проводить к дядюшке, сперва смотрел как-то неуверенно, потом, будто смекнул, что идут геологи не на него жаловаться, а по своему делу, приободрился, какая-то лукавая усмешечка то и дело

бродила по его лицу. А теперь вот шел впереди походкой и вовсе независимой.

Когда перевалили и через второй холм, Володя снова не выдержал:

— Ты ж сказал, что н-недалеко, а?

Он остановился, огляделся по сторонам, чтоб на обратном пути не сбиться, остановился и Чино. Теперь позади слышалось негромкое вкрадчивое топанье. Через мгновение стало видно, что это верблюд на безопасном расстоянии тоже следовал домой, молча и мирно. Похоже было на примирение протрезвевших приятелей после пьяной драки.

— Идет, — заметил верблюда и парень.

— Куда денется, — повторил Чино, но беззлобно. И добавил: — Пришли уже, ты чего...

Тут же сделались явными и первые признаки жилья: потянуло дымком, пахнуло кожей и хлевом. А вскоре нарисовался в темноте и многоугольный, плоский на густом небе, со срезанной верхушкой силуэт.

Вокруг юрты валялись ящики, доски, жерди, несколько пустых ведер, о которые гости не преминули споткнуться. Ведро, словно того и ждали, живо и звонко откликнулись.

Послышался хриплый лай и звон цепочки, но собаки видно не было. Лишь блестящий стальной карабин пропрыгал по натянутому тросу.

— П-па-шла-а! — закричал Чино, и карабин нехотя, побренькивая, толчками уехал назад и скрылся.

Чертик из табакерки — выпрыгнул из темноты черно-белый козленок. Мотнулся на привязи, тоненько что-то промяукал: то ли поприветствовал, то ли пожаловал-

ся, в стороне сонными голосами проскрипели с досады несколько овец, старчески вздохнул верблюд позади, точно хотел сказать: фу-ты, батюшки, — и козленок тут же убрался с глаз и процокал, уже невидимый, мягкими копытцами.

Луна еще чуть придвинулась.

Клочковатый свет выловил из тьмы бородатую голову с прямыми острыми рожками. Голова выглянула из белого волосатого воротника, пристально посмотрела на чужих шарообразными стоячими глазами и сказала что-то по-козлиному.

Свет потух. Негромко проржала в темноте лошадь, полог откинулся на сторону, открылась черная, черней, чем ночь вокруг, дыра. Сипловатый голос Чино произнес:

— Заходите, Гостями будете.

Едва протиснулись Володя и парень в нору под кошмой, ударил в нос спертый и кислый запах и прямо на них уставились три-четыре воспаленных, подернутых старческой пепельной слезой глаза, висящих посреди и помаргивающих. Что-то шлепнуло, прошуршало, полог лег на место, отделив их ото всего проветренного и ароматного мира. Со скрипом и урчанием кто-то будто набрал в легкие так много воздуха, что дышать стало совсем тяжело, с посвистом и утробным скрипом выдул обратно, красные глаза мигом разгорелись, улеглись на землю, а пепельный рой с испугу взметнулся вверх. Улегся и он, угольки оказались способными к довольно бойкому горению. Прокашлявшись и прочихавшись, можно стало различить внутри юрты и кой-какие подробности.

Прежде всего привлекало взгляд расположившееся над головой круглое и синее волоковое отверстие. В юрте было тесно, душно, хотелось чесаться, и дырочка в потолке казалась единственной отдушиной. Так и подмывало обмануть себя, разглядеть в ней высокое свежее небо, звезды на нем.

— Держи ты! — сказал голос Чино. — Держи ты! Автоматически протянув руки, гости получили каждый по пиале, не успев еще разобрать, что к чему. Они обнаружили себя в довольно неудобной позе — сидящими на чем-то мягком, но низком. В глубине юрты шевелилась какая-то ватная груда. Слышалось посапыванье, поперхиванье, потом в круг света протянулась голая и волосатая мужская рука. Чино и в нее вставил пиалу, присел возле очага на корточки и,

изни слова не говоря, закинул голову, вылил нечто из своей пиалы в глотку.

В глотке булькнуло. Задыхаясь, Чино поставил пиалу на землю, выхватил из-под себя другую, побольше, и запил перешедшее к нему в желудок содержимое первой.

— За знакомство, так, что ли? — произнес он, отдышавшись, и утерся голый, по локоть грязной рукой.

Рука, принадлежавшая ватной груде, убралась в темноту, за место нее медленно выползла из-под одеял бритая круглая темная голова. Черные глаза, в которых краснели и светились огоньки, делали ее одушевленной. Голова свесилась чуть не на землю, из темноты в ее открытый рот заструился поблескивающий ручеек. Не было слышно ни глотков, ни вздохов, ручеек иссяк, запахло, в довершение к запахам нестираных одеял и

мужского пота, сивухой. Глаза закрывались, голова стала совсем мертвой.

— Вы пейте, — посоветовал Чино, — а он сейчас... Он как примет, так быстро отходит.

Парень поднес пиалу к носу, понюхал, внутри у него дернулось, содрогнулось, он быстрым движением, едва не уронив, поставил пиалу на землю, но водка успела выплеснуться и даже в потемках образовать черную лужицу.

— Ой, так нельзя!— вскрикнул Чино. — Так нельзя, вы гости, как же можно не выпить?

— Он н-не пьет у нас,— заступился за Вадима Володя. — Он совсем не пьет.

— Совсем? — переспросил Чино невинно. Он сидел на земле, съезжившись, на карачках, снова напоминал маленькую обезьянку, от которой не знаешь чего ждать.— Неправду говоришь, да?

— И п-потом, мы не в гости п-пришли.

— Как так?

— Мы п-по делу. У нас дело к нему.

И Володя кивнул на голову Телегена, свесившуюся еще ниже, отделившуюся от груды одеял и лежавшую теперь на земле сама по себе.

— Сначала выпить. Вы гости. Потом дело. Так у нас говорят. А это на, запей. Верблюжье молоко, очень полезно.

Он протянул Володе ту пиалу, которую сам использовал для запивания. Володя поколебался, поглядел в одну сторону, в другую, повертел головой, но Чино следил за ним зорко из-за свесившейся на черные блестящие глаза черной прямой челки. Володя выдохнул, вы-

пил, помахал рукой, мол, не надо верблюжьего молока, и принялся отплевываться.

— Не вкусно? — поинтересовался Чино.

— Шерсть, — пробормотал Володя. — В-водка с шерстью.

— От кошмы это. Летит.

Чино отвернулся и быстро заговорил по-казахски. В ответ куча видоизменилась. Обозначился конец туловища, выпростаны были из-под одеял босые смуглые ноги, голова приподнялась и очень трезво посмотрела на сидящих рядом Володю и парня.

— Здравствуйте, — выговорил Телеген отчетливо и сделал Чино какой-то знак.

Тот кивнул, полез вбок, послышалось звяканье перебираемой посуды, наконец, он вынырнул на свет с новой бутылкой водки, быстро откупорил и налил Телегену граммов пятьдесят, не больше.

Без прежних фокусов хозяин привстал, запрокинул голову и выпил, как все люди, самым каноническим способом. По звукам да по блеску глаз можно было судить, что на этот раз порция принесла ему искомое удовлетворение. Лицо его, как и давешним вечером, сохраняло сосредоточенное выражение, но оживился он заметно. Подгрёб себе под голову нечто, уложил голову так, что теперь и ему было видно всех, и всем его. Босые ноги раскинул и вытянул поверх одеяла, поелозил задом, окончательно устраиваясь, потом громко что-то варварское рявкнул в темноту.

Мигом все в юрте преобразилось. До сих пор было тихо, тесно, душно, но теперь вдруг юрта словно раздвинулась, по углам ее пошло какое-то шевеленье, ка-

залось, сами стены пришли в движение, чьи-то руки, ноги что-то разгребали, и на свет показалось несколько детских лиц.

Телеген ткнул в одно из них.

Из-под каких-то неразборчивых впотьмах пожитков явился мальчик лет восьми, как отец бритый, с такой же формы головой, с такими же глазами, крупными, блестящими и серьезными, с таким же неподвижным лицом. Сходство было прямо-таки матрешечное. Ни слова, ни звука не издав, мальчик поднялся, подошел и взобрался босыми пятками на отцовские ноги. Ни на секунду не теряя равновесия, равномерно он стал перебирать ногами, как если бы давил виноград, а Телеген откинулся на спину удовлетворенно и воззрился на гостей черными своими глазами.

Володя хмыкнул в смущении, парень как открыл рот, так и не закрывал, наблюдая этот родственный массаж. Чино перепутал, переплел руки, ноги, как-то подобрался, свернулся и устался на огонь круглым задеревеневшим лицом, челкой до глаз, общей неподвижностью напоминая странного и недоброго, должно быть, юного божка.

Все погрузилось в молчание. Прошло еще минуты две.

Положение, представьте себе, было нелепым. Ночь, два казаха, молчащие, но знающие про твои грешки — признания ждущие. Безответный этот мальчуган, топчущий невесть зачем отцовские ступни. Бледный красный огонь, смутные детские лица в потемках. Кругом, вне стен юрты, одна только пустыня, пустое небо, простор. А здесь, в духоте и вони, — необходимость

сейчас же признаться в воровстве. Да еще и попытаться умиловить, деньги предложить: взятку дать, если проще сказать.

Несколько раз открывал Володя рот, вспотел, чихнул, но так ничего из себя и не выдал.

Парень опирался о его плечо. Смотрел-смотрел на огонь, раскрыв рот, да и задремал. Теперь он мирно покачивался в такт своему дыханию — то налегал на Володю, то клонился в противоположную сторону, и приходилось его придерживать. И ничуть не успокаивали эти волны беззаботности и дремы. Напротив, все более одиноким себя чувствовал Володя, одиноким и беззащитным перед необходимостью позорного покаяния. Все больше раздражался он внутренне оттого, что чужую, в сущности, оплошность должен унижаться, расхлебывать, как дурак... К счастью, Телеген первым нарушил молчание.

Он сказал негромко несколько слов, Чино помедлил с переводом, а Телеген смотрел на Володю чистыми глазами, терпеливо, почти ласково, будто дожидался, что и по-казахски сказанное до Володи так или иначе дойдет. И улыбнулся.

Володя дипломатично ухмыльнулся в ответ, но перевод, который Чино нехотя процедил сквозь зубы, облегчения не принес.

— Он спрашивает, у вас там праздник сегодня, да?

Володя понял, что разговор этот ведет все в ту же сторону, его еще раз в пот бросило. Он даже передернулся произвольно, и рядом вздрогнул парень, но не пробудился. Что-то зашипело в очаге, пламя моргнуло и померкло, заметная глазу тонкая струйка дыма, томи-

тельно изогнувшись, медленно полилась вверх, но уже под потолком неожиданно резво скрутилась и шмыгнула в дымоход.

— Да, — выдавил Володя, — д-день рождения.

Тут бы ему и перейти к делу, но он, помявшись, решил уточнить:

— У начальницы... у Людмилы... в-вы ее знаете.

Последнее было глупо говорить. Телеген прищурился.

— Люд-ми-ла — да! — старательно выговорил он. И снопа замолчал, глядя на Володю поощрительно и поблескивая глазами.

Тот и теперь ни на что не решился, а только пуще осердился, что с ним играют, по-видимому, в кошки-мышки.

И снова воцарилась тишина, хоть святых выноси.

Что-то явственно поскреблось, потом пошуршало, потом поскреблось опять — в стороне входного лаза.

— Тарпах! — с отчетливым перекатом на «р» выкрикнул Телеген.

— Ч-что? — вздрогнул Володя, и парень, очнувшись, открыл глаза, похлопал ресницами, медленно вспоминая, что к чему.

— Тарпах, — твердо, как приговор, повторил Телеген, и это непосильное «р» в непонятном и грозном слове показалось Володе особенно зловещим.

— По-русски — черепах, — подсказал Чино.

Он не смотрел больше на огонь, а из-под свесившейся челки уставился прямо Володе в лицо.

— Ч-что — ч-черепаха? — размазал Володя, стараясь под пристальным этим взглядом держаться-таки молодцом.

— Черепаха в дом ползет, — пояснил Чино без выражения. — Сейчас пойдет про войну рассказывать.

Телеген и вправду что-то быстро проговорил. Чино сплунул на землю рядом с очагом, равнодушно налил в дядюшкину пиалу водки, себя тоже не забыл и перевел:

— Его во время войны мать посылала черепах собирать... Его и мою маманю... Панцири терли, муку получали...

— Т-то есть? — переспросил Володя, окончательно окаменев лицом и глядя на Чино не моргая.

— Панцири терли, муку получали, — повторил тот безучастно, а Телеген согласно и печально покачал головой и снова выпил.

И невозможно было что-либо понять, прочесть. Ни на лице Чино, не похожего теперь на того человечка, который только что катался в пьяной истерике по земле, ни по лицу Телегена, которое не дрогнуло, не дернулось, не скривилось, а сохранило полное достоинство и непроницаемость, пока водка в очередной раз пролилась к нему в брюхо. Все казалось у них наизнанку, с ума можно было сойти, на них глядячи.

Володя вздрогнул, когда Чино поднялся на ноги. Но тот шагнул не к нему, а к выходу, нагнулся, подобрал черепаху и выбросил за порог. На секунду, пока он приподнимал полог, стало слышно, как там гуляет ветер на воле, но снова все стихло, замерло, сперлось.

— М-мы пришли, — начал Володя и прокашлялся, — ... п-пришли сказать...

Телеген приподнялся на локте и внимательно смотрел ему в рот.

— П-пришли сказать...

Телеген, все глядя Володе в рот, произнес несколько слов.

— Он вам ее дарит, — перевел Чино.

— К-кого? — осекся Володя.

— Он вам дарит овцу на день рожденья. Овцу, которая к вам приходила.

— Она не п-приходила к нам, — пролепетал Володя, чувствуя суеверный ужас.

— Не-ет,— покачал головой и парень, подслеповато вглядываясь в лицо Телегена, которого, кажется, только что признал.

— Все равно — дарит, — отрезал Чино, а Телеген сделал какой-то знак рукой, мальчик сошел с его ног и нырнул с глаз.

— Он дарит ее этой вашей... — уточнил Чино, и Телеген усиленно закивал головой, потом медленно и растягивая губы прошептал:

— Люд-ми-ла.

— А то м-мы можем заплатить, — ободрившись, предложил Володя.

— Должны, — встрял и парень, видно совсем очухавшись. — А то мы не нарочно... То есть это не мы, а нас...

Володя пхнул его локтем в бок, парень икнул, скривился, сваял.

— Подарок — да, деньга — нет! — сказал Телеген. И сел с внезапной поспешностью на своем ватном ло-

же. — Мой баран — она баран, — добавил он еще непонятнее, но страстно.

Глаза его странным образом выкатились, округлились, ладонь дважды разрубила воздух, мотыльки пепла прянули вбок.

Он вытянул руку, как оратор. Чино выставил в его горсть смоченную водкой пиалу, и, не отрывая вспыхнувших глаз от лица гостей, Телеген высосал дозу, содрогаясь и будто еще объясняя телом что-то; быть может, тост произносился в честь именинницы или в любви признаваясь. Пиала вывалилась из рук наземь, сделала два неуклюжих оборота и с глухим звоном замерла.

— М-может, н-не надо, — попытался еще раз возразить Володя, инстинктивно отодвигаясь, и так опасливо, будто им предлагали в подарок не украденную ими же овцу, но : шею на память.

— Дарит — бери,— быстрым шепотом сказал Чино, оглядываясь на дядюшку вместе и опасливо, и воровски. — Он на вас жаловаться хотел, а сегодня, видишь, дарит! Да ему что, у него знаешь сколько овец в месяц пропадает? — Говоря это, он тыкал в руки гостей пиалы с водкой.— Сейчас, к примеру...

— О-о-о-у, — сказал Телеген, по-прежнему стоя на карачках и буравя чрезмерно нежным и сырым взглядом Володино лицо. Помолчал в задумчивости и снова свыл, чуть поводя растроганно головой: — О-о-у.

— Ч-что это он?

— Может, поет, может, еще что, — мрачно бросил Чино, недовольный, что его перебивают. — Выпьем?

Механически Володя чокнулся с ним, а парень вдруг захлопал в ладоши.

— О-о-у-у, — взвыл Телеген еще громче, видно польщенный.

— Вот сейчас, к примеру, — продолжал Чино, жадно выпив и отдышавшись, — он уже неделю пьет. Он пьет, а тетка пасет. Так сколько она потеряет, а?

— О-о-у-а, — разнообразил свою песню Телеген, опустился на зад и подтянул колени к груди.

— Во сколько потеряет! — выкрикнул Чино зло. — Совхоз все спишет, да. Каких соберем — хорошо, а каких нет — спишут! Совхоз-то бога-атый.

Тут он почти с ненавистью взглянул на дядюшку, который, надув грудь, шевелил ногами в воздухе и мотал бритой головой туда-сюда, вытягивая шею.

— Деревня, — прорычал Чино.

Меж тем Телеген пел все громче, повизгивая, а глазами все яростней и ядовитей впиваясь в Володю.

— Н-ну-ну, — сказал тот и вытянул перед собой растопыренную ладонь. — Спасибо за все, но мы пойдем, пожалуй. Нам уже п-пора...

— Зачем пора? — вдруг вскрикнул Чино и закричал тонким голосом: — Совсем не пора, рано еще!

— Пора, — помаргивая, подтвердил и парень, которого Володя, поднявшись на ноги, тянул за собой за рукав.

— Нет, не надо!

Чино тоже вскочил проворно, метнулся наперерез, преградил им путь к выходу. На лице его возникла давешняя гримаска — обиженная, плаксивая, обезьянья.

— Не надо так! Нельзя! — провизжал он. — Не уходите! Грязные его пальцы потянулись опять к вороту,

казалось, еще секунда — он снова ударится в истерику, бросится на землю, примется вновь кататься и плакать.

— Это ты все! — набросился он на дядюшку неожиданно. — Гости пришли, а ты напился! Петь вздумал!

До сих пор Чино держался в меру, но почтительно, но теперь орал грубо, некрасиво выворачивая губы и брызгая слюной. Детские лица попрятались в темень дальнего угла. И тут стало ясно, отчего Чино не соблюдает больше возрастной субординации. С испугом гости увидели, что дядюшка весь опал и сдулся. Зрачки его выкатились на самый лоб, брови разъехались в стороны, рот хватал воздух, руками он ощупывал судорожно свою грудь. Потом издал последний звук горлом и повалился с размаху на спину.

Пришибленные, не сводя глаз с Телегена, гости автоматически поопускались снова на кошму.

И Чино тут же утих.

Невозмутимо поковырял в углях, ухмыльнулся удовлетворенно, на дядюшку скосив черный глаз, пошатываясь, со стуком опрокинув какую-то посуду, достал из темноты треногу, установил над огнем. Потом извлек оттуда черный же чайник, долго прилаживал дужку на крючок, подвесил наконец, потянулся разлить водку, споткнулся и пьяно подмигнул:

— Ничего, мне хорошо. Мы успеем поговорить. Он,— показал большим пальцем через плечо, — вырубился, минут через десять оклемается, не раньше.

Телеген не шевелился. Разворошенные угли ожили, то там, то сям пробегали по ним бледные, но бодренькие язычки. Жидкие отсветы скользили по ватной

груде, по кошме, по засыпанной сором земле, по бритой неподвижной голове и по темному лицу с незрячими, закатившимися глазами. И все вместе—тряпье, кошма, тело человека — представлялось в этом случайном свете слитным, одинаково неживым, а Телеген казался на этот раз умершим окончательно.

— М-может, плохо ему? — спросил Володя. — Помочь надо?

Чино промолчал, свесив голову, но явственно проскрипел зубами. Стало как-то особенно глухо и заперто, слышен был только ветер. Он траурно и тоскливо напевал что-то, обтекая стены юрты снаружи, шурша и маясь. И если долго вслушиваться в него, могло показаться, что юрта не неподвижна, а летит по воздуху, земля же уходит из-под ног.

— Ча! Ча! Ча! Ча! — вдруг запел, заиграл плечами и челкой Чино, разогнулся и прошелся перед гостями в дикарском танце, притоптывая ногами, через такт прихлопывая ладошками.— Мне надо помочь, понятно вам? — проныл он тут же со слезой в голосе, неожиданно близко нагнувшись к Володе и парню, дыхнув позвериному вонючей пастью.

— Ну ладно, л-ладно, х-хорош, — осадил Володя, повышая голос.

— Ч-что, брезгуешь, а? — Чино опустился на скрещенные ноги прямо на землю и заглянул к ним в лица снизу.— Да я не такой, не такой!

— Какой — не т-такой?

— Ну, не такой, как он. Я в городе родился, а он по-русски говорить не может. Я на Белом море служил! В пятидесяти километрах! У меня жена — осетинка, —

простучал он в такт последней фразе кулаком себе в грудь. — Да я здесь знаешь зачем?

— Зачем? — наивно спросил парень.

— А затем, — обращаясь теперь только к нему, наставительно и высокомерно заявил Чино, — что прячусь, ясно?

— Прячешься?

— От мусоров. После танцев девчонок на «уазике» катал, — зачастил он, — ну и вляпались. Права на месте отобрали, хорошо — без жертв. Одной только ножку чуть поранили, теперь у нее эта ножка — чуть-чуть гармошка. Зайти велели, а я сюда, понял? Я второй месяц здесь. Да что — я сам хотел, давно хотел, и вот случай такой. Думал — верхом буду ездить. Думал — пасти буду! — потряс он в воздухе кулаком и снова обрушил себе на грудь. — А здесь все то же, только еще хуже. Ясно теперь? Ча! Ча! — вскочил он снова на ноги и с пьяной маниакальностью стал выделывать ногами кренделя, хотя на его глазах уже блестели всамделишные слезы. — А я на все пойду, — тут же бросился он па колени перед ними снова, — на любое дело! Сил-то у меня, знаете? А где? А где? — тыкал он в пустое и темное пространство рукой. — Где их потратить, а? Пить только? — завизжал он. — В грязи валяться?.. А вот вы, — полз он к ним уже на животе, — геологи, да? Вроде при деле. А пьете тоже, — погрозил он грязным пальцем с какой-то невероятной длины ногтем. — Пьете, пьете, я вижу. А у меня всего было — во! И девок, и денег! Я в месяц пять сотен от нечего делать имел! Но только это будто нарочно так придумано, чтоб настоящего не дать. Девки

— дрянь, на деньги — купить нечего, на танцах рожи одни и те же!

Тут он закрыл голову руками, но не зарыдал, как можно было бы предположить, а затих, сам, видно, сраженный окончательно последним своим, танцевальным, наблюдением.

— Т-ты бы л-лучше... — начал было Володя, но тут Вадим приблизил к нему лицо и промычал:

— Тс-с-у!

Он указал пальчиком туда, где лежал померший хозяин. Там уж готовилось воскрешенье.

Судя по всему, ритуал должен был быть повторен, как по нотам. Оживала уже Телегенова рука, пробудилась и задвигала глазами Телегенова голова, простонало что-то Теле-геново брюхо. Меж черных Телегеновых губ показался светлый, обметанный Телегенов язык, скоренько их облизавший.

Рука ползла по земле. Вздрагивала то и дело, словно боясь, что на нее наступят, по временам отклоняясь от верного направления, но неизменно возвращаясь на истинный путь, неумолимо приближаясь к початой поллитровке. Кисть пульсировала все сильнее: пальцы то сжимались в кулак, то раскрывались и топорщились призывно.

Наконец большой палец ткнулся в стекло, бутылка накренилась и растаяла в воздухе. Изумленные зрители обнаружили ее, впрочем, уже через мгновение висящей вниз горлом над самой Телегеновой глоткой. Водка змейкой мелькнула в темноте. Телеген стал приподниматься на локте. Взгляд его делался ярче, мутная поволока исчезала со зрачков, оторвав горлышко от губ, он

взглянул на гостей просветленно и довольно осмысленно.

— Людмила! — отчетливо произнесли его расцветшие губы, и рот сложился в длинную улыбку.

Затем из темноты он вызвал кого-то, на этот раз попалась девочка. На ней был надет сарафан раза в два длиннее ее самой. Непостижимым образом не путаясь в подоле ногами, а успевая ставить ступни так, что подол подстилался перед ней по полу точно со скоростью ее мелких шажков — так белка в колесе не ошибается, сроднившись с колесом, как часть организма с частью, — она подошла к отцу, заняла вакантную позицию на его босых ступнях и занялась массажем, не уступая в рвении своему брату.

Чино не поднимал головы. Впрочем, поза его выражала даже некоторое удовлетворение — ровно поднималась в спокойных вдохах спина, плечи не вздрагивали больше, а левая рука согнулась и почесала что-то под лопаткой. Видно, удачно исполнив очередную партию, он мог позволить себе передохнуть. Телеген, воззрившись на гостей, что-то медленно и тягуче сказал, почти пропел.

Гости сидели, не понимая. А Володя и не хотел понимать. До чертиков надоело ему уже это представление, он лишь ждал случая без задержек встать и уйти.

Телеген повторил. И в самом голосе его, и во взгляде было что-то приторное, неестественное, а в подергивающемся рте, в расслабленных губах, на которых посверкивала слюна, стекая с одной стороны по щетине, нечто от сумасшедшего.

— Что он г-говорит? — резко спросил Володя, спросил и раздраженно, и озабоченно, хоть ни малейшей угрозы в тоне Телегена не было.

Чино вдруг поднял голову:

— А хочешь, переведу? А? Хочешь? — Он вдруг засмеялся злорадно. — Правда, хочешь? Так вот, он говорит, что очень вас любит: и вас, и бабу вашу. Что рад очень. Что за то, что так вас полюбил, он вам тайну открывает. Тайну! — повторил Чино и захохотал. — А вы слушайте.

Телеген теперь говорил, не умолкая, покачивая головой, как в трансе, и в такт девочка с мертвым личиком перебирала ножками внутри своего непомерно длинного платья, топала по его ступням.

— Он говорит, что уж рассказывал вам об источнике. Это близко, говорит он...

— Ну, конечно, — обрадовался тут парень и вскопчил бы от восторга на ноги, если б Володя не поймал его за локоть. — Ну, конечно, я ж там сегодня был.

Телеген оборвал речь и уставился на парня безумными глазами.

— Да, да, чего вы так смотрите? Это рядом, там озеро. Я... — от волнения парень никак не мог сглотнуть слюну, запнулся, — я пошел прогуляться... и увидел. Широкое такое, блестит, в километре от нас, не больше.

Чино еще пуще, еще более зловеще захохотал:

— В километре, держи карман. Да там лужа, ее все знают. Это вот где, под нами, днем от юрты видно. Да только он не про то, а? — обернулся он к дядюшке.

Тот помотал головой.

— Нет, он про другое говорит. Вот слушайте, слушайте...

На губах Телегена уж белела пена. Дрожащей рукой он потянулся к бутылке, выцедил последние капли и продолжал.

— Там деревья растут... и все такое, — переводил Чино. — Там есть источник, вокруг него деревья и цветы. Туда прилетают птицы, понятно? Это он так говорит, — шепотом добавил племянничек, — да только он мне тоже все это рассказывал, я верил поначалу, пока не понял, что он — того. — Чино постучал себя пальцем по виску, а Телеген тем временем частил свое.

Говорил он с неподдельной страстью, захлебывался, слюна пузырилась на черных губах. В безумных глазах были страх и мольба, словно Телеген не о восхитительном оазисе повествовал, а доказывал невиновность. Глядя на него, гости испытывали смешанное чувство: прежде всего, хотелось ему помочь, вскочить на ноги, закричать — да верим мы тебе, верим, не надо так... Парень, казалось, и впрямь заразился энтузиазмом, так и подпрыгивал на своем месте, да и Володя, лишь прислушиваясь к издевательскому переводу Чино, одергивал себя: да ведь бред же это, бред!

— Он там цветок сорвал! — провозгласил Чино. — Сорвал там цветок и просил передать его вашей начальнице. Во, щедрость-то — все раздарил! А цветов в пустыне больше нет, только там. Ни у кого в пустыне нет, только у него, и он хочет этот цветок подарить ей...

— Ц-цветок? — переспросил Володя и наморщил лоб, не в силах уже что-либо сообразить.

— У него есть оттуда цветок? — выкрикнул парень.
— Ну вот, я же говорил! — добавил он, хотя, как мы знаем, ничего о цветах не говорил и говорить не мог.

Девочка была согнана с ног. Телеген встал на карачки и пополз куда-то в угол, урча по-собачьи.

— А что ж он сам там не живет, у источника? — вдруг выкрикнул Володя зло и совсем не заикаясь. — Чего он нам голову д-дурит? Пусть сам...

— Баран, — коротко ответил Телеген из угла.

— Ч-то, баран?

— Баранов некому пасти будет, — пояснил Чино, но по-прежнему изгилаясь. — Его дело здесь с ними быть.

— Чушь, чушь, — решительно возразил Володя. — Вот с баранами вместе туда и перекочевал бы...

Чино вдруг оборвался и недоуменно на него посмотрел.

— Но туда нельзя с баранами, — пробормотал и он.

— К-куда? — От возмущения Володя даже приподнялся. — Ты ж говоришь, что нет никакого источника, сам же г-говоришь.

— Да нет, конечно, так, — согласился Чино, но по-прежнему растерянно.

— У-уй! — выкрикнул Телеген из темноты. Видно было, как ползет он к ним обратно, что-то сжимая в руке, рыча и подвывая.

Он подполз к краю одеяла, протянул руки к очагу, и в темной лощинке его ладоней что-то вспыхнуло красным огнем.

— Вот, — тихо сказал Чино.

— Ч-что — в-вот? — пролепетал и Володя, вглядываясь, а парень, дрожа от страсти, тянул что было сил свою нелепую подслеповатую голову к самому огню.

— Ы-ый,— взвыл Телеген снова — уж вовсе позвериному.

Цветок в его руках, в живых ярких отсветах, расцвечен был отчетливо. Чашечка понизу закрашена черным, резная же ее кромка — коричневым. Венчик, у основания нежно-розовый, по талии опоясан был белым пояском, а широко раскрытые разлапистые лепестки рделись к краям, обведенным яркой кумачовой каймой. Снутри цветка выглядывали длинные, с бутафорскими шариками на стыдливо изогнутых концах, реснички тычинок, и весь он был красив игрушечной, нереальной красотой.

— Понюхать можно? — истомным голосом проныл парень, протягивая и нос, и губы к вожденному цветку.

Чино отвернулся.

— М-мы п-передадим, к-конечно, — смущенный таким великолепием, стыдясь своего недавнего недоверия, проворковал и Володя.— С-спасибо вам, Люда будет очень... Люде будет...

Парень уж всю вдыхал ноздрями нездешний аромат, лицо его багровело от близости к огню, бородачке грозило быть вот-вот спаленной. Он бессмысленно таращил глаза, Телеген смотрел на него безумно и протягивал пригоршню.

— Ай! — вскрикнул он уязвленно.

Чайник, уже давно побулькивавший на очаге, плюнул из носика кипятком, Телеген отдернул ошпаренные руки, цветок выпал у него из ладоней и улегся на угли.

Мигом лепестки завяли и скрутились. В центре нижнего образовалась желтая проплешина, просунулся в нее сперва один любопытный язычок, потом другие потянули края в стороны, цветок клюнул головкой вниз, через секунду на его месте лежал лишь черный бутон пепла да тускло поблескивала закрученная спиралькой закоптившаяся, медленно расплавляющаяся проволочка, которой чашечка прикручена была, видно, к деревянному, дотлевающему сейчас стебельку.

В ответ на вой Телегена во дворе отозвалась собака. Позвенела карабином, поурчала, а потом завыла — тягуче, всласть. Впрочем, Телеген, казалось, на казнь цветка и внимания не обратил. Тряс ошпаренной рукой, бормотал про себя точно заговор какой-то, дул на обожженное место, сразу же забыв и о племяннике своем, и о гостях, и об удивительном источнике посреди пустыни, вокруг которого росли деревья и цветы, к которому прилетали птицы и о котором, судя по всему, знал доподлинно только он один...

— Его старшая дочка такие в школе делает. По труду,— пояснил Чино, когда вышли из юрты.

Собака выла где-то за углом, да и мудрено было не завывать. Ветер неистовствовал. В ушах свистело. Стены юрты колыхались и дрожали, поскрипывали распорки, точно со страху, а посреди неба висела неправдоподобно чистая, полная, серебристая луна.

— Буря начинается, надо верблюда спиной к ветру положить, — сказал Чино. — Дорогу найдете?

Вдруг все погасло.

Луна окуталась темно-синим облаком. Казалось, облако мчится вскачь — края лунного диска замелькали то здесь, то там в прорехах.

— Найдем, — сказал Володя. Они поднялись на первый холм.

Изрезанная овражками и впадинками, неровная земля, казавшаяся при дневном свете ровно-серой, сейчас раскрасилась в яркие, серебряный и черный, цвета.

Граница меж тем и другим была хрупкой. Казалось, чья-то нервная рука прочертила эти изощренно-ломаные линии, изваяла хрустально-филигранные края.

Никогда им не доводилось видеть здешние места такими.

Стоя на гребне, на возвышении, они видели теперь не круглую выемку, огороженную и замкнутую грядой круглых бугорков, а сказочно переливающуюся, бесконечную, причудливую выпуклую поверхность, отдаленно схожую с луной, в которой искрились отражения звезд.

Невольно искали они в ней что-то глазами.

— Ты видишь? В-вон там, левее?

Все отчетливей была посреди серебрящегося моря красная точка.

— Вижу, вижу!

Она то вспыхивала ярче, то грозила погаснуть, то разгоралась. Это возле кошары, под ними, кой-как приладившись и загородившись от ветра, Миша и шофер разложили чахлый жертвенный костерок.

ЧАСТЬ II

Глава 12. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дело не в том, разумеется, что, разместив кой-как своих героев по предыдущим главам, я не знаю, как поступить с ними впредь. Но, отмахав по бездорожью этой книжки чуть больше сотни страниц, что может показаться трудом конечно же лишь с непривычки, я решил, не загибая в сторону и держась в русле, присесть, осмотреться, перекурить. Иными словами, мне пришла в голову — забавная для меня, не знаю, какой она покажется вам, — мысль сочинить предисловие к этому роману. А поскольку пишу я подряд, топчась на месте бесхитростно и боязливо не допуская в действии и малых пустот, — а в этом мог убедиться каждый, кто доковылял до этой главы, — я позволил себе вопреки традиции оставить то, что должно было бы, кажется, предварять повествование, в том месте, однако, где меня настигло желание предисловие писать и где я увидел несколько чахлых деревцев возле дороги, узбечку в цветных узких шальварах, в цветном платье, узор на котором от солнца и стирки подернулся папиросной дымкой, глазеющую на машину из-под узкой смуглой руки, два витых, тусклого металла, глазастых, с красными зрачками браслета на ее запястье, на обочине — старика в белой чалме, задремавшего верхом на плешивом ишаке, который перебирал равнодушно ногами в пыли и не дви-

гался с места, поодаль — мутноватую жижу, стоявшую в арыке, каковую посреди немилосердного зноя так сладко было почитать за воду. Впрочем, не поручусь за точность этих ориентиров. Быть может, первую робкую завязь добросовестнее было бы отнести на несколько часов позднее, к вечеру того же дня. Расположившись после подернутого дремой, словно вечерний луг туманом, пыльного и тряского дня на ночлег сбоку шоссе, мы устроили в черной рощице уютный незаконный костерок.

Было мертво и печально в округе. Раза два залаяла в ближнем кишлаке сиротским хриплым голосом собака, и ей никто не ответил. Дым, казалось, робел уходить вверх. Малокровные блики от нашего костра покорно помирали уже в двух шагах на глянцевой от росы траве в ядовитой и густой тени огромных ветвистых деревьев, полных диковинных и молчаливых птиц. Кроны были непроницаемы и густы. Купы ветвей и листьев отполированы поверху тихим лунным светом, стволы, изогнутые с чисто восточной изощренностью, опутаны чьими-то вьющимися побегамися. Не зная отчего, мы произвольно переходили на шепот, однако темные невидимые птицы все равно были переполошены. То и дело они принимались раздраженно и разом отчаянно бить и хлопать крыльями по ветвям, тогда казалось, что весь лес поднимается и улетает вместе с ними.

Однако и здесь я ловлю себя на том, что рощица эта разрослась так волшебным и бурным образом, пожалуй, лишь по вмешательству моего воображения, а значит, и этот адрес первого импульса лишен географической непогрешимости.

Так или иначе, но книга началась в преддверии пустыни, по дороге туда, из дорожных впечатлений и рассказов. Сказать точнее — я ехал в пустыню за нею. Но путевые зарисовки позднее негодились, а дорожные разговоры и виды послужили в лучшем случае фоном, и только одна историйка без начала и конца, рассказанная невесть по какому случаю, всплывшая в середине необязательного трепа, бесцельно и бездумно, короче — выуженная мною среди пустой болтовни, лишь она одна по праву может теперь назваться первым толчком. Я приведу этот дорожный рассказ почти дословно, благо он был короток, но хочу оговориться: он вовсе не связан ни с источником посреди пустыни, как можно было бы предположить, ни с цветами. Более того, быть может, на первых порах вам покажется странным, как мог этакий сюжетец таким вот образом прорасти, но это в свое время разъяснится... Кто-то из бывавших в пустыне и раньше, то ли Воскресенская, то ли шофер, вспомнил, как трое солдат убили случайно попавшегося им у колодца большого песочно-желтого варана.

Что принесло варана к оживленной дороге, сказать нельзя. Солдаты заметили его, не дали уйти, а выманили на бой, благо вараны и сами довольно агрессивны. Варан сильно бил хвостом, раздувался, шипел, то и дело бросался вперед, неизменно отшвыриваемый длинной тонкой палкой, которую один из солдат ухватил где-то. Солдаты гикали, улюлюкали, подходили вплотную и ловко отскакивали, когда чудовище готовилось к очередному броску, привставало на лапах. Машины, шедшие мимо, останавливались, люди вылезали

позабавиться редким аттракционом. Наконец палка была использована на манер шпаги тореадора — для заключительного удара. Точно направив ее конец, один из бойцов изловчился и с отменной лихостью и точностью проткнул варану горло. Ящерица билась и извивалась, крутясь вокруг палки, которую победитель всадил настолько глубоко, что вогнал в песок на треть.

Без сомнения, это было превосходное зрелище. Трое солдат, радующихся победе. Группка зевак, испытывающих, должно быть, смесь противоречивых чувств: и омерзения, и удовлетворения. И отвратительное чудище, издевка матушки-природы, ибо без сомнения ему бы своевременно вымереть вместе с прочими ящерами, — полосатое, чешуйчатое, хвостатое, шипящее, но пришипленное, словно бабочка булавкой, к горячему песку.

Солдаты, смеясь, принялись обливаться водой из колодца, и настроение у них, надо полагать, было отличное. Они скинули сапоги. Они размотали портянки. Они вылезли из штанов и с удовольствием бегали взад-вперед по бетонному желобу босиком... Когда те, кто наблюдал бой со стороны, уезжали, варан еще бился, хоть и прошло не меньше двадцати минут...***

***Позже в специальной литературе о варане я нашел до обидного мало. О причинах же повсеместной ненависти к нашему азиатскому серому варану — и вовсе ничего. Кроме, пожалуй, такого вот свидетельства путешественника М. Н. Богданова, приведенного в книге А. М. Никольского «Гады и рыбы»: «Гигантский рост варанов, страшный вид и сила дали повод киргизам сочинить про него басню и навязать этому гаду курьезную способность. Когда был убит на пути к колодцу первый варан, киргизы сошлись смотреть на эту диковинку, и один из них что-то с жаром рассказывал окружающим, очевидно, про ящерицу, возбуждая своим рассказом смех слушателей и в то же время

выражение крайнего омерзения к ней.. Из расспросов оказалось, что варан просто ужасное животное. Стоит только ящерице пробежать между ног человека, и последний навсегда лишается половых способностей, да так, что беду не поправят никакие лекаря и знахари пустыни. Вот почему и названо это животное касаль, или болезнь, почему оно и вызывает такое омерзение и ненависть в киргизах (и в солдатах, добавлю я – *Н. К.*), убивающих их при всяком удобном случае. Но, конечно, так, чтобы касаль не мог проскочить между ног». Стоит напомнить и рассказа тети Маши о том, что «вран овец сосет».

Что и говорить, историйка незатейливая, под статью компании слушателей — а компания наша теперь вам известна. Да мало ли чего ни наслушаешься за время пустой дороги, где и развлечение одно — бесконечная пыль впереди. Но, как это ни смешно, рассказец мне запал...

Так родилась тема будущей книги.

За отсутствием в моем распоряжении иных средств, чтобы вкратце охарактеризовать ее, проиллюстрирую эту тему, скорее музыкальную пока, такой картинкой. Представьте: во все поле холста — желтый песок. Справа сверху, далеко от зрителя, — одно красное пятнышко, то ли оброненная капелька краплака, то ли далекий такыр. Слева, ближе к краю, едва различимый колодец. Еще ближе — угол полуразрушенной глинобитной кошары, несколько человеческих фигур. А в центре — распростертая по земле, четвероногая, хвостатая, чешуйчатая пестрая шкура, совсем плоская... Четыре фигуры — вовсе не храбрые вояки, с невольными возгласами блаженства окунающие распаренные в кирзе ступни в ледяной ручеек. О них я ничего не знаю. Разумеется, это наш маленький отряд, который я выстроил вблизи так случайно, но так счастливо найденного мной

варана. Но вернемся к картинке, пока я ничего не сказал об освещении.

Пусть это будет ранний утренний свет. Пусть солнце стоит над краем пустыни, как жаркий, окутанный влажным паром шар. Пусть все выдержано будет в оранжево-желтых тонах, пусть все клубится, плывет, множится, даже самые стойкие очертания в этот час сделаются схожими с прихотливой игрой медленно уходящего вверх тумана.

Добавлю: неба на картинке виден лишь серый краешек. Свет идет не только от солнца, а как бы и от самой земли. При таком освещении центральная фигура, и без того плоская, и вовсе приподнимается над поверхностью, словно висит над ней. Отчасти это следствие не совсем удачно выбранного ракурса. Плоское тело непропорционально всему прочему, на картине изображенному, чересчур велико и нелепо. При доброжелательном подходе можно сказать, что все вместе похоже на аккуратно и без ошибок написанный скучноватый ученический пейзаж, к которому невзвест для какой надобности привесили проткнутую аляповато раскрашенную надувную игрушку.

Вот, пожалуй, и все, в чем я должен сознаться касательно возникновения ядра будущей книги. Теперь пришла пора рассказать, как ядро обрастало. Я отчетливо понимаю, впрочем, сколь малоинтересны все эти подробности всем, кроме меня и, быть может, моего критика, если таковой найдется когда-нибудь. Но правила писания предисловий — а я прилежно пролистал несколько подобных уведомлений, адресованных читателям, надеясь выудить поучительное для себя, — тре-

буют говорить о так называемом воплощении замысла. Между тем, держась за традицию двумя руками, я, кажется, все ж переступаю ее, так нудно и долго говоря о книге, ни слова не обронив о самом себе.

Итак, воплощение. Едва центральная фигура оказалась набросанной, мне стало боязно, что она, чего доброго, перекосит любую, самую уравновешенную и спокойную, композицию. А вдруг мне не удастся втиснуть на полотно ни одной фигуры, с той же тщательностью выписанной? По полям почти не оставалось места — так тесно спина прилегла к рамке, так плотно к краю расположился скрученный в смертельном изгибе хвост, так далеко в угол залезла запрокинутая в муке голова.

Однако непонятное самому чувство не позволило мне что-либо изменить в первоначальном наброске. Оставив всякие попытки покушения на замысел, я решил прибегнуть к хитрости, если можно, конечно, назвать так мои вполне наивные и неуклюжие ухищрения. Как на некоторых иконах с изображенным на них одним ликом художник пускал по краю ковчега еще и нехитрые какие-нибудь сюжетики из жизни персонажа, так и я, оставив картинку, какой она представлена вам, стал окружать ее неким орнаментом. Вглядываясь в него пристально, вы, быть может, сумеете разглядеть в сплетении элементов, среди бумажных цветов и снов и какой-никакой пейзаж, заметить профили пяти-шести лиц. Но не решусь утверждать, что повсюду, по всему полю прежних и будущих страниц, я намеренно старался создать подобное впечатление. Заботился я о другом. Коли равновесием основного изображения мне пришлось поступиться, то именно орнаментом я хотел компенсировать.

ровать неприятную для глаза аляповатость моего нелепого создания. Я вплетал в него и то, и это. Многого под рукой не нашлось, в памяти не доставало, тогда я с чистым сердцем фантазировал, затушевывая пробелы. И, лишь намалевав половину, прищурился, отступил на шаг и нашел, что вышло не совсем дурно. Сквозь орнамент проступали кой-какие фигуры, а при некоторой благожелательности в написанном можно разглядеть и движение, и ритм, и нехитрую выразительность отдельных мест... Конечно, дело прежде всего в том, что дремучие переплетения обманывают глаз. Кто не исхитрялся на куске яшмы узнать поляну с цветами, в языках пламени заметить всадника на коне, глядя в рябющую воду, схватить очертания гор, а в низком облаке, разумеется, встретить бесспорный рояль.

Заметьте, я признаюсь сразу, что все хитросплетения предприняты мною лишь для спасения центральной фигуры. Не знаю, насколько чистосердечность облегчает мою вину, не сомневаюсь, что не надо иметь семи пядей во лбу, чтоб и без подсказок угадать, как достигаются подобные эффекты и к чему предпринимаются такого рода попытки, но надеюсь, что прямодушный отказ от всяких уловок мне зачтется... Единственное, что в моей работе без обмана, — так это мои ошибки, мои погрешности. Перед лицом несметного их количества — да ведь не все я отчетливо вижу, многие упускаю близоруко — я утешаю себя, что именно в их дебрях, под их кронами может повстречаться непредвзятому прохожему любопытное чередование странностей, показаться занятная игра бликов.

Со мною так бывало в детстве. Неизменно я оказывался пораженным двумя отменно безвкусными гобеленами. На одном мальчик с длинной хворостиной мирно пас гусей в виду неизвестной мне постройке, на другом олени чутко вздымали рогатые головы, выйдя на опушку не менее неведомого леса. Колдовство в этих случаях обеспечивалось уж никак не мастерством или вкусом художника. Сюжеты были банальны. Изображения примитивны. Фактура груба, и естественно ограничен выбор цвета и тона. Лес и дом очертаниями были непропорционально схожи, гуси и олень принимали диковинные позы, но босоногому пастушонку, вдруг на удивление явственно для меня, становилось холодно в одной домотканой рубашонке босиком ранним утром на холодной и влажной траве.

Глава 13

Конечно, можно только догадываться, о чем думал наш герой, распростертый шагах в двадцати от кошары. Тело распластал, чешуя поблескивала в слабых желтоватых отсветах рахитичного костерка. Глубокая ночь. Россыпь звезд над кремнистой пустыней. Ухмыляющаяся в просветах облаков луна над неуклюжей серой постройкой. Тогда Он очнулся.

Тогда Он очнулся, расслышал и не сразу понял: сомкнулись ли в сухой тишине цимбалы цикад, трава ли выжженная оживала под тяжелым ветром? У облитого далекого холма тонко пропел суслик — тонко, жалобно,

словно в последний раз. Проползла черепаха, невидимая в ночи, проползла совсем рядом, и песок шуршал под ее зазубренным сточенным панцирем, и можно было догадаться — уже по тому, насколько панцирь был сношен, и по тому, как постанывал под ней песок, — можно было догадаться, что ей не спится этой ночью, что этим летучим душным последним летом она умрет.

Двое сидели спинами к Нему, двое загоразивали от Него костер, и это было кстати, потому что Он не хотел огня. Огненный рубец горел в паху, и горела обугленная спина, и даже лунный холодный прямой свет пугал Его, и Он слушал, о чем они говорили.

— Что, легли они уже? — спросил один. — Слышь? Укладываются.

— Ничего не слышу, — сказал первый, — ветер такой. Держи.

— Будь здоров.

— Тебя — туда же.

— Ты это, не клади пока костей больше, — попросил второй, — хоть и ветер, а все одно воняет.

— Ты пересядь.

— Да и вообще — плюнь ты на это дело. — И второй чуть отодвинулся от огня. — Сколько съедим — хорошо. Остальное закопаем. Угольками присыплем, ни одна собака не учует.

— А Людка? — спросил первый.

— Да это она сгоряча. А спросит — скажем, сожгли.

— На ломай, я держу.

— Ты это, доливай себе остаток, а если мало — вторую откупорь. — Хватит пока. Вторую подождем от-

кубривать. А то эти придут — им еще наливать придется...

— Пацан-то с полстакана косеет. Совсем пить нельзя.

— А я б и не наливал. На фиг ему?

— А геолог ничего пьет, бугай такой.

— Только заикается. Как заведет — ме-ме-ме.

— Интеллигент.

— А знаешь... — Первый наклонился и сказал тише:

— Он под Людку копает. Сама мне сегодня сказала. На ее место метит...

— Да непохоже, телок он.

— Точняк, тебе говорю. Не смотри, что мекает. Да только мне все равно, я больше с ней сюда не поеду. Когда в экспедицию пришел, думал, весело будет. И охота, и рыбалка. И девки тоже. А здесь только с фарой за зайцами гоняться, пропади они пропадом. Худые ведь, старые...

— Кто?

— Да зайцы. Скучно, вот что.

— Ты молодой,— вздохнул второй, — тебе что. Жены нет, детей нет.

— Ха, была б жена — я б радовался.

— Не скажи.

— А то я не знаю. Мне через неделю любая баба надоедает.

— Бабы разные. От одной только бежать, от чумы, к другой прилепишься... Мужик без жены плохо.

— А где ее найдешь-то? — Первый пошебаршил в углях, вкось метнулся искряной сноп, посыпался широко по сухой земле — и хоть в другую сторону, но опален-

ной спине стало зябко. — Теперь жену не найдешь. У меня сколько раз было — смотришь, вроде порядочная. Потом походишь с ней и думаешь: да она небось со всей Москвой, а ты — жениться на ней? Нашла дурака.

— Бабу держать надо, — возразил второй.

— Их удержишь!

— С настоящим мужиком баба держится.

— А! У нас вот с Витьком кореш женился. Так ее любил, просто кирной ходил от нее всю дорогу. А она на свадьбе как была в белом платье, так в ванной с каким-то своим бывшим и заперлась. Тот вроде как с ее подругой пришел, а оказалось — с ней гулял... — Первый помолчал. — Вот скажи, ты когда женился — долго с ней ходил?

— Было.

— В кино приглашал. Цветочки там дарил. Она небось целовать-то себя не давала до свадьбы-то...

— Соблюдала.

— Во, видишь. А я нарочно как познакомлюсь, так в первый же день под юбку лезу. И что, случая не было, чтоб не дала. Ну, не в первый день, так во второй верняк.

— Таких выбираешь.

— Конечно, есть такие страшные, что на них никто и не полезет. Те, может, и да, порядочные. А если какая посмаз-ливей...

— Просто не нашел ты еще, вот что. А что все одинаковые, это ты зря. Все разные, бабы тоже.

— Ну, тебе, может, с женой и повезло. А только жизнь сейчас другая, быстрая. А что они все разные, это они сами любят сказать. Мол, я не такая, а ты меня как

такую... Сегодня, может, и не такая, а завтра уж — такая же. Все они такие.

— А ты как хотел? Баба, если мужик рядом, рано или поздно все одно даст. То нас так природа устроила, против природы не попрешь. В армии однажды послали нас, человек двенадцать, пожар тушить в лесу. В деревню приезжаем затемно, мужики все еще с утра на пожаре. Так что, не было среди нас ни одного, кого бы на ночь в избу не зазвали. И не только холостячки были, мужние тоже...

— Помогли мужичкам, в общем. Во я и говорю.

— А чего ты вокаешь. Всякое бывает. Да только посреди этого у каждого и другое должно быть.

— Это ты уж про любовь, а?

— Как хошь назови. Это, может, один раз бывает. Здесь верить себе надо.

— Как в кино говорят — верь сердцу, Дуня.

— Да хоть хрену.

— Ну, ему я всякий раз доверяю. Больше некому.

— Ты молодой, жениться — хочешь не хочешь — женишься. Так ты хоть в тело-то свое верь, выбери, чтоб тепло было. Это уже немало, чтоб тепло да ладно хоть ночью. А с сердцем — это не у всех выходит, верно. Из жалости — да, но это другое. Эти-то спят уже?

— Свет потушили.

— Тогда открывай, плесни мне чуток. А я тебе расскажу. На эту тему...

— Как хрену доверять?

— Вроде того. Тебе сколько сейчас?

— Двадцать четыре.

— Мне тогда столько же было, год был что-нибудь пятьдесят четвертый. На междугородных работал... Фу, на, тоже выпей, а то слушать скучно будет... Отправили с грузом в Литву, в глубинку, городок на карте не найдешь. Предупреждали, чтоб осторожней был, но напарника не дали, с людьми туго было, вдвоем только на срочные грузы ставили... Зима была. Не самая зима, конец, начало марта.

Добрался хорошо. Через Минск до Вильнюса, потом на Каунас, а там по разбитой дороге — колдобины, снег не убран — до Кедайнай, так назывался городишко. На дороге пару раз помогал, сам застрял, вытащил меня литовец, здоровый, белесый, ресницы белые, улыбался, хоть и по-русски слабо. Свой, шофер.

Базу сразу нашел. Разгрузился, порядок их мне поначалу понравился. Ладно, думаю, хорошие здесь люди, зря меня в Москве в мандраж вводили. Но все ж решил не задерживаться: гостиницы не было, комнаты для приезжающих только, бабы с детишками, не постираться, не помыться... А груз я у них тоже должен был взять, чтоб порожняком не идти до Вильнюса. А там уж от нашей конторы филиал, всесоюзная была контора... Как разгрузился, думаю, так и погружусь. Не вышло. Груз, говорят, не прибыл, будет ли завтра — не знают, обычная пошла наша бодяга. Наверное, то, что привез, им нужно было, а мне отгружать — без надобности. Ладно, говорю, машину в гараж загоню, в ней переночую, мне еще и шланг на баке надо заменить. Что ты! Руками замахали, в гараже, говорят, постороннему не положено, начальство не позволяет, так что машину ставь, а сам вали. И начальства нет, конец дня.

Гады вы, думаю. Что ж я на улицу-то пойду. Лучше уж в машине на дороге ночевать. Научились, думаю, наука нехитрая, бюрократия-то.

И вот еду по улице тихим ходом, а морозец держится, и некуда податься. Зло взяло. Не по-людски все-таки: человек отмахал тыщу верст, а его не обогреть, заночевать не дать. Тут еще рассказы разные в голове всплыли. Будь под Курском, в любой дом постучался бы. А там, глядишь, на вдовушку попадешь, совсем ладно. А тут, на базе на ихней, бухгалтерша. Грудастая, сама белая, выкормленная. По привычке, да если замерзся да голоден, завсегда ля-ля разводишь с приемщицами и кладовщицами. Нормально это, бабы понимают. Какая замужняя, посмеется с тобой, какая нет — глядишь, вечером встретиться намекнет...

А эта молчок. Рожа строгая, глаз опущен, то ль не слышит, то ль не понимает. Ну и бог с тобой, я негордый. Вдруг входит кто-то из ихних. Тогда она поворачивается наконец и хоть с акцентом, но очень понятно говорит: если, мол, и дальше так будет, мы, мол, не позволим, чтоб так себя вели. И ведь специальную минуточку выждала, подлюга, покраснела аж, вздыбилась... Вот еду по улице и думаю: баб ихних не трожь, запросто здесь ни к кому не постучишься.

Тут вижу — ресторан. Черт с вами, думаю, хоть пожру и выпью в ресторане вашем вшивом. Машину поставил, чтоб из окна было видать, сам как был — в сапогах, в телогрее — к дверям подхожу. Дергаю — заперто, машу — не пускают. А не выходной был, будний. Я вахтерше ихней объясняю — умираю, мол, жрать хочу, а она пузо на меня уставила, на сапоги показывает. Во,

думаю, Англию развели — достаю рупь. Она не берет. Достаю три, старыми, конечно, она никак. Ну, думаю, гнида, а пять? Перекосилась вся, словно не деньги — шиш показываю, но взяла, пропустила. Ватник вешать не стала, а на стул бросила — черт с тобой, ведьма старая. И — по лестничке вверх.

Вхожу — мама родная! Не просто так она меня не пускала, вроде как праздник у них в ресторане какой. Сидят за единым столом почти сплошь мужики, баб по пальцам сосчитать, сидят, один другого за плечи держит, поют по-своему и в стороны качаются. Немцы, как есть немцы... Ладно, мне что, ресторан государственный. Оглядываюсь, как бы мне примоститься, чтоб в окошко машину видать, слышу — все до единого смолкли и на меня зырятся. Картиночка: стою посреди в кирзухе, в штанах маслених, в свитере ношеном, они же за длинным столом при галстучках, ботиночках, пиджачках. Не знаю, как у тебя, у меня так завсегда: от страха и неловкости злым становлюсь, переть начинаю, как танк. Ну, думаю, хрен с вами, пойте, обнимайтесь, а мне мой стакан поднесите, потому за свои кровные выпить-закусить с устатку не дать — такого закона не знаю, нет такого закона. Так и пру — в угол прямо. К окошку сажусь, пачку «Севера» на стол, пальчиками, как в фильмах, знаешь, постукиваю и небрежно под занавеску в окно поглядываю. А на улице тьма. Один фонарь перед рестораном качается, от окошек свет. В нем снежок сыплет на мою машинку, и ни души. Стыло на сердце стало: она там, я здесь. Будто предчувствие какое. За себя-то я не боюсь, битый, хрен меня забьешь, а

ее жаль. От если до нее доберутся, тогда все, хана... И тут подходит...

Сейчас расскажу, какая она была, выпью только. Звали ее, как потом узнал, чудно — Янка. Не литовка, полячка, по-нашему не переведешь, Ян — это Иван, а она Маша, что ли, тоненькая, беленькая, не яркая, как бабы бывают, бледная, не садовая — полевая. Как взглянул на нее, так меня и дернуло. Сижу, уставился, и она на меня смотрит, а в руках у ей ничего нет, словно только на меня поближе поглядеть и пришла. Растерялся, давай ей руками показывать, как иностранке. стакан показал, по глотке себя погладил, борщ изобразил, ложку там, а селедку — никак не могу, как в самом деле ее, селедку, покажешь? А она улыбнулась, грустно так, не знаю, отчего она всегда так грустно улыбалась, но только от ее улыбки горько делалось, и спрашивает по-русски: кто вас сюда пустил? У нас, говорит, не принято в таком виде. В таком виде, так и сказала... Нездешний, говорю, не знал, какой вам тут вид нужен, но если я им, за тем столом, своим видом аппетит порчу, так я могу и на кухне, мне все одно, но только чего прошу — дайте, а то я целый день не ел, пойти некуда, так что отсюда не уйду, не просите. Глаза у ней тогда серьезные сделались, потемнели снутри, ничего не сказала, посмотрела только особенно и ушла. И те не смотрят больше, отвернулись, а у меня будто глотку клеем намазали — липнет слюна, сглотнуть не могу. Не знаю, как объяснить, что я от первого от ее взгляда все про нее понял: будто не я страну объехал и людей перевидал, а она в городишке в этом весь свет пообсмотрела, про все узнала, и радости от того у нее никакой нету.

— Погоди, — перебил первый. — Я что-нибудь подброшу. Не то гаснет.

— А ты ближе сядь, плотней, загородим.

— Ты говори, я слушаю. Посмотрела — и чего?

— Конечно, я, должно быть, это про нее потом выдумал, не за столиком же сразу прознал. Только, помню, испугался: куда это она пошла? Может, и не официантка она? Это теперь официантки все по-фирменному в каждой забегаловке по единой форме. Была она в своем, как узнать — кто. Жду, голову тяну. Вдруг вижу — у служебной двери она с другой быстро и не по-нашему лопочет. Та здоровая, мордастая такая, моей, видно, что-то про меня накручивает, а моя зло отвечает. Все, думаю, спасибочки, отобедал. И тут, немного подождал — несет. Отстояла меня, так понимаю, ладушка. И рыбки принесла, и водочки, тарелку супа, не борща, конечно, но тоже с мясом, горяченького. Тепло мне стало на нее смотреть. Поблагодарить бы, но только не то что за руку тронуть, заговорить нельзя, не у Пронькиных, так что я выпил молча рюмочку за ее здоровье, закусил, оттаял, только к супу — идут к моему столику двое.

Один амбал, мордovorот, рожа жиром заплыла, глазки еле проглядывают, второй щупленький, белобрысый, невидный. Бугай без спроса против меня садится, и это одно уже мне не понравилось, младшой возле вертится, тому все в рыло заглядывает, как собачка. Амбал трёк-трёк что-то по-своему, белобрысый тут же по-русски перевел: Алик, мол, хочет тебя с праздником поздравить. Здравствуй, думаю, Алик, коли не шутишь; налил себе стопарик, им откланялся в ответ и опрокинул за собственное здоровье, за суп принял. А

щуплый снова: Алик, говорит, с тобой выпить хочет. Вот, думаю, паразит, хоть словечко бы выучил. Двигайте, говорю, рюмочки, угощу, чем имею. Двигают, затем и пришли... Ну и пошло: водку мою пьем, белобрысый в переводчиках, так и беседуем. Про то, про се, откель я приехал. Про машину, конечно, молчу, да все равно — номер-то московский. Впрочем, я до времени и про Москву помалкиваю, а то москвичей повсюду не любят, наглюки, считается, так что у меня уж правило было: спервоначалу никогда не признаваться, что сам из Москвы... Допили. Боров хрякнул что-то на весь зал, она приходит. Он ей по-ихнему, она на меня смотрит, а я понимаю, что это она за мой счет выпивку заказывает. Ну-ну. Пока второй графин несут — тут и смоюсь потихому. Встаю, показываю им, мол, брызнуть отлучусь — и за ней. Она худая, маленькая вся, а под кофточкой на спине, меж лопатками обтянутыми, не замок от лифчика, а точно узелок выпирает, точно грудь у ней платком перевязана. Э, думаю, застудила, что ли, грудь? И до сих пор не знаю — то ль показалось тогда, то ль верно, но только жаль стало: что ж, думаю, другой работы ты не нашла, как только хрякам водку в ресторане в этом паршивом таскать. Догнал, возьми, мол, с меня, и тут глаза у ней позеленели, как меня услышала, тревожные сделались, наклонилась и мне шепотом: уходи, мол, быстро. А деньги, говорю, деньги-то возьми с меня. Завтра, шепчет, занесешь, мы, говорит, с девяти работаем... Ничего не пойму. Спускаюсь по лестнице, а самому хорошо, дураку, и от акцента ее, и что поутру снова ее увижу. Решил не торопиться, в сортир под лестницу завернул, прикидывал еще, не подождать ли ее

уже сегодня. И не тревожусь ни о чем, хоть и малогостеприимный народ мне здесь показался. Стою, последние капельки стряхиваю, вдруг русский голос отчетливый за спиной: думаешь, самый умный, братишка? Алика голос, точно — его. Что это он по-нашему заговорил, вспомнил, никак? Оборачиваюсь, стоит, полкан, передо мной, ноги расставил, пасть разинул, ржет, щеки дрожат: да я по-русски, ржет, получше тебя! Кабинка узкая, вдвоем не повернуться, а если такой жеребец залезет, света белого не видать. Стоит, ржет, это так надо понимать — над шуткой своей, как он немым прикидывался, а глазки не смеются, жгучие глазки, как у врага какого. Я ничего, виду не подаю, штаны застегиваю. А ты что ж, по-литовски не понимаешь? — спрашивает. Родился, отвечаю, в деревне Зуйки, там все пеньки, там у нас только по-отечественному...

— Руки за голову! — орет. Сам красный, шея, у кобры, раздувается. — Лицом к стене!

Муторно мне стало, я тебе доложу. Он пузом к толчку меня прижимает, никак не повернуться, из-под туши его не вынырнуть. Кранты, думаю, одной лапой по стене размажет. Злоба душит, но делать нечего, становлюсь к стене, руки на башку кладу. Гад, думаю, и отчего-то особенно не за себя — за нее обидно. Не поймешь — почему.

Чувствую, шарят его сардельки по моим карманам. Нашли кошель, да только у меня там десять рублей от силы, в другом кармане пятнадцать за все приготовлены, а остальное — в машине, не разживется, гнида. Это, так надо понимать, что вроде как он меня за то грабит, что я по-литовски не научился. Гад, думаю. Языком сво-

им торгуешь. Народом. Убивать бы таких. Да и какой он литовец, такие везде есть, и у нас таких перевешать — суков не хватит, которые высоким прикрываются и чужую кровь сосут... И из кошеля взял, и из кармана, потом еще долго лапал.

— Пить пойдем со мной, понял? — говорит.

Сдался я ему, лучше уж здесь бы к вонючей этой стенке примазал, чем еще куражиться... И вот снова сидим, второй графин дуем. Вокруг уж пляс пошел, гуляет народ. Хряк водку жрет, не косеет, молчит, только смотрит глазками свинными, не мигает. Так смотрит, точно придумывает, что бы ему такое со мной потом сделать. С души воротит от глазок от его, в морду хочется тарелкой засандалить. Что ж, думаю, предупреждали умные люди не даром. Но другой половинкой башки мозгую вместе с тем: нет, просто* не дамся, у него еще будут со мной хлопоты, хоть всем рестораном на меня пойди.

А народ кружится. В зале парно сделалось, я, хоть и не плясал, в свитере потом обливаюсь, ноги сопрели в сапогах. А он смотрит глазками кровавыми, выпивает на мои и изредка как бы лыбится. И одни сидим, никто не подходит. Издали только кивают Алику этому, пока сам не позовет. Во, думаю, в самое очко попал я с этим рестораном, не иначе — прямо к королю... И тут подлетает к нам ласточка. Губы вымазаны, рожа нарумянена, бугая в щеку целует, а тот на нее и глазом не ведет, все меня рассматривает. И вдруг она меня за руку дерг к себе: мол, пошли танцевать... Врешь, шалава, чтоб лишнюю придирку дать на себя, танцевать с тобой не буду. Она же все за руку тянет, и хряк говорит: иди, Коля, тан-

цуй. Хрен с тобой. Но только блядь твоя мне все одно не понадобится. Можешь не рассчитывать на нее, не увяжусь...

А танцы у них, как у нас в клубе когда-то были: один на баяне, один на скрипке — и вся музыка. Только и делов, что скрипка лишняя. И танцуют не пойми что: мазурку, венгерку, польку, чешку, я в том не разбираюсь, русского могу, еще танго, а здесь бальные, язвы их душу, развели танцы. Стою посреди залы, сапогами, как дурак, перебираю, деваха вокруг меня припрыгивает, всё вокруг скачет, ногами выделявают — голова кружится. Ну и я топчусь, верчусь вокруг себя помаленьку. В одном таком обороте и вижу: хряк и тут глаз с меня не спускает. В рот сардельку сунул, ковыряет, будто ею рупь в зубах найти хочет. Что я ему дался, никак про машину прознал?

Только подумал так — потом холодным облился. Но кружусь, кружусь и слышу: Янка. Поверишь, сразу понял, о ком речь, хоть и не знал, что ее так зовут. Одного в толк не возьму: кто говорит. И снова слышу: Янка. Перестал топтаться, стою, как осел, а подружка моя в бок кулаком: что стоишь, танцуй. И к самому уху: Янка, мол, передать велела, чтоб больше никуда не выходил. Я тарашусь, она скалится: есть где ночевать-то? Есть, говорю, к тебе, к лярве, все одно не пойду. Последнее, конечно, про себя, и спрашиваю: а кто она, Янка? Да она ж тебя обслуживает. Вот оно: накормила, напоила, денег не хотела брать и теперь вот заботится. По человечеству это она так-то или здесь тоже подвох ищи? Ведь если из жалости, так она и на себя кой-чего берет. Хряк-то прознает и ее не пожалеет небось.

Вернулся я на место, хряк третий уж графин ополовинил. Хорошо, думаю, может, возьмет его. Вечер-то к концу подходит. Народ помаленьку убывает. А я на улицу и оглядываться боюсь. И Янку глазами не искать стараюсь. Так и сидим, в гляделки с хряком играем... Но вот заткнулась эта их скрипочка, последний народ зал покинул, вижу — у хряка веки стали тяжелеть, рожа скраснела, глаза стали. Я ему еще, и тут — один раз в жизни такое видал — хряк вперед наклоняется, зубами скрипит, башкой машет в стороны и как завоет. Жутко выл, пузом, словно внутри у него что-то жгучее завелось, словно знает, что завтра ему, скотине, помирать. Повыл — и поднял на меня глаза. Мамочки, думаю, а глаза-то трезвые. Хоть режь — трезвые глаза. И то же выражение в них, что давеча. Протянул ко мне руку, клешней зацепил, подтащил к себе со стулом вместе, дышит в лицо всей свиной своей, хрипит: внизу жду, отдай деньги и догоняй... Сейчас, думаю, догоню, разбежался, как же.

Свет в зале дежурный остался, официантки столы поубирали, мой тоже, но не Янка, а другая. Я уж прикидывал, не оставить ли мне ватничек в гардеробе, не сигануть из окошка в машину прямо, как из подсобки, вижу, мне знаки делают Я туда. Она уже в шубке, платком обвязалась до самых глаз, пышненькой кажется, но я-то знаю, какая она под шубкой вся худая, лопатки крылышками. Я худых-то не очень, но к ней жалость, что она не как все бабы, дунешь — сломится... Прошли через кухню, она откуда-то мой ватник достает Подала. Ой, думаю, умница... И через кладовку, задним ходом, черной лестницей — во двор. Снег метет Она кивает —

так пошли. Впереди сараи какие-то, промеж ними чернота, чудо как можно смыться... Спасибо, говорю, теперь уж я сам. А она смотрит. На машине, говорю, я, машину бросить никак нельзя... Долго смотрела. Глаза блестят, темнеют под платком, личико в глубине белеет, красивая. Иди, говорю, деньги вот только возьми, спасибо тебе. Вижу — не может решиться. Руку из варежки выпростала, мою взяла, чую — страшно ей. Почекай, говорит, я с тобой. И так она это шепнула, что думаю: гадом буду, а уж ее тронуть не дам... Заходим за угол, выглядываем: мамочки родные. Возле ресторана толпа — человек двадцать парней. Горланят спьяну, а машина аккуратно между ими и нами, посередочке. Пригнулся, вдоль стены прошел, перебежал, тихо в кабину залез, прислушался: поют. Помолился, как мамка в детстве учила, только б завелась. Крутнул ключ, сразу на газ и поехали! К ней, дверку отбросил, внутрь втянул на ходу — до того ничего не слышал, а как рванул, так разобрал — вой позади стоит В зеркальце вижу — метнулись человек десять догонять. Улюлюкают, по крыше несколько камешков достали, да только х'рен вам грызть — упустили! Теперь не догоните.

Напетляли мы по темным улочкам. Я ход не сбрасываю, а днем подтаивать стало, к ночи подморозило, раза два нас заносило, чуть в забор не въехали, еле вывернул... Она только ручкой показывает: сюда, теперь сюда, потом ладошку к груди прикладывает. Спасибо тебе, говорю, без тебя плохо было бы. Молчит. Так Янкой тебя звать? Кивает. А меня Николаем. Улыбается молча... Так и едем, а куда — неизвестно. Я поостыл, робеть при ней начал. Поглядываю на нее — очень уж

хороша. Шубка, платочек, варежки, все чистенькое, и держит себя, и слова не по-нашему выговаривает. Как, с ней — не знаю. И снова все думаю: неужто ж это она все только за-ради меня? А что, спрашиваю, если б они узнали тебя? Насупилась. А этот, толстый, — кто он? И вдруг хоть и шепотом, но с силой: то ест, бормочет, доперо, пся крев. Песья кровь, значит, так понял. А если узнает?.. Не договорила ничего больше, оборвалась.

У длинного дома сказала остановить. Но из кабины не идет. Другой я б сразу намекнул, мол, сестричка, ночевать негде, а этой что скажешь? Вижу только, снова улыбается, как тогда, в первый раз, в ресторане. Минута проходит, две, сидим, я — дурак дураком себя чувствую. И со страха, не иначе, с обиды с какой-то, что ничего у меня с ней выйти не может, ткнул губами к ней в щеку. Думал — прынет, она же взглянула только и тихонько засмеялась, точно я ее обрадовал. Больше так не смеялась она, так не понарошку. Такой смех подделать нельзя, поэтому за такой смех все отдать можно. Пропасть совсем, потому бабы так редко смеются — вроде ничего не случилось особого, и вроде счастье на них какое обвалилось. Тихий смех, единственный... И говорит: идем.

В подъезде темно, лестница крутая, перила валяются, пыль, и сердце прыгает. Говорит шепотом: . здесь подожди. Я не удивился, все равно не верил, что к себе она меня ведет. Свет мелькнул, пропала. Оглядываюсь — вверх лестничка уже, чем вниз, из нее куда-то темный коридор уходит, а дверей, кроме той, в какую она ушла, нет больше. Снова скрипнуло, вышла она, без шубки уже, и повела меня за руку, сквозь темноту, и

вонь, и сырость какую-то, вдруг — свет, музыка, смех, а прямо на меня та шалава идет, с какой давеча в ресторане отплясывал, косоротится, пьяная в лоскуты, целоваться лезет. И так защемило внутри: это за-ради тако-го-то бардодыра все она и придумала: за столом двое мужиков в рубахах, на столе водка, огурцы, радиоло орет, сало порезанное, а по стульям кителя висят, пого-ны голубые. Усаживают, подносят, а мне уж держаться теперь ни к чему — только водкой и унять, что внутри она мне прищемила. Да разве виновата: как живет, так и принимает. Пью, быстро меня повело, как с тормозов себя снял. Помню, танцевал с кем-то, на баяне играл, пели хором, помню, Янка все улыбалась мне, грустно так на плечо руку клала, а летчики своих тискали, снова наливали — вторую-то шалаву, под стать хозяйке, я и помнить не помню... Погасло все, провалилось.

Проснулся рано. Комната незнакомая, солнце в са-мое окно, все белеет: занавесочки, салфеточки — на зеркале, на столе, на тумбочке, коврик на стене с оле-нями, чисто, как в больнице. И никого. И досада взяла — ничего не помню. Как попал, как раздевался? И тут резануло — прыгнул к окну, так и откатило от сердца: прямо подо мной у окон стоит родная, солнышко при-пекает, по асфальту под колеса ручьи текут... Крепко, видно, нажрался, что ни вспомню — все лоскутьями: с летчиками «Катюшу» горланили, ее рука на плече, ша-лава лыбится, золотой зуб во рту кажется... Стою босиком, в одних трусах и майке, паршиво, на полу дорожка узорчатая, у двери половичок, мылом пахнет, а под зер-калом тапочки маленькие, как детские, и на каждом по-верху котенок вышит. Тут меня и стукнуло, от котят от

этих. Пстой, пстой, поглядел на кровать — две подушки примятые, а на одной несколько длинных волос, белых-белых. Да что ж это, заныло внутри, рядом с ней спал? А она-то где ж? И вспомнить не могу — было что промеж нами, не было. Вот сейчас все бы отдал, чтоб она в комнате была... На столе салфеткой что-то прикрыто: яйца вареные, сыр, банка с молоком, хлеб, а на табуретке рядом — все мое сложено, по шовчикам, как выставлено... Бывало, бывало, заночуешь так-то вот у хозяйшки, она и стирает, и завтрак тебе, а ты только и думаешь, как бы от ней скорее в машину прыгнуть да на волю, на свободную трассу, где сам себе хозяин... А тут: ноет нутро. Сам не пойму, что. со мной, а только жалко. И ее от котят от этих жалко, и себя от рубашки от своей сложенной...

— Так и не узнал, был с ней или нет?

— А как узнаешь? Я то утро совсем дурной был, ошалел просто. Нет, думаю, не уедешь так просто, шалишь — это я себе. И ей: да мне для тебя ничего не жалко, ладушка. И имя твержу: Янка... Одедся, в сапоги, в ватник, по лестнице бегом. Думаю: на базу заскочу, шланг поменяю — и к ней назад, должна ж она прийти из ресторана из своего. Я в ресторан не хотел к ней идти, вот ведь... По улицам рулил, на базу влетел — чуть ворота не вышиб, а там и груз мой пришел. Оформился, погрузился, шланг сменил, бутылку купил, конфет, заехал в какой-то двор, прямо в машине в костюме переоделся, в парикмахерскую хотел, да терпения не было. В машине кой-как побрился, одеколоном на морду плеснул, в голове все кусками вчерашнее: то пьянка с летунами, то лестница пыльная наверх, коридор тем-

ный, узелок у ней промеж лопатками, и тут же: стоит она перед столом, хряк, развалясь, водку ей заказывает, пся крев, а она кивает. И на меня не смотрит.

Каша в голове, туман с бодуна, дрожит все от водки, от нетерпения, кругом весна, солнце шпарит, и будто вина за мной какая. Петляю, кружу, раза два мимо нужной улицы промахивался, и все думаю — что ей скажу, если ждет меня, хоть записку бы оставил... Вот и дом ее, вот и окна на втором этаже. Занавески белые висят спокойненько, стекла поблескивают как ни в чем не бывало, форточка приоткрыта, все чужое, спокойное, я только вот лечу-падаю куда-то, пропадаю. Смотрю на эти занавески, нет, не дрогнули, никто не выглянул. Смотрел-смотрел, все дрожь унимая, посигналить хотел, но сдержался и погнал на трассу.

— Так и уехал?— спросил первый.

— Да. В Москве потом ночами не спал, от Лиды лицо прятал. Письма писал...

— Отвечала?

— Да как отошлешь, адреса-то не знал... Потом отошло, вон уж жизнь прожил, а такого вроде и не было больше. По трассе тогда гнал, зубы сжал, а по щекам — веришь, нет — слезы лились. И все себя уговаривал: да что, других девок мало, сколько еще будет — в каждой поездке... Но нет, такой не было, как она... Год прошел, я жене все рассказал, сам не знаю зачем.

— А она?

— У-у. Не поверила, что не было ничего. Помню, тогда еще в деревне жили, так она слушала-слушала — и как выбежит на улицу в рубахе в одной, как завоет... А я думал — поймет.

- Чего поймет-то?
- Да сам не знаю, молодой был, как ты.
- Ну, теперь-то позабыл небось?
- Да вот видишь — помню. Давай разольем, что осталось...
- Давай. И на боковую.

Глава 14

Он слушал.

И слышал: будет буря. И думал: зачем они нападают? Они пришли и встали возле норы, и нельзя было подойти к норе, и нельзя спрятаться. Он ушел бы прочь, их увидев, но они стояли к норе близко, и нельзя было уйти от норы. Иначе Он убрел бы прочь.

Они пришли. Окружили, отрезали, но Он не хотел нападать. Они напали стайей, оглушили, связали, взяли. Они всегда нападают стайей... И один другому сказал:

- Д-добавили без нас, видно.
- Неужели и вправду мясо сжигали?
- Д-дураки. Да, хорошо, верно, подзаправились.
- Вы спать хотите?
- Нет, хоть п-поздно, должно быть...

Так они говорили, и Он слышал, поскольку встали они так конечно же, чтобы Ему было лучше их слышно. «Вы спать хотите?» — говорили они. «Нет, хоть и поздно...»

— Тогда дорасскажите. А то и я спать не хочу. Ни капельки. Сначала хотел, пока у них сидели, а теперь ни

за что не усну. Такая ночь, и ветер, и совсем нельзя спать. Вы слышали, Чино сказал: буря будет? Он еще хотел верблюда спиной к ветру положить. Зачем это?

— Кажется, я читал где-то, что животные в бурю словно дичают. Бегут от ветра, перестают слушаться пастухов, не разбирают дороги и г-гибнут... Бегут от ветра в пустыню.

— Я тоже от ветра как пьяный сделался. Сейчас ничего, но сначала... Хотелось уйти. В никуда. Просто идти и смотреть...

— В Сахаре французские колониальные солдаты часто уходили к-куда глаза глядят, потому что будто бы пустыня обладает гипнотическим действием... Затягивает, заманивает... М-может быть, это связано с миражами, это было б логичное объяснение.

— Нет-нет, миражи-то сами от пустоты. По-моему, в пустоту тянет, потому что проверить хочется, что за ней. Пройти ее и вырваться. В пустыне же всегда жить нельзя. Вот Чино с верблюдом...

— Н-ну, это он, положим, от водки.

— От водки, конечно. Но водка-то тоже от тоски. В пустыне, если одному, с ума можно сойти. Или в растение превратиться... Но, знаете, мне подумалось, что когда мы уедем — обратно будет тянуть.

— Я п-подобной ностальгии не подвержен.

— Воскресенская вот. Могла бы не ездить столько раз подряд.

— Конечно. Никто не заставляет.

— И шофер.

— Ч-чувствуешь, д-дышать совсем нечем?

— А мне вот вчера сон снился. Будто я к морю иду. Все по-настоящему: и прибой слышу, и как чайки кричат. И песок теплый-теплый. И в руке у меня ведро почему-то. Будто за водой иду. И никак дойти не могу, потому что песок затягивает... Так и не увидел... Но я перебил вас, вы рассказать обещали.

— Как я отцовскую машину продал? М-могу, но только история-то не гусарская. Скучно будет.

Нет-нет...

— Ну, хорошо. Я г-говорил уже, что покупатель на голову свалился. Я не думал продавать, но две тысячи за такую рухлядь меня купили. Одну мать получила, другую в карман, на Курский и — в первый попавшийся поезд... Тебя вот манят приключения. Я тоже с юности мечтал о путешествиях, но прежде всего потому, что они грезились одинокими. Как ни странно, эта мечта об одиноком и вольном странствии ни единожды не сбылась: сперва мать и отец, потом институт, экспедиции, женился рано... И вот...

Утром — на вокзале в Туапсе. Дождь. Взял такси. Шофер вез километров тридцать, завернули на пустую турбазу у моря. Директор, армянин, замахал руками, когда я спросил комнату, пришлось положить перед ним четвертак. Он брезгливо слизнул бумажку смуглой рукой, позвал кастеляншу. Коттедж на пригорке. Я оторвал доски, которыми была забита дверь, получил от управительницы матрас, постель, выпросил рефлектор и, пообещав шоколад и вина, разжился электроплиткой, настольной лампой, чайником. Очистил комнату от прошлогодних босоножек, обрывков писем Людочке от мамы из Ростова-на-Дону, баночек от крема против за-

гара, тубиков от крема для загара, к обеду стал владельцем чистенького помещеньца с двумя небольшими окнами, одним — на сиреневые кусты, другим — на нежилого вида дощатый барак, шкафом, двумя тумбочками и тремя кроватями, панцири которых прикрыл постелью, привезенным пледом и одним из одеял. От веранды тропинка вела круто вниз, мимо магазина, в котором торговали ничем, прямо на пляж, покрытый крупной серой галькой. Море вяло шевелилось, елозило по прибрежным камням, мутное и зябкое. Было холодно. На небе — ни просвета. Строго говоря, уже сейчас было ясно, что делать мне здесь ровным счетом нечего... Три дня прошли в тоске. Директор представил меня персоналу дальним родственником. Валяясь на кровати, я представлял себя уродом посреди шумного армянского семейства. С веранды были видны приготовления к сезону. Несколько десятков семей что ни день несли куда-то на гору сумки и кули. Утром кастелянша, попохатывая, управляла двумя пьяными, тащившими огромный шифоньер по направлению к лесу. Она вежливо мне кивнула. Погоды не было. С юга наползали на побережье кислые расхлябанные тучи, над горизонтом был сперва золотистый прогал, но к обеду все окончательно потонуло в беспроглядном киселе. Даже деревья ждали покрываться листьями. Я читал за чем-то Мельникова-Печерского, пил крепкий чай, но в четыре решил идти в поселок звонить матери, не признаваясь себе, что иду звонить жене. Из этого холода и прибрежной тоски «разрыв представлялся и прозаичней, и трагичней, чем был. Вышагивая вдоль вконец остановившегося моря, от которого против ожиданий не

пахло ничем, я ругал себя за то, что не умею жить, и за то, что не поехал в Ялту. Таксофон, разумеется, был сломан. Пришлось заказывать. Я ждал уже около часа, меня не вызывали. Я ткнулся в фанерное окошко. Телефонистка была хорошенькой, мелкокудрявой, с крупной родинкой на лбу, целовалась, сняв наушники, с кривоногим шофером, не так давно подкатившим на каком-то фургоне. Она крикнула душновато: «Ждите». И я покорно ждал еще минут двадцать, пока на улицу не протопали резиновые сапоги, и меня соединили. По первому номеру никто не ответил, по второму мать говорила со мной скорбным голосом, будто я был больной или у меня кто-то умер. Я заверил ее, что отдыхаю прекрасно. Она попросила меня побольше развлекаться, убрав в подтекст, что жена моя дрянь, что она, мать, правильно делала, что не принимала ее в семью, — и я заверил, что развлекусь на все сто. После отбоя я попросил еще раз соединить меня с первым номером, еще раз услышал вялые длинные гудки... Само собой разумеется, напротив переговорного пункта меня поджидал ресторан. Не умея проглотить горький вкус во рту и решив, что коньяк здесь разбавляют, я заказал бутылку. При первых тактах местной музыки я был готов ко всему, выпив половину. Началось козлодрание. Не смущал меня и взгляд кудлатого мужика со стальными зубами, уставившегося из-за длинного стола с происходившим там немудреным банкетом.

Кричали «Листья желтые», под них я выхлестал еще чуть не стакан, глядя на танцующих. Ударник молотил прямо над ухом, тяжело пихался бас. Толстые фикса-тые девки перепрыгивали с одной капроновой ноги на

другую, не глядя па вьющихся под ними пьяных парней. Кудлатый скалил сталь во рту, переводил взгляд с меня на пляшущих баб. Конечно же, глядя туда же, я заметил, наконец, в просвете между животами и задами девочки, высокую и просто одетую, без поддельных камней на пальцах и косметики. Она танцевала с подругой, низенькой и мазаной, отчего казалась еще выше. Через минуту, прыгая вместе со всеми, я узнал, что ее зовут Светлана, что она учится в деревообрабатывающем техникуме в Краснодаре, а здесь гостит у родителей подруги. Говорить было не о чем. Я заметил ей, что она сильно стесняется. «Это я стесняюсь, что такая высокая», — отвечала она, и мне показался ответ этот милым. Подругу звали Надеждой. Меня предупредили, что провожать неблизко, но чуть позже я уже получал в гардеробе их плащи. С плащами в обнимку наткнулся на кудлатого. Он что-то промышчал завязанным туго языком и кивнул на улицу. Мы вышли с подружками на крыльцо, под одинокую в темени лампочку на фасаде, — кудлатый, сверкая зубами, вырвался из дверей за нами. «Я за брата никогда не прощу», — вопил он. За ним в ночь вывалилась и его подруга, вцепилась в его плечо: «Толя, это не он!» «Я за брата никогда не позволю», — продолжал орать тот, выдираясь из ее рук и собственной рубахи, обнажив бледно татуированную грудь, исходя слюной. Я было остановился, но тут Светлана неожиданно и громко заявила: «Да мы только сегодня приехали». И потянула меня вперед. Это было вовремя, ибо кудлатого обступили дружки, которым тоже не терпелось вступить за поправленную честь неведомого брата... Ее «мы» меня тоже умилило. Шли долго и большей ча-

стью молча. Подружка уверенно вела нас в кромешной тьме. «Дальше не надо, — деловито сообщила, когда дошли до подвесного моста, — теперь вам так надо идти... Здесь прощайтесь». Мост заскрипел и закачался от ее шагов, она унырнула, мы же принялись прилежно целоваться. Светлана не разжимала зубов и была серьезна. На какое-то мое замечание ответила, что «комплиментов не обожает», и, рассудительно сообщив, что это в последний раз, крепко прижалась зубами к моим зубам. «Увидимся завтра?» — прокричал я, когда она вспорхнула на мост. «Здесь, в одиннадцать». Плащик ее секунду светлел, мост заскрипел, она была такова. Лишь когда мост успокоился, я перестал бесполезно вглядываться. Пошел своей дорогой. Спал прекрасно. Впервые не мерз. Проснувшись, даже помахал руками. Они были у моста с пятиминутным опозданием. Она на сей раз была в джинсах, под легкой кофточкой на спине между лопатками просвечивала пластмассовая застежка. По плану ее подруги сегодня нужно было осмотреть пионерский лагерь. Погода, разумеется, разгулялась, я снял свитер. Идя в гору меж кизиловых кустов, мы притоттали и украдкой целовались. От нее пахло зубной пастой. Лагерь оказался вымершим, пионеров свезли куда-то на экскурсию. Один только раз вдали промаршировал с барабанным боем отряд. Дети были одеты в подобие морских кителей и совершенно однополы. Вожатой не было видно, дети маршировали словно сами по себе, но все прочее было по местам. Бассейн, который нам показала Надежда. Столовая, которую нам показала Надежда. Спортивно-оздоровительный комплекс, коттеджи, дом вожатых, дом обслуживающего

персонала, — но влажных своих пальчиков Светлана не отнимала, хоть и слушала гида с послушной миной. К счастью, на повороте Надежда обнаружила знакомых, судя по мордастости, поварих. Сговорились, что ждем ее на пирсе. Лагерь был велик, пирс двухэтажен. В тени свай и сплетений арматуры, внизу, на узеньком переходе, лежал огромный кудлатый пес, поджав под себя хвост, и осмысленно следил за поплавком на удочке хозяина. Мы переступили через него, пес не шелохнулся. В дальнем конце она прислонилась к мокрой от брызг опоре спиной, ладошкой обняла мой затылок. Попутно мы выяснили, что она сирота, воспитывалась у дяди в станице, училась в городе в интернате, хотела поступать в педагогический в Витебске, но испугалась экзаменов. Что, если я ее украду? Ее никто никогда не украдет, если она не захочет. Бывала ли она в Москве? Никогда. Как проводит вечера? На танцах или в кафе с девчонками. Живут ли мальчики в их общежитии? В подавляющем меньшинстве... Эта робкая дань изящному стилю радиопередач меня особенно порадовала. Кроме как по вопросу о краже ее из общежития, разногласий у нас не возникло. Нацеловавшись до рези в моем паху, мы вышли на пляж в рассуждении увидеть Надежду, коли она придет за нами. Сидели на песке, смотрели на прибой. Море, надо отдать ему должное, более или менее ожило, запахло, расшевелилось, шуршало галькой на откате и хлопало о прибрежный утесик. Оно подстраивалось под первые мои о нем воспоминания Пенная пустыня, вечное и брренное... Мы пошли тихонько, сцепившись мизинцами. Эта непрочная связь казалась символической. Мы сделались безличными, а хрупкое

это касание над вечным Понтом означало предвечную друг другу предназначенность... Ей я все это преподносил, конечно, в популяризированной форме, предложив отправиться взглянуть, как там я устроился в своей одинокой комнатке, расписав, какие там вокруг цветы, и заливая про сосны, за что немедленно поплатился. По склонам над морем и впрямь, черт их дери, повылезли кое-какие цветочки, и, пока мы шли к моей келийке, она раза четыре заставляла меня ползать по трухлявому обрыву, карабкаться вверх, сползать на заду в куче песка и щебня, раскорякой замирать, уцепившись судорожно за какую-нибудь колючку, собирать для нее весенний букет. Когда добрались до комнаты, я был потен и разгорячен. Принялся было вновь ее целовать, усадив на кровать, но она бесцеремонно забракела даже самые безобидные ласки. Неловкое движение с моей стороны — и она ушла бы... Чем ее занять — ума было не приложить, к счастью, на моем столе она углядела никелированное распятие в современном стиле на круглой подставке, которое привез мне из Кракова приятель. Зачем, собирая вещи перед отъездом, я сунул эту штучковину в сумку, трудно сказать, наверное, чтоб не мозолила по приезде глаза и с подсознательным желанием за время поездки от нее избавиться. Сейчас моя гостя благоговейно поставила распятие на свою ладошку. Из Польши, пояснил я и минут пять нес какую-то ахиною о характерности этого изображения для современных католиков, прежде чем объявить, что распятие отныне принадлежит ей. Она посмотрела на меня с выражением ужаса. Я почувствовал себя уязвленным ролью богатого дядюшки; я великодушно пояснил, насколько рад,

что оно ей нравится. «Оно вам дорого», — пролепетала она, но я, не желая набивать себе цену, открыл было рот, чтоб уверить ее, что вещь эта недорогая, из магазинчика сувениров для туристов, пустячной цены, как ужаснулся себе. Она спрашивала не о том, вещица в ее глазах имела ценность иного рода.

Море тяжело вздымалось, ахало, с гулом расплескивалось под дорогой. На возвратном пути — уже смеркалось — она трогательно прижимала безделку к груди. Думаю, если б я сейчас заикнулся украсть ее, она бы промолчала. Пока мы блуждали по поселку в поисках дома подружки, совсем стемнело. Дом оказался и вправду у черта на рогах. Мы целый день не ели. Я умирал с голоду, пока мы переходили бесчисленные мостики, сворачивали в проулки, пробирались садами. Она оставила меня, наконец, на скамейке у палисадника перед мазаным низким домиком с наличниками на окнах и сиренью, касавшейся стекол. Я опасался, что явится и Надежда, но Светлана вернулась одна с пирожками, обернутыми теплой липкой бумагой, уже без распятия, а в большом платке, наброшенном на плечи. Села рядом. Тесно прижималась, пока я жевал... Мы провели на скамейке часа три. По переулку лишь однажды проехал мотоциклист, обдав светом фар, и она отлепилась от меня, стянула на груди концы платка. Небо расчистилось. Повсюду на нем горели смутные по-весеннему звезды. Вышла луна. Забор не стало видно в тени матово-черных кустов, сквозь которые голубоватые стены дома едва светились. Удалось выведать, что «ее парень» гулял с ней с девятого класса интерната, а теперь служит в Витебске. География ее педагогических инте-

ресов таким образом прояснилась, но после этого мы в Витебск уж не возвращались. Она скоренько обучилась жарко дышать мне в шею, выгнув тело, что-то пошепты-вать, обнимать мою голову худыми длинными руками, клоня мое лицо к своей груди. На клочке маслянистой бумаги ее лапкой огрызком черного карандаша был нацарапан краснодарский адрес. Название улицы я запомнил — Овчинникова. Раньше она называлась Мокрой, добавила Светлана. Этот комментарий сказал мне больше, чем предыдущие объятия. Она верит, что я не только напишу, но и приеду, иначе зачем мне старое название. Впрочем, она, скорее всего, сказала это без задней мысли, а вполне простодушно, но мне хотелось, чтобы я не ошибался. Луна светила в ее лицо. Оно было юным. Глаза блестели. Мы оба были одиноки. Мы оба осиротели. И каждый из нас кого-то ждал. Я ждал ее... Обратной дороги я не нашел бы нипочем, если бы не громкий прибор в темноте. Море кипело, я шел берегом, окутанный водяной пылью. Дома допил приобретенную третьего дня бутылку вина, обнаружил забытые ею цветы, устроил их в банку, вывалив зеленый горошек за черное окно, невесть с чего сел за письмо к ней, заснул полуодетым, это же письмо видел и во сне, два дня цветы охаживал, меняя воду, собрал сумку и, не сказавшись родственнику, дал деру на автобусную остановку. Попал в перерыв, ближайший автобус отходил после обеда. Я пошел в тот самый ресторан. Выпил оглушающе много, чтоб хватило духу взять на такое расстояние такси. Машина оказалась туапсинская, шофер запросил до Краснодара пятьдесят рублей. Я не торговался. Пока скользили серпантинном вдоль моря, распо-

лосованного под ярким солнцем, я придумывал — как все будет. Сперва номер в гостинице. Техникум к черту. Будет приходить ко мне по утрам. Неделя счастья. В Москву вместе. Живем на даче. В экспедицию беру ее с собой. Дикие места, дикая природа... Во что и на что я ее одену — на это фантазии и сил не хватило; едва море исчезло из вида, я заснул.

Проснулся в сумерках. Мы подъезжали. Редко светились на окраинах первые огоньки. Меня высадили на автовокзале, я пересел в городское такси. Было муторно, беспокойно, вдобавок таксист улицы Овчинникова не знал. Я назвал Мокрую, страшась, что и такой не окажется. Оказалось — ехать на другой конец. Не надо было в машине спать... Миновали центр — в огнях, витринах, запетляли по задам... «Вот Овчинникова», — брюзгливо сказал шофер. Машина стала. Пока я рылся в бумажнике, шофер все смотрел куда-то, вывернув голову. Потом буркнул: «Ишь, разорались». Посмотрел и я. На другой стороне полыхал большой пожар. Яркие отблески были на крыльях машины. Оставив сумку, распахнув дверцу, я побежал туда. Горел кособокий одноэтажный дом. Только что с треском подломились перекрытия, бенгальский сноп еще летал и вился под богатыми кронами темных деревьев, гас в черноте, присыпая золой облитые оранжевым нижние ветви. В радиусе тридцати метров все было видно до черточки. Небольшая толпа держалась от огня в отдалении, я встал за спинами, но лицу и здесь было жарко. Впереди толстая женщина громко и гортанно причитала. Мясистое лицо ее было багрово, растрепаны черные волосы. Скорей всего, она была армянка, хозяйка дома. За руку она

держала девочку. Та не плакала отчего-то, а задумчиво смотрела в огонь. Женщина кричала на одной ноте одни и те же слова. Еще четверо ребятишек держались за подол ее платья, один же путался в ногах отца, сутулого и худого, буднично обсуждавшего с другими мужчинами причины пожара. «Теперь новую квартиру дадут, — угрюмо сказал таксист, оказавшийся рядом и неприязненно наблюдавший пожар, стоя со мной обок. — Большую небось, детей-то вон сколько... Этот четвертый дом, а ваш вон». Я посмотрел, куда он показал. В окнах трехэтажного кровавого кирпича здания белело множество лиц. За красными стеклами светлели и очертания плеч, спин, видно, обитатели общежития повскакали с постелей в одних рубашках... Нутро горевшего дома точно вывернулось. Окна повывлетели, из-за обугленной двери торчал угол железной кровати, которую не успели вынести, и можно было заметить, что панцирная сетка раскалилась докрасна. Женщина все кричала. Ее крики обсуждались в толпе. Можно было понять, что она оплакивает шифоньер с бельем, предназначавшимся в приданое старшей дочери. «Шифоньер не дадут, — заметил таксист, — квартиру получают, а шифоньер тютю». Домишко Вдруг надорвался всей утробой, заскрежетал словно зубами, внутри его ухнуло, передняя стена стала оседать и валиться назад, стали видны на задней тлеющие коврики, обметанные дымом. Толпа ахнула. Армянка заголосила; дети разом заплакали, хозяин объяснял что-то, размахивая руками, и стена рухнула, сверху посыпались ало полыхающие головешки, домишко еще больше скривился, округа осветилась ярче, груда скарба высветилась до последней тряпочки и об-

рисовалась с противоестественной рельефностью, а где-то раздавалась сирена пожарной машины. Я снова посмотрел на дом номер шесть по Овчинникова, прежде Мокрой. За пламенеющими слюдяными стеклами нельзя было разобрать, которое из десятков лиц ее лицо. Там были многие лица многих Светочек и многих Надежд, много белых сорочек с многими плечиками и девичьими грудями под ними, много стальных крестиков на многих шеях и много пар глаз, лихорадочно впитывающих грудю спасенного добра, остов чужого жилища, угол большой кровати, чужих чернявых озаренных детей. «В аэропорт», — сказал я таксисту и пошел к машине. «Так бы сразу, — бодро отозвался он, идя следом, а то Овчинникова. А кто ее знает, где такая. Все переименовали, ничего не найдешь». В голосе его было удовлетворение, но я не слушал его. Я чувствовал себя, говоря ее словами, в подавляющем меньшинстве. К тому же днем я пил почти без закуски, и от этого теперь началась изжога.

Говоривший замолчал, и долго не было слышно ни слова, и Ему показалось, что теперь будет тишина.

— Это... все? — нарушил молчание другой.

— Да. Я тогда улетел в Москву. Потом вот сюда.

— А она? Так ее и бросили?

— К-кого?

— Ну, эту девушку.

— Я думал — ты о моей жене... И что значит бросил: это ж минута была, весна...

— Ведь и я тоже, — — сказал второй, будто не слушая, про себя. — Все к черту послал.

— Т-ты?

— Ну да. Университет, мамочку с папочкой. Уехать хотел. С биологами, правда, собирался, а папаша вот к вам засунул.

Первый молчал, слушал, наверное, но смотрел в сторону, и Ему казалось, что смотрит первый на Него. Зачем они нападают?

— Я хотел в университет. Ночами занимался, чтоб поступить. И что: преподают скучно, студенты на лекциях в морской бой играют или в карты. Я думал, особая жизнь будет, а жизни никакой нет. Дышать нечем, как вот здесь. Вялое всё какое-то, не праздничное... Поэтому, наверное, и товарищества нет. Каждый сам по себе...

— А зачем б-бросил-то, я не понял. Хотел же биологом стать?

— Ну, как вы не поймете! Биологию-то я очень люблю, да только не могу так: в двадцать один диплом, в двадцать два — аспирантура, потом кандидатская, лысеть начнешь. Потом женишься, детишки пойдут. В сорок пять — доктор, да? В семьдесят — на кладбище...

— К-конечно.

— Зря вы смеетесь. По статистике так — в семьдесят. А я не среднестатистический. Мне знать надо — зачем?

— Что — зачем?

— Да все. Жениться зачем? Диплом зачем? Мне этого никто объяснить не может...

— Спать надо идти, — сказал первый.

— А вот вы...

— Что я? Мне твой нигилизм ясен. Возрастное это. Я в-вот сегодня один в маршруте х-ходил — хорошо было. Дело есть, сила есть...

— Какое ж это дело — карты разрисовывать...

— И на орла смотрел. Он летит, я иду — хорошо. И вокруг простор, пустота, свобода...

— А зачем идете-то? — крикнул первый.

— Н-не знаю, — признался второй.

А Он думал: «Зачем, зачем они нападают?»

Когда нападает Он, когда нападает на маленькую агаму, агаму ждущую, агаму солнечную, когда нападает в первый раз, и промахивается, и нападает вновь — Он нападает, потому что голоден. И орел камнем падает, камнем свистящим, поющим, секущим, камнем смертельным, стремительным, и взмывает тенью, и корсак поджарый, корсак длинноногий, голодный выслеживает, потому что добывают пищу. Разобьет черепаший панцирь, бросив вниз со скалы, и склюет мясо, и насытится, и накормит птенцов. И обгложет кости сурка неосторожного, и разметет легкую шерсть, и высосет последнюю мякоть, ибо и пауки, и звери, и птицы голодны. Но зачем нападают они? Так думал Он. И слышались Ему голоса, и виделся лунный свет безжалостный, и было светлым тело Его, и свет был ярок, и было тело Его хорошо видно — избитое, больное, светлое на черном... И Он подумал, что умирает. Он сломал зубы, когда кусал палку и когда кусал веревку, и охотиться теперь Он не мог. Он слышал голоса задолго до восхода, когда выпадает омывающая легкая чистая роса...

Глава 15

Впрочем, поручиться нельзя, думал ли Он что-нибудь такое, как нельзя и установить в точности, слушал ли Он то, о чем говорилось поблизости. И слышал ли? Но Он оказался здесь, в середине, в средней части, и кому, как не Ему, было слушать две рассказанные выше синоптические истории, а сейчас, когда и вторая парочка наконец утихомирилась, еще и скрип раскладушки за ближайшим к Нему окном, женский голос с хрипотцой, сперва откашлявшийся, потом спросивший:

— Спите, никак?

— Нет. Я думала — вы заснули. А мне не спится что-то... Ночь такая тревожная, и будто шуршит кто-то под окном.

— Знамо, ветер.

— Ветер, да-да. Особенно сильный сегодня. Я лежу, думаю...

— Может, вам свет зажечь?

— Нет-нет, не надо. При свете мне... неуютно делается ночью. При свете кажется всегда отчего-то, что ты одна. Без света лучше. В темноте же можно что угодно представлять. Со светом не так...

— Нервная вы очень. Я как вас увидела, днем еще, так и подумала, что нервная. А что, городские часто нервные. Которые и в деревне-то не были, те всегда как больные. И лица нет, и фигуры...

— А еще эта история...

— Что за история! Тьфу. Да этих овец у них не считано пропадает...

— Я где-то читала или слышала, что в древности на Востоке людей нарочно сажали в темную яму... в темницу, и непременно по несколько человек, и непременно в полную темноту. Вот как мы с вами сейчас... — Она странно хихикнула. — И якобы в темноте, когда люди не видят друг друга, ми легче сдаются, теряются...

— Так ведь и рыбу когда бреднем ловят, сперва воду взбаламучивают.

— А мне кажется — неверно это Я думаю, в темноте, когда нервы напряжены, когда фантазия работает, когда ты и стен тюрьмы не видишь, тогда легче. Тогда ты из себя самой всё до донышка можешь вычерпать, тогда ты сильней.

— У нас, я помню, — закричала и с усилием повернулась на раскладушке другая, — когда я на стройке работала, одного начальника забрали. Сидел в одиночке — и спятил. Что ж, можно сказать, повезло еще — не спятил бы, так бы и сидел, а то отпустили...

— Только сны.

— Что?

— Только сны, когда одна спишь, совсем другие снятся. Я одна всегда сплю со снотворным. Тогда меньше, реже, не такие яркие... Я сны свои не люблю. А вы сны видите?

— Редко когда. А соседке моей еженощно. Если не уж-рется, конечно. Тогда не токмо что сна — света белого не видит, чертей ловит...

— Во сне все переплетается. Недавнее с тем, что давным-давно случилось. И это-то переплетение и пугает больше всего. Будто сама себя настигаешь, ничего не можешь забыть...

— Особенно с четверга на пятницу.

— Уж лучше, когда снится то, чего и не было никогда. Новые лица, чужие дома...

— Чужие — это хуже. Тогда знак может быть.

— Знак?

— Ну да. Положим, приснился кто чужой с четверга на пятницу. Это к дурному. Я в четверг завсегда и спать-то боюсь ложиться. Есть такие, кто любопытствует, специально четверга дожидаются, да только до добра не доводит — судьбу пытаться. Чему быть...

— Ах, не верю я во все это, а все равно — гадалок боюсь, примет этих самых и знать не хочу. Даже не боюсь, но неприятно. Однажды мне подруга говорит: сейчас расскажу, говорит, сон, ты мне снилась. Нет-нет, говорю, не надо рассказывать. Черт его знает, есть же интуиция какая-то, что ли. Что-то она про меня наяву подумала, подсмотрела, почувствовала...

— Конечно, как ни погадаешь на себя — всегда дрянь какая-нибудь выйдет. Лучше уж так жить. А уж приметы дурные. У меня вот...

— Так что прощу вас снов мне своих не рассказывать. — Воскресенская засмеялась, но как-то натянуто. — Так что приметы?

— А что приметы. Хочешь не хочешь, а по ним все выходит.

— Это как же?

— Ну как. Я замуж не хотела, а в зеркале его увидела — и вышла.

Это интересно.

— Да. Гадали девки в общежитии, я к ним подсела, дура. А они: от, Маш, сейчас тебе жениха подыщем. За-

ставили в зеркальце смотреть. Я смотрю-смотрю — нет никого. И вдруг вроде как мелькнуло что-то в глубине. Мельк — и все, ничего не разобрать, ни лица, ни одежды. А они смеются. Это, говорят, он на велосипеде был. И что — правда на велосипеде.

— Вы подумайте, — иронично.

— Пашка-то? Ну да, он фасонистый из всех парней, городской. У них за рекой свой дом был. Так он на работу на велосипеде приезжал, на машине на хорошей, и на танцы тоже. Рулит, бывало, в перчатках, кепка на голове. Так он после того случая ко мне на танцах и подошел. До того не смотрел, а видный был, а после подошел и приглашает. Я танцевать по-городски плохо умела, а он после танца меня за руку взял и говорит: выходи за меня. Когда, спрашиваю? Когда-когда, говорит, сегодня. Так за руку меня в тот же день к матери своей и отвел...

— Но в зеркале-то на велосипеде мог и другой ехать.

— Он, кому еще. Я ведь и разошлась по примете.

— Вот как.

— Так. Утром встали с им, а мне стыдно перед матерью перед его, жжет от стыда, глаз не поднимаю. Хоть подмету, думаю. За веник взялась, начала мести, а он мне — брось, Марья, гулять будем. Я стою, растерявшись, посреди горницы, гляну на него — красная делаюсь. А свекровь смотрит из угла, губы поджала нехорошо, улыбается. И тоже мне — брось, брось, говорит. Да так ласково. Я уж и с-под кровати вымести успела, с-под шкафа и стою посреди с веником... Вы спите?

— Нет-нет. Только я не пойму: недолго вы с мужем-то прожили?

— Да месяц. Но в то самое утро все и разладилось. Послушалась я, мне бы мести дальше, а я послушалась. Он меня за руку к себе потянул, я и бросила веник-то. Он меня на лодке зовет кататься, а свекровь все на веник этот на полу и смотрит.

— Что, не хозяйственной показались?

— Не в том дело. А только, если перед каким делом не подмести, то дело и не сладится. Это дело-то, а тут — свадьба... Через этот веник все и не заладилось между нами. Он через месяц другую привел, я и ушла. Уж потом узнала, что беременная была.

— Как же?

— Мы ж с им не расписаны были, вот он потом и от дочки отказался. Во-он когда спохватился, когда дочка седьмой кончила. Приехал, лысый уже. Просил дочку на его фамилию записать.

— А вы?

— А на кой он нужен? Потом написал, что болен, помирать собрался. Вроде и жалко стало, да только наврал: живой и посейчас.

— И после замуж не выходили?

— С малым дитем на руках куда выйдешь? Потом, дочка подвыросла, многие стали свататься. И посейчас один женихается, в охране на руднике работает...

— Странная ночь. И холодно, и душно. Скажите мне, Марья Федоровна, вот — молодость была, один какой-то месяц любви. И что — никогда потом уж хорошего не было?

— Всякое было. Только пуще, чем в первый раз, никогда не бывает. В тот вечер перед свадьбой — в тот вечер лучше всего. Потом не то было... В тот вечер он меня сильно любил.

— Страшно это.

— Чего страшного-то? Жизнь. И не только месяц. Он и потом прибегал, от своей следующей-то... Сама-то замужем была?

— А почему не спросили — может, я сейчас замужем?

— Так что ж тогда по пустыням разъезжать. Нет, про вас видно, что одинокая...

— Да?

— Ничего, молодая еще. Да теперь и замужем — как одна. Вроде не война, а бабы какие с животами, какие с ребятишками все одни остаются. Мужиков, будто их кто гонит куда-то. У меня в доме в одном одиночек больше, чем мужних...

— Не знаю, поймете ли вы меня, но мне кажется, этооттого, что в сегодняшней жизни все как бы в мелочь превратилось. Все движется, меняется, темп возрос, информация, впечатлений больше, можно стало путешествовать — и так, и за рубеж, — и встреч, кажется, больше, но не стоит за всем этим одно, объединяющее, главное. Все есть, а...

— Думаю, зажрались. Не знают, чего хотеть.

— Разве вот мы с вами — не знаем?.. Нет, в другом дело, просто надежды за всем этим ярким и разнообразным нету. Раньше, кажется, за каждой мелочью, за каждым пустяком что-то стояло, и было чего ждать. А

теперь исчезло это самое — ради чего. Вот и мечутся люди, сходятся, расходятся...

— Это нужно или одному в пустыне жить, или такую силу иметь...

— Вот-вот, вы меня удивительно поняли. А сил нет, силы подорваны. Дело же не в том, что счастья нету, правда же? Нет идеала счастья. Поэтому от какой-нибудь глупейшей случайности, от поверхностной мелочи все самое хорошее и большое рухнуть может...

— В жизни завсегда — не за ту ниточку потянешь, глядь — по ручкам-ножкам уж опутана. Не раскрутиться, не ослобониться.

— Точно, все на ниточках. И куда какая идет — не узнать.

— Видишь, ты тоже суеверная, а говоришь...

— В каком-то смысле суеверней, чем вы, в сто раз. Но я вам завидую.

— Мне?

— Да-да, вам. Завидую, что вы вот так точно и верно знаете, в чем ошибка ваша. Уверены, что знаете, и мучиться над этим вам больше не надо... Ведь всегда есть один какой-то момент, движение одно, слово, улыбка, не будь которых — и все иначе бы пошло, а? Одна-единственная какая-то мельчайшая неправильность, с какой все и идет наперекосяк. Комкается, а потом уж — ничего и ничем не поправишь... И вот остается только отыскать эту ошибку, ведь не знать ее — мучительно, и хуже нет — так и не найти, не понять, в какой момент ты ее допустила. Так всю жизнь можно промучиться, не зная, кого винить. А вам легче.

— Поняла я теперь. Это вы про то, как я горницу не домела? Так то примета, то не ошибка, то я — от счастья веник-то бросила...

— Вот, больней вы не могли возразить. Правда, правда, у вас не то...

— А у вас?

— А, давно было, давно... И все равно, знаете, продолжает во сне сниться. Вот два дня тому назад...

— Два дня?

— Да, позавчера. Снится, я будто лежу в своей комнате, дома, а во всю стену — зеркало, прямо надо мной. И только я его увидела, поняла, что не одна... А зеркало дрожит, висит криво — и дрожит. И я думаю еще, что надо его поправить, но тут оно отделяется и на нас падает. И, знаете, так мне не хочется, чтобы это мы были, что тут же вроде бы и не он со мной, а подруга. А оно упало и разбилось ровно пополам. И я заплакала, но думаю во сне: у меня же нет такого зеркала, значит, все только снится. Но плачу, будто какое-то горе стряслось, и не могу остановиться...

— А что ж плакать? Это когда наяву зеркало бьется — к плохому, а во сне, да если еще себя в нем видела...

— Видела, обоих...

— Так то к женитьбе.

— Что вы говорите?!

— Известно — к венцу.

— Нет-нет, так быть не может. Он уж... Конечно, двенадцать лет не срок, но не в том дело. Многое ведь все равно забывается, а это все я до черточки помню, сколько раз в уме перебирала, что наизусть разучила. Не знаю только, с чего начать...

— А ты не спеши. С самого начала и начинай.

— Значит, с института надо начинать, с нашей группы. С первого по третий курс мы втроем дружили: я и две подружки, обе из Сибири.

— Землячки мои.

— Тамаре удалось выйти замуж и остаться в Москве, мы с ней видимся, вторая исчезла, не знаю где, ее звали Лена, фамилия занятная — Забегалова. Обе блондинки, рослые, с крупными руками, ногами, здоровые, яркощекие, и обе несчастные, как они считали. Тайком мне завидовали, а значит — в лучших подругах ходили: они, мол, несчастные, а я счастливая.

За ними не больно ухаживали, многие мальчики мельче их были, а я — москвичка, из семьи обеспеченной, жила дома, не в общежитии, поухоженней, пооткормленней, поодетей, к тому ж отличница, комсомолка, в походы вызывалась первая, на гитаре тренькала что-то вроде «Ах, это ветер волосы взъерошил и немного платье приподнял», белиберда отчаянная, но мужики балдели, как Тамара говорила. Даже соавтором кафедрального шефа была по какой-то мелкой публикации.

И учился в нашей группе мальчик-грузин, Тенгиз, из Тбилиси, смазливый, но милый, хрупкий, вовсе не наглец, напротив, слишком даже застенчивый, имел слабость называть себя князем. Впрочем, сколько я встречала мало-мальски интеллигентных грузин, непременно княжеского рода, иначе у них не принято. Так вот, фамилия у него и вправду была благородно-медленная, на «э», сейчас не вспомню, маме моей очень нравился.

Мы с ним ходили в кино, я учила его на коньках кататься, подружки млели, завидовали, а он дальше того,

что руку мою в кино пожимал, никогда не шел. Окружающих наш школьный роман с ума сводил, в походах-то все симпатии наружу, спали по-солдатски, вполвалку, поцелуи, все такое, вечера институтские тоже церемонностью не отличались, а тут — кружева, да и только. Но жениться не предлагал. И то именно, что не предлагал, что все молчаливо происходило, цветы дарил, с мамой без меня часами чай пил, пока я в походах на гитаре наяривала — сам брезглив был до неприятного, но чист несомненно, — это именно и говорило мне, что женитьба у него на уме. Причем не как выход из маминого поля зрения и платонического тупика, а всерьез, в особенном, кавказском, смысле женитьба, помню, рассказывал с грустью, что не всякие родители в Тбилиси посмотрят хорошо на брак с русской... Короче, он был влюблен.

Невестой я себя чувствовала безбоязненно. На него можно было положиться, при этом он меня никак не связывал. Отпускал на вечеринки безропотно, никому ничего конкретного я не могла рассказывать, хоть подружки, конечно, и поедом ели от любопытства, но в институте нас твердо считали парой. Это укрепляло и мой авторитет, и мою сопротивляемость в походах и на практиках. Была я, разумеется, девицей, и не то чтобы до замужества себя блюсти собиралась, но случайно, вповалку, как другие, никогда себе не позволила бы и не простила. В общем, он чем-то вроде ангела-хранителя был для меня весь третий курс, благо был похож на ангела. Тенгиз и пригласил нас в августе в Тбилиси.

Вернее, пригласить он хотел, разумеется, меня, познакомиться с родителями, но одну не отпустила бы меня мама, только с подругами. Да и для меня это молчаливое жениховство было лишь игрой, развлечением. А так сложилось вполне пристойно: Тамара, Леночка и я отправляемся на море, по пути заезжаем в Тбилиси и знакомимся с родителями Тенгиза, как его сокурсницы.

Это предисловие к одному-единственному дню, утром которого мы сошли с самолета в тбилисском аэропорту. Этот день все перевернул. После уж я никогда, кажется, такой не была. Взрослей стала, уверенней, пожалуй, но такой легкой...

Впрочем, история-то банальна: у телеграфа, откуда я посылала телеграмму маме, что долетела благополучно, Тенгиз назначил свидание двум своим друзьям, чтоб девочки не скучали. Одного и звали не помню как, второго — Владик Богаевский, Владислав, Володя. Сейчас поймала себя на том, что вслух, внятно я этого имени много лет не произносила. И не рассказывала никому ничего подробно, ну, мама кое-что потом узнала, пожалуй, еще моя подруга...

Описать его внешне? Высокий, фигура, что называется, спортивная, блондин, глаза голубые с зеленым, в сумерках темно-серые, нос прямой с горбинкой, видный парень, но ничего из ряда вон выходящего. Только рот, пожалуй. Губы не тонкие, яркие, кривятся все время нервно, мне это сначала не нравилось. Когда говорит, уголки губ начинают двигаться не одинаково, а каждый сам по себе. Сперва я приняла это за кривляние, к тому жив том, как он держал спину, голову, в том, как шевелились его пальцы, в походке мне сперва почуди-

лось высокомерие, выпендрож попросту. Кстати, мои подружки сразу так это восприняли, что прежде всего, пожалуй, меня и насторожило. Да и Тенгиз особенно предупредительно к Владике относился, заметить это не сразу можно было, а по косвенным признакам, но я-то Тенгиза знала.

Что я имею в виду, когда говорю, что насторожилась? Сама незаурядных, отмеченных людей узнать никогда не могла, реакция моя на них была такой же, как у Тamarочки или у Леночки, раздражала нервность, необходимость напрягаться, чтобы понимать — о чем они говорят и почему делают то-то и то-то. Но тут же спохватилась: если Тamarочку этот человек отпугивает, значит, в нем что-то есть, Тamarочкины реакции были для меня как лакмусовая бумажка. А уж сходить с Тamarой или Леночкой во вкусах я позволить себе не могла. Конечно, тогда все это подсознательно во мне происходило, это теперь могу взвесить и артикулировать. Впрочем, и после того, как я заставляла себя принять такого человека, внутри что-то продолжало сопротивляться, я как на качелях раскачивалась, уставала от этого. Был он года на два старше нас, далекий родственник Тенгиза, грузин наполовину, по матери. Его родители уехали отдыхать, квартира была свободна, и они договорились, что мы остановимся у него, а он будет ночевать у Тенгиза. В Тбилиси мы должны были провести два дня, дважды переночевать и ехать в Адлер, билеты были на руках.

Первый день помню сбивчиво. Встретились, ходили стадом по городу, Тбилиси ничем не запомнился. Ну, жарко было, платье липнет, взгляды встречных мужчин тоже липкие, масляные, преувеличенные ухаживания

мальчиков то смешат, то раздражают, неловкость оттого, что почти незнакомые так убиваются, чтоб тебя ублажить. Ну, лезли вверх сперва, потом лезли вниз, все время вопрос — удобно ли будет помыться в чужой квартире, на Куру глазели, в дымном подвале среди мужиков и гама пили из бочек какую-то красную бурду, потом томились в очереди на фуникулер. Залезли — дождь пошел, слезли — снова жара. Тамарочка — мама у нее была врач-терапевт в Красноярске, жили поблизости от какой-то музейной квартиры какого-то художника — заявила, что необходимо идти в картинную галерею. Пришли, топтались перед картинками Пиросмани, у нас на лицах, судя по подружкиным, была смесь чувств: уйти нельзя, одежда жмет, под мышками сыро, но и в святость происходящего слепо веришь, изображаешь благоговение. Одно облегчение в результате: отговорили мальчиков идти в ресторан, купили вина, фруктов на Малоканском рынке... Вот рассказываю и чувствую — не могу хоть какой-нибудь зацепки найти, чтобы объяснить, как все между нами началось. Когда вино пили, он первой мне протянул стакан, взглянул и потупился. Но это же пустяк, с этого ничего начаться не может. Еще раньше придержал за локоть на мостовой, потому что я не видела идущей машины. Но и это ерунда. Еще раньше? Но так я упрусь в то, как мы подали друг другу при знакомстве руки и назвали свои имена. Конечно, всегда есть соблазн объяснить все первым взглядом, то есть ничего не объяснять. Однако, если верить, что это все-таки объяснение и что так может быть, нужно и согласиться, что озарение в этих случаях как бы заранее подготовлено в каждом. Но в такую заведомую предназна-

ченность никому постороннему все равно не повернуть — не поверить, не понять. Впрочем, что это я заумничала? Все просто было, хоть одним словом и не назовешь: не романчик, не интрижка, не связь, не любовь. Да как в самом деле назвать нечто без начала и конца, в горячке, в трансе, не день даже, не ночь, один удар, точку пересечения?

Простите меня за многословие, но я не историю рассказываю, не случай или анекдот, говорить об этом не просто, да, видно, пришло время выговориться. Вы человек случайный, выслушаете и забудете, а то — накатило, не уснуть. Да и ночь ненормальная какая-то, слышите?

— Раньше говорили: воробьиная ночь.

— Кстати, как я сказала — точка пересечения? Сказала и вспомнила, что дом на углу стоял, на пересечении улиц Камо и Марджанишвили, в двух шагах от набережной. Вам эти названия ничего не говорят, а мне помнится. В их созвучии для меня точно первый аккорд...

Марджанишвили улица презанятная, каменные добротные дома, платаны, большой продуктовый магазин, много мелких лавочек на левой стороне, справа — тоже лавочки, но не съестные, хозяйственные, ювелирный магазинчик, полный таких вещиц, что от витрины не отойти, на углу — «биржа», то есть место, где встречаются мальчишки-бездельники, «биржевики» на тбилисском жаргоне. Выходишь к реке мимо сквера и театрала, открывается вид. Где-то читала, что Тбилиси похож на этажерку. Что там, на свалку этажерок, между полком проросли деревья, цветы. Впрочем, от того дня

остался отчего-то один мост. Шли уже к Володиному дому, позади душный день, впереди вечер, и мост посередине — черное, металлическое, тяжелое тире...

Первые два часа дома — все как по нотам. Стол, застольная неловкость, вино и танцы, неловкая развязность, на улице темнеет, свет интимный. Битлзы в большой моде, и у Володи записи последние, мы танцуем все чаще с ним, девчонки злорадно приглашают Тенгиза, а у того растерянные и больные глаза. Будто он про меня все уже тогда знал заранее. Впрочем, и сейчас мы с Володей слова не сказали друг другу. Он и днем-то обращался или к Леночке, или к Тамаре, а меня пропускал, и я все себя осаживала, чтоб на него не смотреть. Непонятно, да как же так: мы даже не говорили друг с другом ни разу, а все уж поняли, что: к чему, хоть внешне ничего ровным счетом не произошло? Мне и самой непонятно. Впрочем, в компании всегда так — коли температура в отношениях одной пары начинает расти, остальные друг к другу точно охлаждаются, а вокруг влюбленных возникает поле ревности, зависти, злорадства,— и это только подталкивает их друг к другу... Странное у меня было состояние. Дневная неловкость и усталость переплавились в бесшабашный подъем, лицо сухо горело, внутри что-то воспалилось и напряглось. Я и заранее встала в позу независимости от Тенгиза, будто не он мне — я ему делаю одолжение своим визитом, а теперь почувствовала себя и вовсе ничем не связанной, пила, танцевала, хохотала, не замечая, что у Володи уж пальцы дрожат, когда прикуривает, что у подружек глаза на лоб лезут, что у Тенгиза лицо осунулось, а третий их приятель всеми начисто забыт...

Представляете вы себе тбилисский двор? Сейчас расскажу, как он выглядит к ночи. В середине непременно что-то растет, не буйно, робко, как будто по недосмотру. От этого ли, извне ли — пахнет сладко и свежо до духоты. Пахнет небо, зрелое и близкое, пахнет улицей, пылью и бензинным душком, пахнет из квартир — жильем, стираным бельем, пряной пищей, вином, уютом. Запахи мешаются со звуками, с обрывками приглушенной речи, с не имеющими обозначений на нашем языке нотами, однако никого не видно. Жизнь копошится на увитых виноградом балконах, неразъединенных, окружающих двор по периметру каждого этажа, и все вместе — звуки, запахи, свет окон и свет звезд в прогале между крыш — не розно, а слитно, точно ты попала за кулисы театра, где идут приготовления к одному большому представлению. Эта связанность и демонстративность многих чужих жизней волшебным образом не похожа на бытие в холодных коробках, в бетонных сотах, где каждая жизнь запрятана от других жизней, каждая квартира имеет свой номер и ключ, свой почтовый ящик и шторы, и кажется, что, коли люди так ограждают себя от других, значит, за каждой дверью происходит постыдное... Впрочем, чтобы так все это почувствовать, надо не просто выглянуть в окно, а, приехав в Тбилиси, быть взвинченной и усталой, надо посреди танцев выйти на балкон разгоряченной, руки еще влажны от его рук, спиной чувствуешь, что придет к тебе сейчас то, о чем лишь догадывалась, и испытываешь нежность ко всем этим милым невидимым жизням, да такую, что растроганно готова от собственной отказаться, и хочется жить только здесь, в этом доме, чтобы всегда стоять на

этом балконе, вслушиваться, замирая, зная, что сейчас он выйдет к тебе. Не говоря уж о том, что тебе должно быть двадцать лет, ты должна впервые быть отпущена из-под родительской опеки, проинструктирована так подробно и плаксиво, что почти сознаешь невозможность не преступить этих наставлений. Разумеется, я не понимала уже, что со мной происходит, стою, дрожу, хоть ночь теплая, приотворяется створка, он бесшумно становится за спиной. Помедлив, говорит странным голосом: Тенгиз ушел.

Вы думаете, я почувствовала себя как водой оканченая? Протрезвела? Испытала угрызения совести? Ничуть не бывало. Я лишь остро почувствовала, как фальшива была ситуация до сих пор, поняла, что едва увидела его — сделала выбор, что целый день его сама к себе подманивала, что и приехала-то, собственно, не к Тенгизу, а только чтоб его встретить, и испытала захватывающую радость при этом его сообщении. А что его голос дрожал, так это от волнения по моему поводу, я полагала... Слушаете и думаете небось: ну и стерва же девка! Стерва, стерва, еще какая.

— Ушел? — переспросила я, чтоб радость свою не выдать — безразлично. — А девочки?

Он взглянул на меня. Я, сообразив, что не то ляпнула, покраснела, но в темноте он этого не видел.

— Они ушли в свою комнату, — сказал он. Предполагалось, что мы можем разместиться каждая в отдельной комнате, квартира была огромной, но девочки отказались, заняли дальнюю, где было только две кровати, я же решила оставаться в большой комнате на диване.

— Они спать хотят, — прибавил он.

Конечно, спать они хотят! Да они небось сжались, как мышки, ждут не дождутся, что дальше будет.

— Я... должен идти. Там... постелено.

Он сказал это, но, разумеется, продолжал стоять.

Надо рассказывать, что потом было? Стоял-стоял, сделать ничего не может, сказать тоже, причины его неуверенности я по-своему истолковала, ткнулась в него, в щеку чмокнула. Вот, скажете, взрослая баба, а такие пустяки через пятнадцать лет рассказывает. Конечно, смешно, но только после хоть тысячу перецелуй — так, как он тогда, ни один не вздрогнет. Все обычные сравнения здесь слабоваты будут: не током ударило, не кнутом хлестнуло, это все ощущения только болевые, скорее — я на разгоряченное лицо влажный компресс положила. Вздрогнул и застыл. Будто и протянуть этот миг хотел, шевельнуться боялся, чтоб не спугнуть, но если сказать: не двигался, чтоб боль не повторилась, — и это верно будет. Этот сплав боли и блаженства так на его лице и остался...

Потом, потом... Да нет, в ту ночь на балконе ни до, ни потом уж не было, все слилось.

Эту ночь поэтапно рассказать нельзя: мол, сперва целовались, потом в постель легли, — время сплошь текло, без перерывов, начало было концом, конец началом, поцелуи — страхом, боязнь друг друга — отсутствием стыда, сладость — мучением, слов не разобрать, одна дрожь общая. На мне, помню, кофточка была на мелких-мелких кнопочках, и он эти кнопочки целовал по одной, а я впервые узнала ощущение, будто тебя погружают медленно в теплую воду, однако целомудрен-

но все было до смешного... Он ушел под утро, с серым лицом, как пьяный шатаясь. Я тоже была измучена, упала на диван, едва дверь за ним закрылась, блаженно уснула. Спала часа три, проснулась с испугом, точно проспала что-то. Солнце било в окно, в прямых лучах слоями растекался густой утренний кавказский воздух. Тела у меня не было, ничего моего не осталось, я встала и сразу же принялась парить по комнате. Не в переносном смысле, в буквальном. Впервые я была в состоянии отделиться от пола, от других предметов, а вещи в комнате плыли навстречу, подчиняясь взгляду. Сперва подплыло большое зеркало. Я увидела в нем себя в трусиках и лифчике, худенькой, с мурашками по предплечьям, грациозной невыразимо, красивой донельзя, с личиком заспанным и розовым, с губами набухшими и детскими неосмысленными глазами. Поплыл гребешок, я провела им по растрепанным волосам. Подплыли дорогие коралловые бусы, наверное мамини, легли на грудь, в них я перепорхнула ковер, сладко потянулась над ним в воздухе и пробежала взглядом по каждой строчечке персидского узора. Бусы шли мне бесконечно, как и кисть винограда, впрочем, которую я, пролетая над столом, ухватила. Я казалась себе сошедшей с какой-то полузабытой картины в дорогой позолоченной раме, с густо положенными на большое полотно яркими и теплыми красками. Паря над трюмо, я заметила почтовый конверт, небрежно надорванный так, что вокруг места надрыва шли разлохмаченные заусеницы. Особым, парящим взглядом прочла мелкие с высоты буквы адреса, письмо было адресовано ему. Не знаю, как оно оказалось у меня в руках. Воровато оглянув-

шись на комнату, из которой доносилось дыхание спящих подружек, мигом схватила то, что было написано круглым почерком на двух страницах единственного листка. Это был одно — с начала до конца — признание в любви, признание неумное, с многими невнятистями, но, без сомнения, очень плотское. Кончалось письмо жалобами, что ее забыли, и тем, что она целует каждую клеточку его тела. Сперва я решила, что письмо написано взрослой женщиной, потом, поглядев на обратный адрес, обомлела: там значились имя и фамилия удачно снявшейся тогда в фильме популярного режиссера молодой актрисы, едва ли даже моей ровесницы. Сейчас актриса куда-то запропастилась, но тогда о ней много писали, и главное — она была так красива на экране!

Ревность, без сомнения, страсть творческая. Я тут же почувствовала себя перешедшей с картины, покинувшей неоглядный пушистый ковер, столик с чашей алого вина и раскатившимися гранатами, на экран, на дивный морской пляж, ибо в письме неоднократно упоминалось проведение времени на Пицунде, стала бархатно загоревшей, нацепила интригующие темные очки и закурила длинную сигарету с золотым мундштуком. Я сунула письмо в конверт, как могла небрежно устроила его на прежнее место и отправилась в ванную, разрываясь от горечи и гордости. Едва я сбросила с себя все, призадернула полупрозрачную занавеску, пустила воду и намылила голову, как раздался шум за дверью, ко мне постучались. Я крикнула из-под воды, что отперто, полагая, что это кто-то из девочек, почувствовала,

что вошел он. В первый момент я испугалась, что случилось дурное, забыла, что стою голая.

— Хочешь клубники? — спросил он. — Я зашел по пути на рынок. Хочешь?

— Сейчас выйду... спасибо... очень хочу.

Он не уходил. Тогда я взглянула на себя его глазами — глазами, читавшими недавно письмо актрисули. Занавеска сильно просвечивает, видны одни контуры моего тела, мои худые в мурашках ноги, представившиеся мне сейчас вполне лягушечьими, моя съезженная от холодной воды грудь. И тут же его глухой голос — или за шумом воды казалось, что глухой:

— Дай мне бритву. Там... на полке.

Его рука потянулась в прогал, я едва успела рассмотреть полочку, на которую он указывал, как мыло попало в глаза, я зажмурилась, наобум тоже протянула руку. Наши пальцы встретились, руку его била дрожь, передалась мне, глазам было больно, рука моя мокрая, скользкая, чувствую, он целует ее, сперва кисть, потом локоть. Я барахтаюсь под струей, свободной ладонью тру глаза, лишь сильнее втирая мыло, от стыда, что он видит меня голой, ежусь, сжимаю ноги, скольжу, почти теряю равновесие, и вместе горячая волна подступает снизу, вздохнуть нельзя, мыло щиплет, непроизвольно рот открывается, какой-то стон вырывается у меня. Раздается грохот, ванна ходуном заходила от удара, что-то тяжелое шлепается об пол, и рука, которую он целовал только что, оказывается свободна. Когда я наконец смогла открыть глаза, увидела, выглянув из-за занавески, что он сидит на полу, мотает головой, рот приоткрыт, ловит воздух, глаза мутные и бессмысленные.

Владик, Владик, шепчу я, что с тобой, хотя понимаю уже, что это обморок, хочу помочь ему, но нет ни халата, ни полотенца. Через секунду он пришел в себя и вышел.

Что я чувствовала, когда шептала: что с тобой? Чувствовала, что все для него сделаю, испугалась, наверное, но вместе — сладко было это шептать. И то именно, что сладко, многое определило, я власть над ним почувствовала, еще не остыв от ревности, да еще в таком возбуждении... Я оделась, вышла, он сидел на постели, на разбросанном белье, на котором я спала, и пил красное вино из длинного бокала. Лицо белое, под глазами круги. Он слабо улыбался, он выглядел как человек, принявший решение, связанное с унижением, осунулся, покорился.

— А где Тенгиз? — спросила я, непроизвольно закрепляя успех, тут же поняла, что попала в точку.

Он еще больше ссутулился.

— Тенгиз не придет.

Я присела напротив, он допил вино. Мне было видно, как двигается его кадык.

— Мы с Тенгизом — братья, — сказал он. Губы его были красными от вина, он облизнул их.

Я молчала. Клубнику он успел пересыпать в вазу, и я алчно уставилась на нее... Его обморок, его согбенная фигура, его дрожащий голос, жадность, с которой он пил, моя ревность, моя жалость, моя победа... И он ничего не говорил, смотрел на меня просящим взглядом. Тут я почувствовала, что у меня болит зуб. Нижний, коренной. Иногда, если продует, у меня случались флюсы,

щеку распирало, а перед этим возникала ноющая боль, как сейчас. Ночью продуло, подумала я...

Странно, прекрасно помню полочку, на которой лежала бритва, млечно-мутную занавеску, горку алых ягод в пупырышках и росе. Не помню только своего впечатления от его обморока, точно каждый день мужчины грохались передо мной в обмороки, целуя мне руки. Расскажи нечто подобное Тamarочка — ни за что бы не поверила. Теперь, задним числом, для меня в этом обмороке — чуть не отгадка всего, тогда же...

— У меня болит зуб, — сказала я. Приложила ладонь к щеке, щурясь на жаркое солнце, уже близко стоящее в окнах.

Он опрокинул бокал, стекло задребезжало, капля вина выкатилась и расплылась багровым на скатерти.

— Сейчас... анальгин. Сейчас я найду...

— Не надо анальгина.

Однако ждала, пока он шарил по ящичкам, потом раздраженно жевала таблетку, запила заботливо принесенной водой. Зуб ныл. Как я жила до этого дня? Институт, подружки, походы, вечера — будни перед праздником. И вот праздник настал, но я думаю о пустяках: о флюсе, о какой-то хинкальной, в которой непременно надо побывать, о Тбилисском море, на которое надо ехать... Нет, фигушки, на море не поеду, думала я, не глядя на него, тоскливо упирая в больной зуб язык.

Поднялись девочки. Прошли мимо, на нас не глядя, лица надутые, я уж предвидела их совместную оппозицию и капризы, вместе заперлись в ванной, принялись

возиться, шушукаться... Я тоже стала собираться. Он долго глядел на меня, молча, виновато.

— Куда ты? — спросил наконец.

— Никуда, — пожала я плечами и снова взялась за щеку, вспомнив о спасительном зубе.

Девочки вышли из ванной, так же гордо прошествовали обратно. Мне надо было что-то решать. С ними и с Володей провести день вместе мне представлялось невыносимым.

— Помоги мне приготовить завтрак, — попросил он.

— Мы поедем в городе.

— Но я не могу вас одних отпустить.

— А ты смочи, — бросила я нагло. — Я девчонок не могу оставить... Мы будем часа через два! — крикнула я ему, когда мы втроем, расфуфыренные, выходили из квартиры... Знать бы заранее, как дорого все это обойдется...

Глава 16

И вот — первые наши самостоятельные шаги по тбилисским мостовым. Сперва все хорошо: платаны, витрины, солнышко, только лица подружек все еще надутые, а Леночка даже бросила: он что, ночевать оставался? Я изобразила возмущение. Однако уже в скверике у театра за нами увязались трое парней. Ра-каб-калишвили, твердили они на разные лады, цокая языками так, что смысл выражения делался ясен без перевода: ра-каб-калишвили. Подружки мои вышагивали,

как принцессы, помахивали сумочками, здоровые, белые, ярколицые — ра-каб-калишвили, — но оставались непроницаемы, меня же заинтересовали эти мальчики, лет по семнадцати, одетые провинциально, но вместе с некоторым несомненным здешним шиком. Долго сдерживаясь, я все же обернулась и улыбнулась. Реакция была неожиданная. Игривые интонации сменились вызывающими, они догнали нас, шли вплотную, чуть не наступая на пятки, один, пониже ростом, все время выскакивал вперед, пяtilся перед нами и выкрикивал что-то по-грузински. Прохожие оглядывались, лица же наших преследователей все больше напоминали туземные. Со стороны, думаю, можно было решить, что мы оскорбили национальную святыню. Приятели улюлюкали, свистели, прыгали, мы прибавляли шагу, но это дела уж не меняло. Отстаньте, чего вам, забубнили Леночка с Тamarой, но те лишь кричали, размахивали руками, а один, коренастый, показывал то на Леночкину толстую ногу, то хлопал себя по плечу. Нам оставалось только спастись бегством. Они отстали лишь на проспекте Руставели. От волнения каждая выпила стакана по четыре логидзевской воды, при воспоминании об этом у меня и сейчас отрыжка, что делать, дальше было не сообразить. Было не рано. Хотелось есть. Мне пришла в голову удачная мысль. Пойти в обычное кафе или в ресторан нечего было и думать, выход был один: ресторан при гостинице. Там все приезжие, там мы будем среди своих. Так и сделали. За обедом выпили бутылку вина, которую нам принес официант без нашей просьбы. Девочки смягчились. Тамарочка сказала даже, что Володя «ничего себе парень», и спросила, не приглашал ли он

меня кататься на мотоцикле. О мотоцикле ей рассказал Тенгиз, я поспешила заверить, что не приглашал. Тогда же выяснилось, что обе они на мотоцикле катались по многу раз и совсем не боятся. Мы вышли из гостиницы в прекрасном настроении. Когда мы были на тротуаре, рядом остановилась белая «Волга». Дверца распахнулась, водитель вышел из машины и направился к нам. Он не был похож на грузина, одет немисливо — в какой-то полосатый светлый костюм очень иностранного вида, — красив экранной, не уличной красотой. Он прищелкнул пальцами смуглой руки, как бы прося нас не торопиться, несуетливо и с достоинством подошел, церемонно обвел глазами наши лица и ослепительно улыбнулся.

— Я вижу,— сказал он почти без акцента, — вы — гости нашего города.

Мы кивали, немые.

— Я вижу, — продолжал он, — вы приехали из Москвы...

Девочек впервые, должно быть, приняли за москвичек, они кивали особенно энергично

— В нашем городе, знаете ли, к большому сожалению, не всегда приятно ходить пешком. Особенно... — Незнакомец ухмыльнулся уж вовсе обворожительно.

Вспомнив происшествие в сквере, мы не могли с ним не согласиться. Он небрежно согнул руку, но не отдернул рукав пиджака и на часы не взглянул.

— У меня есть немного времени... Я увидел вас совершенно случайно... но, понимаете ли, грузинское гостеприимство,— продолжал говорить он, — мы, тбилис-

цы, подчас сами от него устаем, но традиция есть традиция...

Мы не заметили, как оказались в его машине. Тронулись с места, незнакомец отрекомендовался архитектором. Разговор пошел снова о Тбилисском море — далось оно им, — мы признались, что еще не были там. Он ужаснулся. Я, впрочем, энергично запротестовала, когда он безапелляционно объявил, что сейчас же повезет нас туда. Мы отсутствовали уже не меньше трех часов, девочки же молчали, я расценила это как поддержку. Мы колесили по улицам, по старому городу, неизвестно как в машине оказался еще какой-то приятель нашего гида, волосатый, с варварским произношением, его мы будто невзначай подцепили на каком-то углу... Нужно ли объяснять, что было дальше? Машина уж мчалась по шоссе прочь от города, мужчины не отвечали ни на вопросы, ни на просьбы, глаза их наливались при взглядах на нас. Я потребовала остановиться, они лишь отрывисто что-то сказали друг другу по-своему. Тогда на полном ходу я распахнула дверцу. Между мной и приятелем сидела Лена, Тamarочка же — рядом с водителем, и грузин не смог до меня дотянуться. Я уже вываливалась наружу, услышала Леночкин визг, когда машина резко затормозила. Я шмякнулась на асфальт, больно ударившись коленом, и повернула ногу, вскочила и, закричав от боли, от страха, заковыляла на середину шоссе. Девочки мои кинулись за мной. Леночке приятель так сильно сжал руку, что у нее тут же посинел локоть, а водитель успел прижать на переднем сиденье Тamarочку, разорвал ей кофточку на груди и сбивчиво уговаривал ехать дальше, обещая

деньги... С руганью они развернулись и помчались к городу, мы же, униженные и побитые, поплелись пешком, шараясь от машин, которые притормаживали, чтоб нас подвезти. Колено мое было разбито в кровь, я сильно хромала, девочки прослезились. Впрочем, Леночка прогундосила, хлюпая носом, что-то в том духе, что во все не обязательно мне было выскакивать и ее пугать. Я даже про колено забыла на секунду от удивления. Обе они как-то разом подурнели, смялись, оказались потерянными и непривлекательными. Кажется, они жалели, что их не изнасиловали... Часов около восьми, в сумерках, мы вылезли из автобуса на углу улицы Камо. Рядом с остановкой продавали арбузы. От переживаний, страха, волнения и стыда внутри живота я чувствовала холод. Невесть зачем я решила купить арбуз, выбрала огромный, взвалила на себя. Зачем мне понадобился арбуз — не знаю, быть может, была какая-то наивная надежда отвлечь этим арбузом его внимание. С трясущимися губами, с вспухшими глазами, с разбитым коленом и арбузом на руках шла я по лестнице к его квартире. Девочки плелись за мной, у меня же ноги подгибались от страха. Открыл дверь он сам и так быстро, точно все время стоял у входа. Не забыть взгляд, которым он меня окинул, когда я возникла перед ним на пороге. Губы у него тоже прыгали, а в глазах было и безумное беспокойство, и такой же, как у меня, страх, и в то же время страшная злость. Он посмотрел на мой рот, на мои веки, мои волосы, мои руки, обнимавшие и прижимавшие к животу огромный арбуз, отвернулся и пошел вперед. Я шла за ним и очень хотела, чтобы он меня ударил, и очень радовалась, что колено он, кажется, не заметил, я

смогу проскользнуть в ванную и смыть незаметно запекшуюся кровь.

— Обмой марганцовкой, — сказал он, не оборачиваясь, — я дам тебе йоду.

Я свалила арбуз на диван, плюхнулась рядом, спина у меня задергалась, я не смогла сдержаться и заревела. Леночка с Тamarочкой тоже поскуливали. Володя звонил кому-то по телефону. Сперва он говорил по-грузински, потом по-русски: да-да, все в порядке. Оказалось, у них с Тенгизом какой-то родственник работал в милиции, пока Володя ждал нас дома, Тенгиз носился по городу с милиционером на мотоцикле. Попрощаться с нами, впрочем, Тенгиз не пришел.

Володя так ни о чем меня и не спросил. Весь вечер у него в глазах стояла такая боль, какой я ни у кого ни разу не видела больше, но я не могла заставить себя что-то ему рассказать. Я скорей пытку выдержала бы, чем созналась в том, что произошло. Хоть и понимала, что молчание мое может быть истолковано как угодно. Однако на миг то и дело прорывалась в нем и не менее страшная радость, и вдруг он взглядывал с пугающей робостью. Флюс раздувался, колено ныло, я чувствовала себя последней дрянью, он же нянчился со мной, а мне по-прежнему хотелось, чтоб он ругал, презирал меня. Впрочем, на миг нечто похожее на омерзение проскальзывало в выражении его губ, он застывал на мгновение, преодолевая горечь и боль, и тогда я смотрела на него со страхом. Но он не прогонял меня, и надрывная нежность к нему отпускала. Только позже я поняла, что мучила его не обида — ревность. Но то, что я не изворачивалась и не лгала, постепенно его успо-

коило. — Арбуз оказался очень сладким. В молчании вчетвером мы съели его, потом часа два смотрели телевизор. Атмосфера была какая-то больничная. Володе хотелось небось сбежать из собственного дома, но он вел себя терпеливо. Девочки мои как-то разобрались, какая-то неряшливость разом в них появилась: и в том, как на чулки надели босоножки, и как ремешки незастегнутые тянулись по полу. И причесались кое-как, одна все чай дула из большой кружки, другая отчего-то почесывалась... Я лишний раз изумилась тому, что делает общежитие с девчонками. Ведь обе жили когда-то при матерях, обеих воспитывали, за обеими ухаживали. Но привычка к общежитскому полуконфорту, полупокою, к тому, что никогда не тихо и нельзя побыть одной, что-то убила в них, и они научились вот так жаться одна к другой, не стесняться посторонних, а если парень не имел к ним отношения, то могли тут же забыть, что рядом мужчина... Разошлись, лишь когда досмотрели программу до конца. На этот раз Володе идти было некуда. Не было больше ни поцелуев, ни сидения на балконе, но я чувствовала себя настолько разбитой, что была даже рада его отчужденности. Заснула я сразу, спала дурно, проснулась среди ночи: темно, душно, тело ноет, щека болит. Он сидел у меня в ногах и смотрел на меня.

Сначала я испугалась. Точно короткие вспышки освещали все, что узнала за эти два дня. Вот он чужой, вот рядом, и это волнует меня. Вот совсем близко, кожа его сильно и отчетливо пахнет, я чувствую его руки. Вот он смотрит на меня так, будто он мой навсегда, я отворачиваюсь, улыбаясь. Вот, наконец, я знаю, что случилось непоправимое, что он не простит меня никогда, но все

же надеюсь на что-то... Все это промелькнуло еще в полусне, инстинктивно я подалась к нему, потянула руки, лицо его судорожно исказилось, он обнял меня, и так, тихо обнявшись, мы лежали долго и не шевелясь. Потом он стал целовать меня, и я пыталась заглянуть в его глаза, и мне это не удавалось. В окнах стоял уже утренний полусвет. Он лег рядом, вытянувшись во весь рост, между нами совсем не осталось места, как вдруг он откинулся на спину и затаил дыхание. Он ничего не забыл, я ничего не объяснила и собиралась улететь завтра в девять сорок пять. Я спала почти одетая, и он не попытался расстегнуть на мне ни единой пуговицы, и это, и то, что я улетаю, и его молчание ожесточило меня. Я тоже сжала зубы и тоже лежала не дыша. Я чувствовала, как все внутри мертвеет, будто совершена со мной страшная несправедливость, обида не давала набрать воздуха. Он не простил меня, но все равно целует и ласкает, и это казалось обидным, и лицо стало горячим от слез. Он провел рукой по моей щеке, стал целовать мое лицо так жадно, так сильно сжав голову в ладонях, что шее было больно. Он снова прижался ко мне тесно, навалился сверху, потом крупно задрожал, я почувствовала на щеке слюну его губ, тело его на мне разом стало больше весить. Я снова, второй раз за вечер, горестно разрыдалась. Что мешало нам — какая неисправность в каждом, какой изъян? — так нуждаясь друг в друге, найти верное: тон, слово? Ведь мы имели все — молодость, свободу, наши души, казалось, были еще не загрязнены, мы сами не были еще усталы. Так отчего ж мы так не верили один другому? Я проснулась во второй раз, солнца не было, и шел дождь, и вода бежала

мимо стекол и стучала внизу обо что-то железное. По комнате громко ходили девицы, суетились, собирали вещи. Я встала с трудом, пустая, одинокая, с холодной тоской внутри. Он брился в ванной. Закинул голову, брил шею, на бритве собирались испещренные черными жилками белые хлопья. Увидел меня в зеркале, обернувшись, кивнул и порезался. Досадливо смыл мыло, отирал шею полотенцем, но кровь сочилась под подбородком. Я отвернулась. Он не мог рассмотреть порез, и Тamarочка помогла залепить порез пластырем, но мне было все равно: Тamarочка так Тamarочка... Завтракали наспех, он, кажется, был даже весел. Шутил, помогал Леночке разбить яйцо, достал бутылку вина и заставил всех выпить. Я выпила равнодушно. Пусть мы расстанемся, думала я, пусть, так надо, так лучше... Почему? Зачем? Кому?

Он взял мою сумку, в другую руку — Тamarочкину, мы вышли из дома под дождем. Он почти не смотрел на меня, я же внимательно, с каким-то посторонним интересом, на него взглядывала. Свеж, подтянут, чужой пластырь на шее, ничего моего, а у меня — только пустота, только флюс, только боль в коленке. Когда шли по улице — пропустили подружек вперед. По-прежнему равнодушно я думала: ведь, собственно, и ехать никуда мне не хочется, я вполне могла бы остаться, и всем было бы лучше... Нет, возражала я себе, не хочешь же ты, чтоб он увидел тебя, когда щеку вконец разнесет? И потом: если он в тебя влюбился, так и другие влюбятся, и будет еще столько всего, и вовсе незачем оставаться... Да-да, мы должны были с ним расстаться, мы даже адресами не обменялись, мы ни слова не сказали друг

другу — увидимся ли, напишем ли, — а я думала именно так, и его веселость несколько не огорчала меня. Словно то, что произошло, происходило со мной не впервые, а каждый день...

— Люда, — позвал он, — я смогу прилететь в Адлер уже послезавтра. На работе я договорился.

Он сказал это так, точно все само собой разумелось, я не сразу поняла — о чем он говорит.

— Да нет, зачем... — пробормотала я.

— Что зачем? Я молчала.

Он остановился.

— Хочешь, я поеду сейчас. Забегу домой, схвачу сумку и полечу с вами?

— Нет-нет, — прошептала я уже испуганно, — не надо, не надо...

— Ну не надо сумки! Черт с ней, с сумкой. Так полечу, деньги с собой...

— Нельзя, — сказала я.

— Из-за них нельзя?

Я неопределенно качала головой, стараясь повернуться к нему так, чтоб флюса не было видно.

— Тогда оставайся ты, — жарко сказал он. — Поверь, это хорошо... это... можно, поверь...

Я отворачивалась молча, он истолковал это как стыдливое согласие.

— Хочешь, я крикну им, что ты останешься, хочешь, хочешь? — твердил он восторженно.

— Да нет же, нельзя! — вскрикнула я резко. — Что ты придумал!

В растерянности он поставил сумки на землю, я проворно подхватила свою. Побежала было, уже чувст-

вужа, что сейчас снова зареву, вернулась, подхватила Тармарочкину сумку и, вихляясь под тяжестью, путаясь ногами, заковыляла прочь, вздрагивая от стыда, сопя, подвывая, но и будучи убеждена, что он сейчас меня нагонит. Но он не нагнал...

— Батюшки, так и не нагнал? — охнула другая.

— Только на той стороне реки, пробежав мост, я не выдержала и оглянулась. Он, видно, медленно шел за мной, потому что сейчас стоял на середине моста и смотрел в воду. Кажется, Он даже сплевывал вниз как ни в чем не бывало, но меня отчего-то особенно поразило то, что он плевал, и мне показалось, что у него такая поза, словно он хочет броситься вниз...

— Да как же?

— Не знаю, не могу понять, хочу и не могу. Помню, когда обернулась, больше всего на свете хотела вернуться. То есть вернуть всё, что сама уничтожила, но ведь это уж было непоправимо. А подружки глазели на него на мосту с таким любопытством, с таким злорадством глядели на мою зареванную морду, что я и дальше бежала бегом к автобусу... Уже сидели в самолете — вспомнила, что утром этим, когда причесывалась, волосы собрала с гребенки и выбросила в окно. Понимаете, выбросила, а значит, по примете — что-то на ветер пустила. И вот это-то убогое соображение меня, как ни странно, успокоило. Это как у вас с веником. Это мне на какое-то время объяснило происшедшее, да ненадолго. Дура была, совсем молодая...

— Так и не свиделись?

— Нет.

— И посейчас вон как переживаешь. А что переживать, твоей вины здесь нет. Ты вроде как не в себе была...

— И вы так думаете? Вот и я теперь считаю, что наваждение какое-то на меня напало. В припадке была, в безумии, ничего не понимала, да только это утешение-то слабое. Но больше всего меня мучит: отчего болезнь была? Объяснение мне нужно, а его я никак не найду. Притом история-то типична. Ну, не с такой разве что силой эти банальные истории обычно происходят, не в два дня — здесь уж все больно концентрировано, и страсть, и ревность обоюдная, и самолюбие, и инфантильность,— всего этого и на год может хватить. Но результат тот же: все сперва в руках, потом пустяки, цепляющиеся один за другой, паутина пустяков,— и нет ничего, все в песок ушло, меж пальцами просочилось, и виноватых нет. У меня есть знакомая, гинеколог, тоже одинокая, но я не о том. Кажется, к ней-то по пустякам не ходят, оказывается — вполне распространенный случай, когда приходит на осмотр красивая тридцатилетняя женщина, с образованием, в жизни устроенная, по медицинской части у нее все в порядке, сядет и говорит: знаете, доктор, меня ничего не беспокоит, но только я уже полгода в пустыне. Даже выражение такое появилось: столько-то в пустыне, столько-то...

— Да что, у нас вон бабы годами мужиков не знают. Какая, конечно, каждый день с другим лежит, но это все равно что одной...

— И не понять — почему так. Помните, я говорила, что за каждым пустяком должно главное стоять, «ради чего». Так и в любви. Нет, я не говорю, что, мол, мама

меня неправильно воспитала... и все такое, мама моя ханжой не была никогда, но этого «ради чего», лежащего вне регламентов, установлений, порядка, мне привить некому было, это точно, в загсе этого тебе вместе с колечком на блюдечке не преподнесут. И если в тебе этого «ради чего» нет, то ты и тычешься, как слепой котенок, что делать — не знаешь, кто ты — не понимаешь, женщиной себя никогда не почувствуешь. А без этого и семья становится лишь бременем, мучительством, издевательством. Оглянитесь, теперь и детей никто иметь не хочет, скоро дети только по недосмотру будут рождаться. Семьи-то захудалые, неполнокровные, формальные... Впрочем, меня тут же можно обвинить, что я как одинокая женщина говорю, у самой, мол, жизнь не сложилась, она и поливает всех остальных. Да только жизнь моя не сложилась с какой-то очень узкой точки зрения, впрочем, кому дано объективно судить? Лучше дорасскажу, ведь у истории у этой продолжение было, окончательный финал, если можно так выразиться.

Отпуск был скомкан. С подружками я еще дальше разошлась, пока мы валялись на пляже, и они флиртовали с местными пляжными соблазнителями. Бродила одна по городу, как контуженая: не плакала, в общем-то особенно не переживала, а отупела и опустила. Только осенью в Москве пришла ко мне такая боль, такое одиночество и потерянности, о каких не расскажешь словами. На улицах то и дело искала глазами его, никого не могла видеть, ничего не могла делать: ни заниматься, ни сидеть на лекциях. Днями шлялась по улицам, с самых дешевых любовных фильмов, на которые забредала, как завзятая прогульщица, уходила в слезах,

вздрагивала от каждого телефонного звонка, будто он мог позвонить, бегала сто раз на дню к почтовому ящику, точно он мог написать. К октябрю, что хуже всего, перестала плакать, только худела, молчала, а коли мама подступала с уговорами, орала на нее страшным голосом. Писала ему километровые письма, некоторые окончательно безумные, такие, что не только ему — ни единому человеку на свете показать нельзя, но вдруг сообразила, что к празднику могу-таки отослать поздравительную открытку, ничего не значащую. Полмесяца я только и делала, что составляла текст, исписала почтовых карточек сотню, содержание было глупей глупого, дней за восемь до седьмого ноября решила, что пора. К почтовому ящику опускать открытку шла как на свадьбу, бросив, к вечеру же стала ждать ответа. Гадала, о чем он подумает, когда получит это поздравление; то уверяла себя, что он обрадуется и все станет на свои места, то не находила места от стыда, что лишь посмеется, а то накатывал страх, что он вовсе забыл меня, приступы ужаса заканчивались тем, что подскакивала температура, и я не могла встать с постели. Иногда я доходила до полного сумасшествия, твердила про себя фразы из письма актрисы, которое прочла у него, чувствовала, что сама себя режу тупым ножом, но не могла остановиться. Но, к счастью, сама острота этих приступов делала их скоротечными, мне удавалось быстро уверить себя, что «после всего» он не мог меня забыть. Дни шли, я ждала, прошла почти неделя, ответа не было, я то и дело смотрела на часы, чтоб проверить, сколько прошло минут с тех пор, как я была у почтового ящика в последний раз. Вечером я подстерегала поч-

тальяоншу, она вручила мне конверт, он был адресован отцу. Я поняла, что не выдержу. Сделав первый шаг, я готова была на второй. Получив предпраздничную стипендию, я решила лететь на праздники в Тбилиси. В лихорадке наврала что-то несусветное маме, собралась в минуту, ничего не взяла, кроме сумочки, на такси покатила в аэропорт. Билетов, разумеется, не было, но безумное мое решение придало мне таких сил, внушило такой авантюризм, какого ни до, ни после во мне уж не было никогда. Я выбралась на поле, нашла экипаж, тбилисского самолета, врала несусветное и им: что мой жених в армии, что он пролетом в Тбилиси один день, что это — один шанс нам увидеться в этом году. Наверное, я была в таком трансе, слезы катились из глаз, и врала так трогательно и натурально, что они взяли меня, смущенно поглядывая на мой вполне плоский живот. Я летела в кабине, сперва вид Москвы внизу меня несколько успокоил — я добилась своего, — но к концу полета снова разрыдалась, вспомнив, что никакого жениха у меня нет, я в мире одна, а он — меня забыл. Я рыдала так, что деньги взять с меня пилоты отказались... И вот я подкатываю к его дому. Что творится со мной — не передать, будто от того, окажутся ли на месте знакомая улица, знакомый перекресток, все и зависело. Все, впрочем, оказалось на месте. По лестнице я поднималась, скрючившись от страшного ощущения внутри, внизу живота. Это был адский страх. Я была уж перед самой дверью, как услышала этажом ниже голоса. Не помня себя, бросилась на пролет вверх, голоса стихли. На цыпочках я снова приблизилась к двери. Чувство, что пришла воровать, лишь усиливалось. Я, тря-

сясь всем телом, нажала кнопку звонка. Открыли так быстро, что мне уж не удалось бы сбежать. На пороге стояла нестарая, статная, красивая женщина с горделивым тяжелым лицом, очень строгим. Посмотрев в это лицо, я не могла вымолвить ни слова, молясь про себя невесть кому. Некоторое время обе молчали. Потом, довольно резко, женщина спросила с явным грузинским акцентом:

— Вы Людмила?

Я поперхнулась.

— Я прошу вас, — сказала она отдельно и даже по-своему мягко, — больше сюда не приходите.

Это не было просьбой, это было неумолимым условием. Я не успела даже удивиться тому, как она это сказала, — так, словно я могла «прийти» в любое время, словно жила на соседней улице. Я попятилась, боком стала спускаться по лестнице, она стояла в дверях, не уходя, провожала меня полным величавой гордости и спокойствия взглядом. Спустившись на десяток ступенек, я не выдержала, отвернулась, бросилась бегом вниз, потом бегом — через двор, на другую сторону улицы, по улице — вниз, к реке, наталкиваясь на прохожих, охваченная ужасом, тем путем, каким провожал он меня в то, последнее утро. Не было ни обиды, ни отчаяния. Была та пустота, которая открывается за всеми границами отчаяния. В эту-то пустоту я готова была броситься с головой и выбежала на мост, взглянула в черную, стремящуюся внизу воду. Одна секунда оставалась мне до того, как прыгнуть вниз. Каким-то неведомым образом я почувствовала, что мне надо оглянуться. Ко мне шла его мать. То есть, я поняла сразу, это была не

она, не совсем она, но сходство было разительное: та же величавость, те же расправленные плечи и тяжелая гордая голова, то же спокойствие в чертах изумительно красивого лица. Она подошла и протянула ко мне руку, не для того, чтобы взять мою, а лишь для того, чтобы поманить. Я, загипнотизированная, сделала шаг вперед. Она сказала несколько непонятных слов. Она сказала их таким голосом, так спокойно и так внушительно, что мигом я почувствовала счастливое облегчение и сладко, вздохнув, задыхаясь, заплакала. Она показала мне рукой — иди. Я пошла... Я шла, плакала, шла тем путем, каким однажды уж уходила от него, путаясь в двух сумках ногами, и мне казалось, что теперь мне уж ничего не надо, лишь брести всегда вот так, куда глядят ослепшие от слез глаза, идти и, не стесняясь, все пуще плакать, плакать... Да и вы, плачете, никак? Бог с вами, все это дела давно минувших дней...

— А с ним? Что... с ним было? — спросила другая.

— С ним ничего. От Тенгиза я потом узнала, что в тот же год он женился. Да не плачьте же, прошу, не надо, а то ведь и я...

Глава 17. СНЫ (приложение к части II)

Потом, как и во всяком порядочном романе, им снились сны.

И снилось:

... сквозит... телогрейка брошена на пол, на сырую солому... веет холодом, холодно скрюченному телу, а

лицу жарко, больно спине, тесно вжатой в сырую дощатую стену...

нет стука колес, только покачивание...

место, что досталось ему, невыгодно — перед самой дверью... и он думает — холодом веет оттуда, вглядывается, но ничего не разглядеть...

где-то горит электрический фонарь... но на дворе не ночь, хоть и не видно, а он знает — не ночь, только осень, ненастье... жидкая полутьма, подкрашенная не имеющим источника искусственным светом, сиротская полутьма... и зябко, и тяжело, и лень думать — куда везут... лиц товарищей нет, только скученные фигуры... особое звериное чутье подсказало ему, что всякий из них думает, как и он, лишь о том, не раскрошились ли от сырости в кармане стеганой фуфайки несколько кусочков серого сахара... да черствый остаток пайки... да алюминиевая в зазубринах ложка с черным черенком, с пробитой в нем гвоздем дыркой... да остаток тепла, который, скрючившись, надо удержать...

но вот слабее качания... эшелон пошел тише... как всегда перед остановкой, проходит волнение: что-то будет? все тише идет эшелон, и дверь перед ним оказывается открытой... так вот откуда дуло, догадывается он... хмурая темень, сумерки, непогода, в тумане — ненастное серое поле, ненастные согнутые придорожные кусты, и появляется лицо женщины...

женщина смотрит на него...

вагон еще движется... она идет рядом, чуть впереди двери, а глядит назад... горе, горе в этом неестественном повороте головы, в этом неподвижном взгляде, — и он виноват перед ней...

нужно дать ей чего-нибудь... скорее протянуть, да нечего...

разве пайку...

разве несколько слабых серых кусочков...

возьми, возьми, слышит он во сне собственный голос...

протягивает она руку, но вагон пошел быстрее...

тянется ее рука, но достать не может...

все быстрее, все быстрее... женщина спешит, тянет руку, смотрит в его лицо неподвижным взглядом, — и не сдержать отчего-то слез...

не проснувшись еще — лицо мокрое, — он понимает, что это беда заглядывала в дверь теплушки... ему бы откупиться, да он не успел, поезд пошел быстрее... это жена его была, понимает он...

он принимается звать ее по имени... эшелон уходит, она бежит вдоль полотна...

он зовет ее, вглядывается в ненастье... она молодая, беременная, такая, какой была лет двадцать пять назад...

бежит, бежит вдоль полотна и молчит...

не отрывает от него глаз... бежит... молча...

не крикнет, не махнет рукой... молча бежит...

и горько, и жутко, и жаль...

так жаль ее... ее и себя... и слезы — бегут и бегут: по щекам, по скулам, по шее...

И снилось, весело: с Витьком, кажись, ехали в электричке... пойдем, Витек говорит, в тамбур покурим... пойдем, говорит, покурим, там они стоят... пошли покурить — точно...

а Витек смеется... смотри, смеется, попадешь из-за них., смотри, смеется, смотри, смотри... а одна — идет к нему сама... идет и приближается... и руки протягивает...

и нравится ему — невмоготу... родная какая-то, сладкая, руки протягивает, девчонка сладкая да незнакомая... нравится ему... хочется... приближается, и протягивает, и сама обнимает...

обнимает и в глаза смотрит... сладкая... в глаза заглядывает, целует его, за шею ладошкой держит и целует... сладко, сладко, никогда так сладко не бывало... держит сама и целует, а Витек за спиной...

держит ладошкой, ладошка сырая, а Витек за спиной хохочет... она ж, хохочет, долгожительница...

а она целует, и Витек хохочет... и свою голову закидывает, и на шее морщины, целует... долгожительница...

сама обнимает, не вырваться, шея старая, шея сырая, и Витек хохочет...

и не она это... не девчонка, незнакомая да сладкая, а Воскресенская... держит, целует, сама вся в песке, сыро, не отпускает... в песке вся...

долгожительница...

сжимает и шепчет: все в ажуре, Мишка... в песке вся... в ажуре... в ажуре... шепчет и сжимает...

сам уж повторяет во сне: долгожительница... холодея, — долгожительница...

слово какое жуткое — не выдраться... липкое слово, в песке... долгожительница... сжимает, ладонь крепкая сырая прямо на шее на его... твердит в страхе: долгожительница... липкое, сырое... все в ажуре, да? — нашептывает и хохочет, не Витек, она...

долгожительница, кричит он... отпихиваясь, отталкиваясь в поту... змеиное какое слово... долгожительница... хрипит, долгожительница, шепчет уж наяву...

И снилось:

качает она на руках внука...

маленький внучок, года нет, спеленутый, разевает беззубый рот, кричит, разевает — и дверь у ней за спиной приоткрывается...

она думает: соседка пришла... входи, говорит... обертывается — Пашка стоит!..

щурится, подмигивает, ногами перетоптывается: позволъ-те-с пройти-с?

в перчатках кожаных: позволъте-с? не узнаете-с? я вот шоколад для вас обеих приобрел-с...

отодвигается она от него — Пашка, ух ты, господи... а он в усах, при перчатках, в шевелюре, совсем молодой... улыбается в самые глаза, усы поправляет, тянет черную в перчатке руку ко внуку: брось, Марья...

как же?..

брось!..

да ты посмотри, какой махонький... года нет... видишь, плачет... твой внучок... брось, гулять будем!

И приступает, и лапищу тянет...

и уж не в своей комнатке... соседка за стеной... коврик, стиранный недавно, над постелью... свинья-копилка на серванте, почти четыре рубля мелочью... а посреди горницы посреди его... и печка... и кровать высокая, широкая, занавеской призанавешена... свекровь смотрит из угла... сложила руки на животе, смотрит глазками...

и сама она — еще молодая... еще двадцати нету...
только из деревни, а на руках — внучок... как же, госпо-
ди... молодая совсем, а с внучком на руках...

плачет внучок, разрывается, а она шепчет: твой
внучок, а то чей же... твой...

и страшно ей, и стыдно, и ноги подгибаются...

ворот душит...

но качает внука, к груди прижимает...

а Пашка смеется, зубы молодые во рту...

твой, чей же...

смеется...

твой...

ржет... свекровь из угла — пальцем тычет: глянь-ка
ты на нее, глянь...

глядит она: никакого внука у ней на руках... шер-
сти пук, веретено с острым кончиком обломанным, ка-
кое дома у нее, пряжи спутанный моток...

И снилось:

идет он по их дачной улице...

знакомая улица, вот дом правления, вот Суворовы
живут...

и вместе: вовсе это не Мичуринец, все незнакомое,
улица чужая, здания правления на нужном месте нет...
он идет к лесу, а впереди отчего-то пустое место: поле
не поле, пустырь не пустырь... и бежит рядом собачон-
ка...

симпатыга, мордочка черноногая, сама рыженькая,
над карими глазами рыжие человеческие реснички... не
бежит даже, а вышагивает в такт его шагам...

никогда у них такой собаки не было, никогда он та-
кой собаки не видел, но в то же время — какую-то неж-

ность в нем вызывает эта собачка... снизу взглядывает смышленными глазами... и он то и дело на нее смотрит: не потерялась ли?

да и собачка ли это? что-то в ней не собачье... все вроде бы на месте: и шерсть волнистая, на лапах носочки белые... но какая-то она по-человечьи веселая, доверчивая, детски смышленная... а главное — очень он боится ее потерять...

идут рядом...

она иногда подпрыгивает, тычется ему в ладонь мокрой мордой, он даже останавливается от нежности... глаза опускает: она смотрит на него и смеется...

собака, а смеется...

между тем вокруг не теплая летняя дачная улица, а совсем пусто... только сырая жухлая трава, неба не видно, воздух прогорклый, затхлый... рытвины какие-то, воронки... и наползает туман нехорошего, тусклого, тоскливого цвета...

в некоторых рытвинах видна мутная жижа... валяются консервные банки...

спутница его все чаще задирает морду, но уж не смеется, глаза жалобные, человеческие...

он хочет ей объяснить, что никогда ее не бросит, что она не должна ничего бояться, пока он есть у нее и может ее защитить...

он наклоняется к ней, открывает рот, чтобы шепнуть, но их разъединяют хлестко машущие ветвями кусты...

он бросается в одну сторону, в другую, зовет ее, ветви хлещут его... оказывается в каком-то с изрытыми берегами замусоренном русле... русло расширяется...

видны какие-то впадины, пещеры, гроты... повсюду сидят люди... на корточках, прямо на земле...

перед всеми бутылки или кружки с пивом... на газетах — убогая пища... и каждый ухмыляется, глядя на него, качает головой, и обглаживает куски вяленой рыбы, и что-то шепчет другому, кивая на него головой...

и всем он неприятен, это сразу видно, всем смешон, всем досадно оттого, что он здесь...

и видит он вдруг: и здесь, и там сидят такие, как его, собачонки...

он смотрит направо: повсюду рыжие собачонки...

смотрит налево... волнистые, черноволосые, на него не глядят, а умильно ждут от этих мужиков подачки... бродяжки, бродяжки...

он делает шаг к одной, нагибается... к нему повертывает лицо маленькая девочка... делает знак: подожди... потом что-то важно и взросло втолковывает группе пьяниц...

чувство жалости к себе, чувство потери так остро, что он отворачивается...

и вдруг — в его руке оказывается ее детская ручонка...

такой прилив радости, такое облегчение... он быстро ведет ее за руку прочь, понимая уже, что это Машка, его дочка... ведет прочь... безмерная радость, счастье заполняют его существо... а вокруг нарастает ропот...

он ведет ее... по сторонам мужчины вскакивают на ноги... протягивают к ним руки... кричат что-то угрожающее, побросав свое угощение...

он втягивает голову в плечи... он чувствует себя готовым на любое унижение... только б не отняли у него ее, только б позволили с ней уйти...

недовольство вокруг растет... он чувствует опасность, но не чувствует страха...

он смотрит на свою девочку и целует ей влажную ладошку, й это, конечно, не Машка, а кто-то другой, девушка, влечение к которой все острее... только б уйти, только б уйти...

и виснут какие-то облака над ним... и делается душно...

и только ее рука в его руке... только ее рука...

И снилось,

жарко, надрывно:

с ним подходит она к постели...

в своей комнате, в родительской квартире, к своей постели...

отбрасывает покрывало... а он нетерпелив, он смотрит на нее жадно, и ей хорошо...

она наклоняется поправить постель и видит — все одеяло утыкано мелкими торчащими острыми иголками... кто ж это колдует? — думает она... кто ж это колдует?..

откуда эта мысль о колдовстве?.. от самой этой мысли ей делается страшно...

а он ждет, она чувствует, с каким нетерпением он ждет...

она принимается вынимать иголки, то и дело укалывается, торопится... чувствует — одна впивается ей в руку...

она вытягивает, выковыривает иголку из ладони, а на постель капает кровь... и рука в крови... и страшно от мысли, что иголка уходит внутрь, что она попадет в вену, потом в сердце...

и чувствует: холодная иголка крадется уж где-то внутри... в плече, в груди, в шее...

она трясет рукой, горло колет, а кровь бордово расплывается по простыне...

она пытается откашляться, но колет еще пуще... и вздохнуть нельзя... от этих уколов она корчится, задыхается, и чувство такое, точно горло засыпано горячим песком...

кто ж это колдует? — в ужасе думает она...

кто ж это колдует?..

И снилось,

тягучее, точно в лодке, подхваченной тихим течением, баюкающе:

дивным утром он идет по берегу к морю... утопая по щиколотку... в бархатном песке...

дивным утром шум моря слышен издали... укачивающий шум... и щедро светит солнце...

теплое солнце... теплый песок... рядом море... сейчас он плеснет на лицо прохладную соленую воду...

в руке у него ведро, или кувшин, или кастрюля... и он идет, идет, утопая все глубже в песке... баюкающем песке... бархатном песке...

море рядом, море совсем рядом... вот она, близко, рукой подать... но песок обволакивает...

баюкающий песок... теплый, теплый песок...

остается чуть-чуть, но песок не пускает...

только шаг сделать, но песок окутал ноги...

перегнувшись, он хотел дотянуться до воды, зачерпнуть пригоршню, но на руке — песок, легкий золотистый песок...

посередине моря, как парус одинокого судна, — светлое

Очертание... все пытаюсь освободиться, он вглядывается в него до рези... это голый верблюд, величаво изогнув губастую голову, голову с коричневым птичьим хохолком, весь светящийся и окутанный влажным облаком... это голый верблюд...

это голый, — узнает он.

это голый, — радостно смеется он во сне...

о. машет рукой, он зовет его, он хочет к нему приблизиться, побежать...

он уж по пояс в песке... а верблюд — верблюд делается все призрачней, все бесцветней, и вот уже контуры его тают, остается один лишь влажный след. в том месте, где он шествовал только что...

и море отодвинулось... туманная синяя полоска на горизонте, и впереди песок... песок... песок...

вот полоска подернулась дымкой, вот совсем исчезла... солнце печет невыносимо, и освободиться хочется...

он принимается вычерпывать песок вокруг себя ведром... черпнет — и заглянет внутрь: песок... черпнет снова: и снова один песок...

и жарко, и душно, песок во рту... и он черпает снова и снова, и только глубже уходит в песок...

Одному лишь ничего не снилось.

Ибо когда среди посветлевшей на востоке мути, над стеной поднявшейся до неба пыли обрисовался не-

ясный розовый кружок, Он был уже мертв, Он не дождался росы. Он уже стал падалью, тленом, трупиком. Он лежал, согнувшись скобкой, и ветер нанес с одной стороны горку песку, спрятал треугольную голову, засыпал искривленный хвост, так что сделался виден лишь один серповидный барханчик, могилка в форме полумесяца, полукруглый холмик, который скоро сровняется и исчезнет, как все исчезает в пустыне.

ЧАСТЬ III

Глава 18

Проснулся Миша Тишков, техник шестого разряда третьей экспедиции треста «Аэрогеология», и подумал: пришел ветер...

И шофер Николай Сергеевич, по автобазовской кличке Коля-Сережа, просёк, едва очухавшись: пришел ветер, видать, из пустыни...

И Володя Салтыков, в прошлом заместитель и муж, теперь простой геолог. И Вадим Орехов, вчерашний студент, ныне маршрутный рабочий третьего разряда, оклемались и решили: пришел ветер из пустыни, пришел и объял...

И Людмила Воскресенская, начальник и женщина, еще сквозь сон поняла: пришел ветер из пустыни и объял четыре угла дома моего... И пришла в себя.

И повариха Марья Федоровна, в разводе и на пенсии, еще вперед начальницы увидела то же самое, все сообразила... И была права.

И только один не проснулся. Не очухался, не оклемался. Не восстал, не воспрянул, не смог опамятоваться, но и эти шестеро, покинув сон, оказались точно в новом сне...

Глава 19. НОВЫЙ СОН

Утром, когда на дворе поочередно выло и свистело, шипело и гудело, как за окном автомобиля при скорой езде, по крыше часто и дробно застучало, будто с высоты на крышу выворачивали сор из большого кармана, в доме стояли глубоководные сумерки, ветхие стены кошары сотрясались и вздрагивали, словно облокотись на нее, кто-то большой плакал навзрыд; марличное окошко то хлопало и полоскалось, то надувалось рваным пузырем; пыль в комнате по полу и по стенам беспричинно шевелилась, а иногда слышно было, как на заднем дворе что-то обсыпается, — за столом сидели шестеро...

Несколько же прежде того с мужской половины явилась тощая фигура, прошаркала до середины большой общей комнаты и замерла возле стола, наклонилась над ним. Не было ничего проще, чем опознать ее по знакомым сатиновым поколенным трусам, по куриным с сизиной ногам, вставленным в ботинки с подмятыми задниками и скошенными каблуками, по сирене-

вой майке, наконец, светящейся нежно-округлыми вырезами своими на густой черноте. Физиономия шофера была темна, глаза кровавы и слепы, кадык дергался, за щеками щелкало, ибо никак не удавалось ему набрать во рту влаги достаточно, чтоб смочить переметанное сухое нёбо, смягчить засохлые губы... Оглядев внимательно всю поверхность стола, перебрал глазами все подробности и остатки, все неаппетитные следы вчерашней трапезы, и желаемого не обнаружив, с несколько театральной беспечностью привидения шофер просочился на кухню сквозь занавеску. И думал: только б дала, а то еще не даст... Звякнула на кухне одна крышечка, звякнула другая, отозвался тенорком большой чайник, чавкнул заварочный. Посуда пошла перекликаться на металлические с примесями, стеклянные, деревянные и прочие голоса. Как язык колокола, поболтался в пустой кастрюле половник. Потом раздался звук, как если бы наждаком несколько раз провели по напильнику. При определенном навыке из-под всех помех в этой, последней фразе можно было выудить и полезный сигнал. Применяя ряд эвфемизмов, подобранных по звуковому признаку к тому же, приведу такое сообщение:

— Куда ты, Федоровна, твою переехать, воду посливала, перепахать, переветать, воды совсем нету, пережать, перебрать, рассортировать и дезориентировать!

Завозилась на коечке своей Воскресенская, забарахталась, пробудилась, возмущенными стонами пружин заявляя неудовольствие этим шоферовым лексическим набором. Разом зашущукались и на мужской половине, а Воскресенская подумала: вот наплакалась

вчера, глаза опухли, нельзя, чтоб видели, а вставать надо, надо вставать... Тетя Маша же, чертыхаясь шепеляво, бормоча старчески, точно постарела за ночь, принялась искать под раскладушкой тапочки. И вдев-таки усталые ноги в обувку, начала раскачиваться на раскладушке, чтоб в выигрышный момент от нее оторваться, и крикнула сипло при этом:

— Да в кастрюле ж налито!

— Нету в кастрюле, — наждачно проскрипел шофер, — нигде нету.

Тетя Маша поднялась-таки, развела пары, тронулась с места, а при этом думала: легли поздно, с этого кружится...

Лишь койка Воскресенской приглушенно всхлипывала, точно та натягивала одежду, не вставая с постели, пока тетя Маша преодолевала дистанцию до кухни. Потом весь аккомпанемент поисков повторился до ноты, снова пусто и раздраженно перебранивалась посуда за стеной, нервно ворчали канистры и фляги, затем голосом, внезапно расчистившимся, шофер выкрикнул отчаянно: нету же, что я говорю!

Тут все повскакали с постелей. Набились, полуодетые, в кухоньку, каждый совал свой нос туда-сюда бестолково, толкались, теснили один другого, огрызались — всякому нужно было во всем и самостоятельно убедиться.

— Там нету? А там?

— Нет, вы во-он куда загляните!

— А в бидончике, в бидончике-то?

— Да нечего там смотреть: в бидончике, тоже мне. В бочке должно быть, вот где.

— Без тебя не догадались бы туда заглянуть, как же...

— Я-то оставляла, точно знаю, что оставляла. Потому в голове еще было, чтоб не дай бог всю израсходовать...

— В печке, а не в голове! Наоставлялась! — Шофер подтянул бесполезно труси.— Здесь тебе что, Федорова? Пустыня здесь. А не у зятя на кухне. Оставляла она. А ведь я ж тебя предупреждал, когда посуду полоскала...

— Да я чуть брала.

— Вот и чуть.

— А потом соленой...

— А я, — ввинтился парень между ними, — утром вчера все дополна наливал, когда водовоз был. И бочку, и бидоны. Ума не приложу, — добавил он, но не подумал ничего: слишком уж вчера перепил, с непривычки было не до думанья.

— Ничего не понимаю! Ничего! — вскрикнула тут Воскресенская. — Будто кто-то нарочно вылил!

Все молчали. Да и ее мысли были далеко, а шумела она скорее по обязанности. И все не могла откуда-то издалека вернуться.

— Я ведь предупреждала, сколько раз предупреждала, чтоб всегда проверяли перед тем, как брать. Разгильдяйство это, вот что. А на технические нужды, — повернулась она к поварихе, — вообще всегда надо брать соленую. Вот в следующий раз...

Но что в следующий раз — не договорила, глаза ее ушли куда-то мимо поварихиной головы, и казалось, что никак она до конца не проснется...

Володя в смущении закрутил круглой своей башкой, толстой широкой ладонью принялся растирать и мять шею, а Миша думал: может, и последняя была, кто его знает, значит, последняя, во как... И он взглянул на Володю, и тот на него. Отвернулся поспешно, и показалось, что Миша нагло ему подмигнул, мол, не бэ, не скажу никому, оба виноваты, хоть вода и пошла на твое, прямо скажем, промойте, — и он все мямлял и мямлял шею, и крутил головой, и было больно.

Но шофер и тут первым оправился.

— Ладно, — снова подтащил резинку от трусов чуть не до ребер, — переживем, погрузимся. У казахов займем. Там, глядишь, водовоз прикатит. Он, Толик-то, всякий день, а пока...

— Но у п-пастухов может оказаться тоже ограниченный з-запас, — вымолвил Володя, неприятно для себя краснея, расправившись с шеей и почесывая теперь под левой грудью.

— А пока, — не обращая внимания на Володю, а косясь на Воскресенскую, — у нас портюша есть. Водичка тютю, вышла вся, но портюша. Тоже ничего, мокрая...

Воскресенская не ответила. И шофер подумал: даст, не зверь же она, чтоб не дать, да в такую-то погоду...

За столом сидели в прежнем порядке.

А метель за окном наяживала, в комнатах знакомые некогда предметы подернулись точно вьюжной дымкой, расплылись в аквариумных, желтых с прозеленью, потемках, формы их стали призрачны, очертания матовы. На столе перед сидевшими посреди неубраных тарелок, двух пустых сковород, пленку жира в кото-

рых припорошило мелким песком, двух же дочерна прокопченных ламп, за которыми никто уж не следил вечером, так что они начадились в свое удовольствие, с запекшейся томатной приправой банок из-под консервов и чесночной шелухи, возвышалась большая бутылка, «огнетушитель», как называл ее шофер, с мутным содержимым, напоминавшим цветом слабую марганцовку, и с мощным, чуть не в сантиметр, слоем трухлявого, рассыпчатого осадка. Из бутылки выкачана была уж почти треть, разлита по вчерашним, до сих пор вонявшим сивухой стопарикам, но еще не пита. Налито было всем, даже парню, перед каждым лежали и кой-какие бутерброды, приготовленные на скорую руку вместо завтрака, который решили отложить, так как и кашу сварить было не на чем, но никто не только не пил еще, но и не жевал. Все сидели смирененько, один шофер елозил... Воскресенская же молчала. Опустила голову со встрепанными, не чесанными еще с момента пробуждения волосами — то ли думала, то ли другим давала возможность продумать создавшееся положение, не замечала томительности момента.

— Горят шланги-то? — подмигнул Миша, неуместно хихикнул и пхнул шофера коленом под столом. — А, Коля-Сережа?

Тот вздрогнул, прищурился, сморщился, отвернулся.

— Ну, хорошо. — Воскресенская потрянула головой, точно справилась с какой-то последней незадачей, но стопарик ее по-прежнему стыл на столе, а что хорошего — она не торопилась пояснить. Она думала: что это она расклеилась, от бури, что ли, но буря больше двух дней

не будет, дольше двух дней редко когда, а там закончат по быстрому, и в Москву, и глаза красные, наверное, а умыться — лосьоном...

— Д-да, — проснулся тут и Володя, — я же в-вам не д-доложил. С овцой все в порядке, они нам ее отдали...

Воскресенская подняла глаза, трудилась понять, что ей говорят.

— Отдали?

— В-вернее — подарили.

— Да?

— Даже не всем, а именно в-вам.

— Мне? — приятно изумилась Воскресенская, приложила руку к груди удивленно, нашла силы и возмутиться: — Этого еще не хватало... — И подумала: этого еще не хватало, не хватало, подарили ей... — Вы шутите? — спросила она

— На день рождения, — скартавил Володя. И подумал: нет, письмо нельзя в таком виде посылать, переписать надо, но пошлет обязательно, вот только перепишет, тоска какая, и душно, словно здесь половики всю ночь выбивали, и такая тоска, в преферанс не с кем...

— Вы меня разыгрываете?

Она очнулась, впервые взглянула на Володю, попыталась сообразить, какую свинью он ей хочет подложить, чем скомпрометировать, но не соображалось никак... Шофер кашлянул, не выдержав; кадык его дернулся так отчаянно, словно в последний раз. И Миша сказал:

— Да чего говорить-то, поздно говорить. Пусть приезжают, от своей овечки костей не соберут, ха-ха. Была, да сплыла. Ничего не докажут.

— А за водой, знаете ли, к ним ехать неудобно, — сказала Воскресенская. — Так одалживаться... — И подумала: а куда ж ехать?.. И снова на Володю глянула, точно он был виноват в растрате воды. Знала бы, сколь близки эти ее неоформившиеся подозрения к истине. — Ну, давайте, — смилостивилась наконец, поднесла к губам стаканчик с марганцовой жидкостью, думая при этом: неприятный все-таки человек...

И все схватились за стаканчики, и не оттого, что так уж жаждой были замучены, а вдруг обрадовавшись точности и ясности приказа. А уж шофер опрокинул свой стопарик и вовсе одновременно с последним Воскресенской словом. Передернулся, скорчился, протрясая, словно током долбануло, и громко восхитился — голосом, окончательно поправившимся:

— Ох, делают же турки! Ну и гадость! — И подумал при этом: а еще даст?..

Миша тоже в лад с шофером крякнул, а потом почмокал, а потом захохотал:

— Все ж лучше воды, а? — И губы его были розовы, в уголках рта — винный порошок.

И Володя, выпив свое, скривившись, почувствовал тем не менее себя нежданно свежее и уверенно смог заключить, на Мишу покосившись: а ведь нарочно вылил, подлец...

— Но чай на ем не сваришь, хоть и хорош, — возразил шофер Мише и стрельнул в Воскресенскую глазом.

Повариха же все держала, переживая с волнением дозу внутри себя, у новозубого своего рта корочку хлеба, деликатно нюхала, потом жалостливо проговорила:— И супчика...

А что, собственно, супчик-то?

Парень ничего не подумал, а с застывшими глазами сдерживал тошноту... И Воскресенская позволила небрежным жестом налить по второй...

— А мне все равно... запить хочется, — сказал парень. Лицо его осунулось, побледнело, глаза вытаращились, моргали. Губы жалко шлепали.

— Ах, знают уже все про твою лужу, — досадливо отмахнулась Воскресенская, но подумала: а правда?.. — Плешь всем проел... Но за водой к казахам не грех заглянуть, а, товарищи? А по дороге можно и туда завернуть, посмотреть... Начерпаем необходимое количество, перед употреблением будем кипятить...

— Допьем и поедем, — живо вставил шофер.

— Да, допьем и поедем, — согласилась она.

И все обрадовались: допьем и поедем... И вдруг наружная дверь, которая долго крепилась, застыв в напряжении, как балерина перед первым тактом, сама собой, вибрируя, отделилась от своего места, и сидящие за столом испуганно съежились. Помедлив, дверь ударила в стену с дьявольским грохотом. Стена дрогнула, пол, казалось, качнулся, в дом ворвался серый стремительный смерч.

Глава 20. НОВЫЙ СОН (продолжение)

Все обернулись, будто ждали кого-то. Но на пороге было пусто, и только смерч, стремительно ворвавшийся, вьющийся, плотный столб, призрачная колонна, добежал почти до стола, закрутился юлой, замер и, дрогнув, подкосился, рассыпался в прах. Пыль, песок, птичий пух закружились по комнатам в темноте, расплылись клубами в воздухе, дышать стало окончательно нечем, свист и вой стояли у порога, в двери гудело, как в люке, на полу растекался неожиданно легкий, прихотливый, насмешливый узор.

— Входите же, — хрипло, срываясь, крикнула Воскресенская. И подумала: нет, не было никого, ни шороха чужого, ни топота коня — ничего, ветер только...

И ей вправду никто не ответил.

— Миш, выйди, взгляни.

— Ветер это.

Но он выбрался-таки из-за стола, другие ждали, и песчинки роились в воздухе, Мишина фигура мгновенно окуталась пыльным коконом, пропала, прошли секунды, голова тяжелела от духоты, и вместо узора на полу выстлался толстый ковер.

Ветер был совсем близко, Мишиных шагов слышно не было, он возник, как и исчез, — странный взгляд, лицо удивленное.

— Что? — спросили в один голос

— Пришла.

— Кто?

— Овца.

— Что за черт.

— Да, у самой двери... пасется.

— Одна? — спросила почему-то Воскресенская. И подумала: а лицо у него довольно глупое, совсем мальчишка...

— От бури прячется, — сказал Миша.

— П-понятно, отбилась от отары. Н-иадо ее вернуть.

— Кому?

— Т-телегену вернуть.

— Сейчас отправитесь, Володенька? Ведь вы по приبلудным овечкам у нас большой и крупный специалист. Вам и карты в руки...

— Н-нет, я в-вообще...

Овца заблеяла возле самой двери, а ветер нес и нес в прогал пыль, и песок, и пыль, и песок.

— Дверь прикрой, Мишка!

— А она? Снова откроет.

— Тьфу! Ну, сюда ее загони, что ли...

Но и без приглашения овца просунула в отворенную дверь свою голову. Смотрела жалобно стоячими глазами, глазами из круглых стекляшек, неосмысленных, мертвых, окончательно глупых, к которым и слово-то «смотреть» можно применить лишь с натяжкой, — смотрела на одного, другого в нерешительности. Сама тупость, сама сонливость, сама зевота — и это действовало заразительно. Казалось, наплевать ей на бурю, не от нее спряталась, а от скуки пришла, как от скуки и уйдет, как от скуки и живет, как от скуки и помрет... Миша подпихнул ее в зад ногой, с усилием притянул дверь, ветер сделался глуше, пыль стала опадать, и тут овца

заблелая снова, но голосом не взволнованным, а будто только желая внести свою лепту в разговор, заглядывая каждому поочередно в глаза.

— Что, похожа на покойницу, Коля-Сережа?

— Точь-в-точь.

— Да что вы говорите такое! — всплеснула руками повариха.

— Глупости говорят, не слушайте, Марья Федоровна...

— Теперь квиты с казахом будем: мы взяли, мы и вернем.

Воскресенская задумчиво кивнула головой. И подумала: но откуда же ветер такой? Никогда такого не было, гудит...

Овца тем временем просеменила до середины комнаты, постояла, выкатив стекляшки, мотнула туда-сюда головой, как будто говоря, что она готова к беседе, пошамкала и медленно улеглась на пол. И Воскресенская подумала еще: и что ей надо, чего смотрит...

— Наливай, Мишка, а то пить хотца! Товарищ геолог, прежде чем отправимся, доскажите, чего там, в Австралии, люди коллекционируют?

— Может быть, оставим на потом? — Воскресенская.

— А чего здесь пить-то, Людка, нечего пить! — Миша.

— Опять вы з-заладили, — Володя.

— Хочется пить-то, хоть вчера и много чаю пили, — повариха.

— Это от самовнушения, я думаю, — Воскресенская. Она сказала это задумчиво по-прежнему, в овечьи

глаза смотря остановившимися глазами, сама похожа на овцу сейчас — встрепанная, глаза притухшие, подпухлые, лицо сонное.

— Миш, а ты б вышел, на крокодила своего глянул...

— Так подох, наверное.

— Ты б поднес, может, воскреснет. Я тоже с утра что мертвый был, а как выпил — хоть куда.

— Так он ж непьющий.

— А я пьющий, что ли? Только по праздникам...

Выпили снова.

— М-между прочим, — говорил Володя, — казах нам вчера опять р-рассказывал об источнике об этом, помните?

— О чем? — скривила губы Воскресенская.

— Об источнике в Б-беш-Булаке. Так вот, липа оказалась, самой ч-чистой воды бред.

— Ах, не до того. Конечно, бред. Вы бы лучше о нашем положении подумали. Господи, неужели мне одной...

— Н-нет, вы не правы, — Володя, подвыпив, становился вязок, — д-до вчерашнего дня в-вероятность того, что он не врал, нельзя было со счетов сбрасывать. П-пускай одна сотая... Представьте-ка. Если бы это оказалось п-правдой, то теперь м-мы не столкнулись бы с проблемой, перед которой м-мы стоим сейчас. Мы м-могли бы разделить отряд...

— Будь у бабушки ружье, она была бы дедушкой.

— Да о чем вы все. Что вы расселись. Допивайте и... — Но сама отчего-то с места не поднималась. — С

этим шутить нельзя в пустыне. Вода кончилась, шутка ли...

— А кто шутит-то. Чичас едем, — шофер.

— Бутылку с собой берем? — Миша.

— Эту? — Володя.

— Сдавать, что ль, пушнину собрался, товарищ геолог?

— Да в пустыне и без нас этого добра... Полную берем!

— А з-здесь есть еще. Как же быть?

— Вот задача так задача. Наливай!

— Орехову не надо, — только и хватило сил у Воскресенской сказать.

— А ты, Людка, тоже прими. И одевайся! — кричал Миша.

— И ты, Федоровна. Чичас я тебя с ветерком прокачу...

— Нет, нет, что это вы все. В лагере должен кто-то остаться...

На секунду вдруг все оборвались, смех притих, все недоуменно на Воскресенскую посмотрели, и вдруг Миша:

— Так Орехов же! — изумленно.

— Я? — вскрикнул парень.

— Ты ж всегда остаешься. Как же иначе?

— Так ведь... так ведь... ведь это я нашел-то!

— Ха, да все давно знают, где это, правда, Люд?

— И я з-знаю, — утвердил Володя, — м-мне вчера показали.

— О, все знают! — воскликнул Миша торжествующе. — А он: я открыл, я нашел... Чего ты открыл-то? Мы

пока ездить будем — ты себе в тетрадочку попиши. Ведь ты любишь в тетрадочку писать...

А Воскресенская думала: только б не забыть, что-то такое вертелось, не забыть бы только...

Все повскакали с мест, один парень остался на месте, как приколоченный. Да овца на полу. Других же охватила точно лихорадка, так рассуетились. Миша толкал в карман штанов бутылку, шофер тащил запасную канистру с бензином, Володя топтался бестолково, повариха на голову платок искала, а Воскресенская вдруг вспомнила: ну да, перемещение воздуха, перепад давлений, тьфу ты, куцее какое объяснение, а ведь так гудит... И тоже — собираться.

Захватили и ведра, и черпачок, и две фляги.

— А с ней как быть? — вдруг остановился Миша, на овцу кивнув.

— А чего с ей, пусть будет, — решил шофер. — Вон с Вадиком посидит, чтоб ему не скучать.

Парень сидел с лицом каменным, будто глубоко в себе отыскал наконец спасение и лекарство ото всех обид, но, посмотрев на него, они только усмехнулись. Окинули взглядом последний раз стол под знакомой клееночкой, простенькую посуду, черные лампы — весь этот мирный скромненький оазис с выдохшимся розовым родничком мутного портвейна самаркандского разлива и лиловыми цветочками вокруг по полю, нехитрую закуску, сухую чесночную растительность. Может быть, подумали по контрасту о буре и мраке, застлавшем округу, и вновь оценили тихий этот уголок, укромную бухточку, вполне же ведь уютную, — и повалили из

дому, заранее отвертывая от колючего ветра лица. Слышно было еще, как Миша прокричал:

— Эй, а ведь издох!

И как шофер ответил:

— Точняк! И пузо надул...

И парень остался один, и больше ничего слышно не было.

Глава 21. ПРОБУЖДЕНИЕ

Чем закручиниться, первым делом он прикрыл дверь поплотней и подпер геологическим молотком, будто боялся, что кто-то будет подсматривать за ним. Воровски оглядываясь на овцу, по-прежнему бессловесно возлежавшую посреди столовой, озираясь, вытащил парень из-под раскладушки свой мешок, порылся, извлек очки с одним целым, вторым разбитым стеклом, напялил, примерил, выковырял остатки осколков из оправы, примерил снова. Прищурил один глаз, другой глаз, спустил очки на переносицу, затем вдавил плотно и остался, как видно, доволен. Потом вытряхнул вещи из рюкзака на постель.

Он долго перекаладывал вещи бестолково, наконец выбрал и засунул обратно только свитер толстой белой шерсти с коричневатыми звездочками на груди, сходил на кухню, прихватил две упаковки чаю, тоже в рюкзак сунул. Поколебавшись, сходил, не поленился, еще раз, взял сухарей и брикет гранитно-твердого киселя. Упаковав все это, взвесил на руке мешок, весом тоже остался

удовлетворен и только тогда хлопнул ладонью по лбу. Нашел спички, прихватил нож, а там — и огарок свечи. Потом взял было листок, ручку — записку писать, долго ручку мусолил, но так ничего и не выжал. Решил не писать. И думал: а ее взять непременно надо... чаю и ее...

Он закинул рюкзак за плечи, огляделся в последний раз, осмотрел себя напоследок — штаны, рубаху, носки, сандалии, подтащил упрямившуюся овцу к двери, выпихнул, а следом — сам ступил через порог вон из кошары...

Холм целиком состоял из пыли.

Пыльная стена встала со всех сторон, потолок из пыли накрыл сверху, и пыль белесо светилась под невидимым солнцем. Против ветра было не взглянуть, не посмотреть, по ветру же видно было метров на сто. Свет шел ниоткуда. Время суток было упразднено. Да и в пространстве не сориентироваться, впрочем, с одной стороны неся особенно тяжкий гул — там был север. Казалось, там бесконечной чередой шли тяжелые транспорты, и земля тяжело колыхалась, перестав являть пример постоянства, округа наполнилась пыльным грохотом.

Здесь, на самом юру, ветер вовсе распоясался, приступил вплотную к убогому жилищу, и кошара стояла точно из последних сил. Крыша крошилась. Обнажились концы стропил, и видно было, как они отклоняются, застывают на манер тугой тетивы. Из-под карниза, как из плена, вырывалась дранка. Щепы сперва висли на месте в воздухе — результат какого-то аэродинамического парадокса, — дрожа, как сухая трава. Потом изгибались дугами, бились в конвульсиях и исчезали с

глаз в желтой мгле. Кол, торчавший из старой ограды, был повален и отброшен, глина вокруг изрыта и съедена, песок шел дождем, и по ограде, по всем ее швам и руслицам, стекали бесчисленные струйки, бежали вниз, но, не достигнув земли, закручивались и снова подхватывались. Поверхность двора была чисто выметена, но подернута рябью, как пруд перед грозой, и по ней носился катышек помета, будто его толкал перед собой спятивший скарабей.

Парень постоял, пряча лицо, перехватил шкирку овцы из руки в руку — и пошел: тощий мешок подскакивает за спиной, рубаха хлопает, щеки и лоб обсыпаны песком. Овца сперва упиралась, не желая идти в непогоду, но — только ветер прямо ударил в них — стихла и, сбита бурей с толку, подталкиваемая коленом, пошла послушно. Они уже было миновали спуск, остановились перед подъемом — парень хотел проверить, правильно ли идет, чтоб не промахнуться мимо юрты, — как даже на фоне бури и гула различимый слышался дробный топот. Парень близоруко обертывался туда-сюда, хотел понять — откуда топот доносится, но казалось, что топчут и справа, и слева, и впереди. Наконец в одном из таких поворотов парень почувствовал, что кто-то будто тяжело дышит ему в затылок, прянул, чуть не выпустив овцу, и, окутанный клубами пыли, как паром, вырвался из мрака, точно из преисподней, и промчался мимо всадник на коне. На секунду показался парню даже какой-то крик, ему адресованный, он вытянул шею, насторожился, но конь скакал по ветру, всадник же пригнулся, словно ветер в спину пригнул его до самой гривы, и было видно, как безвольно мотается тело в седле

— мотается в такт скоку лошади. Секунда — и конь исчез в грязной мгле, оставив по себе такую кучу мусора и песка, взвинченную в воздух, что парню пришлось зажмуриться. Овца, ошарашенная грозным бегом коня, точно заразившаяся его мощным прыгом, тоже было, взблевав, бросилась на юг, но порыва ее ненадолго хватило, парень успел намертво вцепиться пальцами в ее кудряшки, она проволокла его за собой метра три, потом свяла, скисла и вновь апатично поплелась в дальнейший путь.

Так и шли они, спотыкаясь, парень — перегнувшись пополам, в неудобной позе, овца — тоже неловко, боком, закидывая зад, семена и сбиваясь. И трудно уж было понять, кто кого вел. Овца ли чужала дорогу к юрте и пастуху, парень ли — к очагу и ясности. Так или иначе, но они с пути не сбивались, шли напрямик.

А вот мысли парня были сбивчивы. Одно было ясно — уйти надо непременно, нельзя оставаться. Но — куда? Здесь начинался мрак, пыль, здесь ничего парень не умел разглядеть. Все в нем в какой-то момент перевернулось, и в нем буря началась — и что впереди, не различить. То вспомнились ему слова водовоза, вчера утром тем сказанные: пошел бы на рудник. И думалось парню: на рудник, во-во, туда поступлю, самое верное... То вспоминался Чино: мне хоть какое дело, силищ-то сколько. И представлялось: будут они с Чино пасти овец, оба верхом — скачут по пустыне... Он думал: лучше, конечно, на коне, но и на верблюде, не в университете же зад просиживать, и они увидят, что я верхом, не собака — дом им сторожить, и родителям напишу, что

остаюсь пока, а на коне хорошо, но и на верблюде не-плохо...

Странная это была, представьте, парочка. Блеющая изредка овца — шерсть свалявшаяся, под курдюком — сталактит давно не срезавшегося навоза, глаза пустые, зачем живет на свете — никак по морде не понять. И парень — впился ей в шерсть, на странном лице очки дырявые, брикет бесполезного киселя в худеньком рюкзачке, борода в разные стороны перьями... Куда идут, чего потеряли?

У юрты, разумеется, было пусто. Поодаль стояли какие-то наклонные щиты, все животные, должно быть, были там, за ними, и даже собаки не было ни видно, ни слышно. Отдышавшись, парень приблизился к самому входу, прислушался. Потом, сообразив, что отсюда овца никуда не пойдет, отпустил ее, распрямился, приосанился и похлопал ладонью по кошме. Вокруг буря выла и ярилась, а он стучался деликатно, и овца воспитанно стояла рядом, словно тоже собиралась внутрь юрты войти. Парень отпихнул ее, потянул на себя полог и крикнул:

— Можно к вам?

Разумеется, никто ему не ответил. Или ответил — да расслышать все одно было нельзя. Тогда парень сунул под кошму голову, ткнулся во что-то пахнущее резко лицом, влез туловищем, а полог рвануло у него из рук, и выход захлопнулся.

На этот раз в юрте было светлее. Посреди горел и дымил очаг, а перед ним сидела женщина, и парень сразу признал в ней ту, что им с Мишей верхом на верблюде показалась намедни. Женщина сразу же по

его появлении отвернулась, опустила голову и закрыла в тень лицо, а раздался вялый, без выражения, голос Чино, будто он только парня и ждал, да уже заждался и теперь досадовал на него:

— Заходи, что ли.

Чино сидел на том же месте, где и вчера, стояла перед ним опять же бутылка из-под водки, он был, скорее всего, пьян, поскольку сперва сделал движение, будто хотел встать на ноги, но не смог даже выпрямиться и махнул рукой.

— Вот, — сказал парень и выложил две пачки чая. Женщина отодвинулась. Чино посмотрел на чай неосмысленно:

— Овец совсем... разгуляло... Он там, я — здесь! Жена, — и он показал на женщину. — Во какая! — И показал большой палец. Потом ударил кулаком себя в грудь.

— Я одну привел, — вымолвил парень, — она к нам сама пришла, заблудилась, наверное...

— Как звать?

— Ее? Не знаю.

— Тебя как звать?

— Вадим.

— Зачем привел? Бери себе.

Тут парень заметил, что Чино сегодня был какой-то надутый, спесивый, челка свесилась и блестела, точно намазанная жиром, глаза посоловели. Узнавал ли он его?

— Мне не нужно. Спасибо.

— Бери. — Чино протяжно рыгнул, кулаки предварительно прочно уперев в землю по бокам. — Ты — Володя?

— Я Вадим.

— Все равно скажу. Где ваши?

— Поехали на озеро. У нас вода вышла...

— На Балхаш?

— Нет, сюда, рядом, вы же знаете, говорили — от юрты видно...

— Водки не продаем!

— Нам и не надо.

— Ты чего сегодня такой, а, Володь? — Он мутно уставился на парня, потом прикрыл глаза и потряс головой, словно отгоняя видение. — Я из Актюбинска, понял?

— Понял.

— У меня жена осетинка.

— Вы говорили.

— Лучше этой... А сам я здесь так, — сказал он обидчиво.

Женщина отодвинулась еще дальше, повернулась спиной, дети выглядывали из-под ее рук, личики их были равнодушны.

— Пойдешь на озеро, куда скажу?

Парень насторожился.

— Водку не меняю. — Чино отпихнул чай от себя. — А куда идти — скажу. Телеген там был. Такие цветы, понятно?

— Цветы?

— Во-от такие.

— Н-но мы вчера... видели.

— Вчера вы другие видели, вчера вам из бумаги показывали. Чтоб не рыпались, понятно? Он всегда другие показывает, когда рыпаются. А сегодня я говорю, ясно? Я! — Он снова стукнул себя в грудь, наклонился и посмотрел на Вадима сквозь челку. — Пойдешь?

Он сделал знак, и парень послушно стал помогать ему встать на ноги. Чино был ниже его чуть не на голову.

— В армии был?

— Нет.

— Я тебя старше. Я на Севере служил. — Он стоял под парнем, качался, но пытался словно взглянуть сверху вниз. Челка лезла ему в глаза, и он размазывал ее по лицу ладонью, когда хотел откинуть. Мешок парня лежал на полу. Чино устался на мешок, потом довольно трезво, несмотря на качания, приказал: — Мешок не оставлять.

Он повис на парне. Тому стоило труда, не уронив Чино, нагнуться за рюкзаком. Ухватив его, парень подчинился командирскому кивку головой, поволок Чино из юрты. И думал: теперь все разужнаю, а надо будет, свитер подарю, французский, папа из Бельгии...

Они выбрались наконец на улицу. Не отходя далеко от порога, Чино отлепился от парня и принялся расстегивать штаны. Он стал мочиться, и парню пришлось отскочить. Он мочился долго, приговаривая про себя:

— Они сидя, один я стоя...

— Так где... это место? — не утерпел парень.

Чино не отвечал, пока не дотряс до конца. Лишь заправив рубаху в штаны, объявил:

— Хочешь — скажу.

— Хочу.

— Они поехали так?

— Так. Туда. Под гору,— нетерпеливо указал парень.

— А тебе идти — так. — Чино опять чуть не упал, и парень обнял его. — Во-он туда.

— Куда? — вскрикнул парень азартно.

— Видишь — дорога?

— Ну.

— По ней.

Парень наклонился, посмотрел единственным стеклянным глазом, но что один глаз, что другой видели одинаково сухую пыльную землю. Никакой дороги не было.

— По ней, прямо, — еще раз подтвердил Чино.

— И далеко?

Чино согнул руку в локте, ребром ладони рубанул перед собой.

— Километра два. Сам увидишь.

— Я думал — далеко, — протянул парень.

— Не, рядом. — Чино надул щеки, рука его все стояла вертикально, как флюгер, он явно кого-то изображал.

Парень еще раз обследовал землю под ногами и чуть впереди — с тем же результатом. Потом посмотрел туда, куда указывало ребро флюгера. Там, метрах в ста, высилась до неба желтая ширма пыли, больше ничего.

— Ну, я пойду, пожалуй, — сказал парень. Протер пальцем единственное стекло, забросил рюкзак за спину.

Чино осклабился. Парень отошел уже метров двадцать, когда Чино крикнул:

— А хочешь — налью?

И парень: ох, я же и фляги не взял, флягу надо было попросить, или пусть в бутылку нальет немного...

— Менять не меняем. А полстакана налью.

— Водки? Не-ет, я водку не пью. Только воду.

— Как хошь.

Парень пятился, махал рукой:

— Спасибо, пока... — И думал: там и напьюсь... Потом отвернулся, зашагал. Чино смотрел вслед. Парень шел. Рубаха выбилась из штанов, полоскалась... Ветер замотал штанины, и ноги истончились. Он маячил некоторое время, издали похожий на птицу, — и мгла накрыла его с головой.

Глава 22. ЦВЕТЫ ДАЛЬНИХ МЕСТ

Лужу недолго искали. Чего там, спуститься — и все дела. Правда, Миш? Лужа-то — вот она, под самым холмом. Конечно, не сказать чтобы блестела, тут парень загнул. Прямо наоборот — тухнула, какой там блеск.

Сперва, конечно, за ветром ее видно не было. Один раз промахнулись, дали-таки кругалья, а по ветру спустились — прямо на нее наехали. Ха, для такой-то бури — и со второго захода найти, это не хрен собачий, а, Коля-Серезжа? Здесь с десятого собственный дом не найдешь, а то — лужа. Это или повезти должно, или нюх иметь надо...

А как выехали, Миша выскочил из кабины, побежал вперед — щупать — и закричал во все горло:

— Слезай, приплыли!

И все хоть не слышали, но сразу поняли — есть вода, сразу вылезли.

Лужа — она в диаметре метров двадцать, формы почти правильной, темная, сырая. Сперва каждому даже немного обидно стало — что ж она такая маленькая, а, Люд? Говорили-говорили, стремились-мечтали, и на тебе — всего с ладошку. А парень вчера: озеро нашел, озеро нашел. А ведь не пил еще, и с чего ему намерещилось? И растительности вокруг никакой, но, надо справедливым быть, следы растительности — вот они, имеются. Как будто ножницами аккуратно все состригли, но щетинка осталась.

Встали в рядок на берегу, полюбовались и — первым делом, до всего другого — бутылку откупорили. Столько искали, кружили, нашли — за это грех не выпить. Так или нет, товарищ геолог?

Откупорили тоже, впрочем, не то слово. Мишке дали, он в пасть горло засунул, вжиг — и бутылка в руке, а головка полиэтиленовая — в зубах. Как фокусник. Зубы-то молодые, не нам чета, Федоровна...

Пустили по кругу.

Первой, конечно, Людмиле Алексеевне Воскресенской дали, по старшинству. Но она — даром что столько лет в геологии — пить из горла, несмотря на стаж, так и не научилась. По подбородку розовую струю пустила, на кофточку на свою портвейна налила, кофточка так и пошла пятнами бордовыми, а сама аж задохнулась. Но

глоточек-то в рот попал, конечно, иначе не отплевывалась бы. Не говорила:

— Фу-ты, мерзость. Все равно пить хочется... Вторым был «товарищ геолог», Володя Салтыков, потому что повариха Марья Федоровна наотрез вперед других пить отказалась.

— Мне, — сказала, — что останется. И никто не возражал.

Володя рот раскрыл, горлышко засунул меж губ, покрутил бутылкой, устроил половчей, локоть поднял и, отставив по-гусарски, начал хлебать, но и у него форсу больше было, чем умения. Хоть и красиво было с локтем-то, пить все равно как следует не мог, к стакану привык, сразу видно. Между глотками у него выходили паузы, как у плохого певца, да и сами глоточки были маленькие, хилые, надо сказать, глоточки, так что хоть он и долго возле губ держал, но отпить много не успел — язык его отверстие закупорил, вино больше не лилось, а внутрь бутылки слюни пошли, пузыри. Одернуть его, конечно, никто не одернул, но он и сам сообразил, что хорошо, напился. Отнял горло бутылочное ото рта, да тоже не сразу: от старания губы к стеклу бутылочному так прилепились, что вышел после всего смешной чпок, Миша хохотнул даже.

Отдал Володя бутылку ему. Посмотрели Миша с шофером на свет — дай бог на одну пятую убавилось.

— Ты того, поосторожней, — предупредил шофер.

— Чего ты, и так больше целой.

— Давай-давай, я молодым хоть и уступаю дорогу, но контроль держу.

Ногтем тогда прикинули: Мишина доза, Николая Сергеевича доза, поменьше — поварихина. Может, и надеялся Коля-Сёрежа, что Миша по молодости на полдозе остановится и споткнется, а потом дыхания не хватит продолжать, но сразу было видно — надежда, что ему лишнего перепадет, маленькая. Миша тоже устраивал бутылку не спеша, откинул голову, потрянул прической по-музыкантски и пошел часто-часто языком тыкать в самое отверстие и часто-часто глотать. Эта техника уж совсем иная была, чем Володина дилетантская. Языком Миша как бы шлюзовал очередной глоток, потом выпускал вино, а пока проглатывал — снова зажимал, и делал все быстро, язычок только мелькал за стеклом, а уровень в бутылке так и поплыл вниз. Шофер обеспокоенно за ним следил — как бы не захлебнулся, но нет, почти ровно остановился, еще граммов десять не допив.

А вот Николай Сергеевич со своей долей не цацкался. Подставил рот, открыл пошире и слил дозу свою в открытую глотку. Ни тебе причмокиваний, ни бульканий, ни глотков. Чисто прошла, так и полилась жидкость внутрь, в самое брюхо тонкой прямой струйкой. Да так споро, что повариха сделала даже какое-то заинтересованное движение всем туловищем: то ли сочувствуя и за шофера боля, то ли страховочное... Наконец пришла и ее очередь.

Шофер утер рот рукавом, плюнул розовой слюной, ветер подхватил плевок, изъял из воздуха, шофер еще раз утерся, довольный, а Марья Федоровна уж дотягивала свою дозу, уютненько смаковала, причмокивала сухими губками, то прижмуривалась, то открывала гла-

за и глазами вела по сторонам, стыдливо моргая, словно девушка. Высосала свое и она. Последняя темная влага исчезла в вертикальном почти горлышке, повари-ха повернула бутылку вниз головой, последние капельки щеживая на землю и будто любясь чистой своей работой.

— Бросай, — позволил шофер.

Она и бросила. Мелкий щебень, круглые камушки гонялись по земле, перекатывались, перепрыгивали, изредка взлетали в воздух невысоко. И бутылка, покачавшись на месте, сорвалась и побежала куда-то, то и дело подскакивая от радости и с нетерпения, что вырвалась на волю, что может присоединиться к своим порожним подружкам, разбросанным по всей этой пустынной старой земле.

Каждый проводил ее глазами с сожалением.

— Ну, пошли, — сказала тогда Воскресенская.

Она оглядела свой маленький отряд, заглянула каждому в лицо, и каждый посмотрел на нее, и все были готовы, и все были — вместе. Тогда, прикрывая от ветра и пыли нос и рот ладошкой, как делают женщины рукой в варежке в сильный мороз, она пошла. Все тронулись за ней. Стали приближаться...

Однако, надо заметить, что выпитое на каждого заметно подействовало. Пока в доме пили, и собирались, и ехали — ни по кому ничего такого заметно не было. А едва на берегу выпили по глотку — каждого зацепило. То ли усваивается портвейн на открытом воздухе лучше, то ль на ветру скорей в крови растворяется? Так или иначе — организм каждого словно только и ждал этой последней капельки. Будто крепились, кре-

пились, готовили себя к главному и наконец — прибыли, куда мечталось. Распустились, размякли... Миша зардовался невесть чему, заиграл глазами. Володя затажелел, лицо надулось, обрюзгло, глаза подернулись, руки обвисли. Он зашагал трудно, а шофер, напротив, завихлялся, тощий зад то стал направо соскакивать, то налево вздергивался, а ноги пошли носками внутрь, но не всегда вперед, а вбок через шаг. Марья же Федоровна и подавно спеклась: расчихалась притворно, ноги тоже колесно составила, пузырь живота выпятился, груди совсем опали, а щеки покрылись вчерашним свекольным нагаром, а вокруг глаз, наоборот, остались особенно бледные окружья. И у Воскресенской в голове что-то будто наигрывало, словно дальняя музыка из высокого открытого окна. Она думала: вот и начерпаем сейчас, все будет в порядке...

Так оно и было. Шофер первым подбежал к берегу, к самой кромке, сунул с берега ладонь, свободной рукой вытирал глаза от песка, а сам орал:

— Сыро, кажись... Точняк, сыро!

— Сыро? — переспросила Воскресенская. Самой тоже песок все в глаза летел, глаза резало.

— Точняк!

Совершенно неожиданно шофер скинул один ботинок, не расшнуровывая, отшвырнул, лягнувшись, второй — и побежал по луже босиком. Никаких брызг или всплесков не последовало, никаких указаний на уровень воды или на ее наличие, но щиколотки шоферовы оказались выпачканы в темном, а ступни сразу спрятались.

Воскресенская хотела воспротестовать, но Миша вырвался из-под ее руки, кинулся следом, едва ухватить успела:

— Да погодите вы! И так мало воды, а вы ее еще мутить будете.

— Так она мутная уже! — крикнул шофер.

— А мы потом вскипятим, — вырвался снова Миша.

— Давай, Мишаня, не бэ, не потонем. Товарищ геолог, пшли окунемся.

И тут — этого Воскресенская совсем не ожидала, — отвертывая знакомым движением голову, лицо оберегая и помаргивая, Володя опустился задом на песок и принялся стягивать рубаху.

— Пойдите, пойдите, как это? Купаться разве...

Тут она тоже вперед нагнулась, руку сунула вниз.

— Н-нда, — забормотала, — мокренько... Да-да, но как же?..

— А так! — махнул рукой шофер. — Полезай!

Шофер по очереди выдергивал ноги, стянул рубашку, хлопал себя по ляжкам и точно ежился от брызг.

— Марья Федоровна, хоть вы, — говорила Воскресенская в растерянности, — взгляните — сколько там воды. Что-то не могу разобрать...

— Ай? — спросила повариха. — Так ведь не видать.

— Нет, вы рукой попробуйте.

— А мне тяжело нагибаться. Пущай их, пущай купаются... — И повариха уселась на землю с Володей рядом, руку козырьком приставила над глазами, как если бы сидела на речке и смотрела, чтоб дети далеко не заплыли.

— Господи, — сжала Воскресенская виски пальцами, а у самой в голове все что-то наигрывало, напевало — дальняя какая-то мелодия.

Буря выла по-прежнему.

Володя скинул и брюки, сложил как мог аккуратнее при таком ветре-то, свернул, протянул вместе с рубахой поварихе:

— М-можно вас п-попросить?

— Я посторожу, давайте, — Она подпихнула сверток себе под зад, чтоб ветер не украл. — Я вот помню, — обратилась она то ли к Воскресенской, то ли к самой себе, — когда маленькой была, батька нас всех, человечков семь, на озеро с собою брал. Шел рыбалить и нас прихватывал. Так вот: чтоб не случилось чего, он так поручал. Ты, Николка, следи за Авдотьей, а ты, Авдотья, — за Василем. Василь же по старшинству... Вот забыла, как брата звали, помер потом зимой... Ну вот так, в общем. А сам сеть раскидывал и садился самогонку пить...

Никто не слушал ее. Да и мудрено было б услышать, даже если бы нужное говорилось. Потому — ветер свистел. Земля гудела. Даже в выемке-то вокруг лужи было недостаточно тихо для обычного разговора. А подальше от берега-то и подавно... И Володя снял носки. В одних трусах купальных остался, словно знал, что купаться будет, приготовился загодя. Носки он сунул в ботинки, ботинки пододвинул к поварихе ближе — и пошел, пошел, ступая осторожно, боясь уколоться, пошел туда, где бегали, играли Миша с шофером. Туда, к темному, расплывшемуся на земле.

Воскресенская наблюдала за ним пристально.

Он подошел к краю. Сунул сперва вперед ногу, самый носочек, пощупал. Потом убрал, постоял в задумчивости, пошлепал ладошками по плечам, сильно раздул жирную грудь и вдруг наклонился, словно собрался нырять. Руки вытянул, кисти сомкнул, но прыгать вперед головой не стал, а ухнул с места двумя ногами, как если бы скакнул с обрыва солдатиком.

— Ну как? — осведомился, бодро припрыгивая, руками молотя по бокам, скаля белые зубы, Миша. — Как водичка?

— Моемся, моемся! — орал и гикал шофер, колотя в восторге себя по пузу. — Мишка, штаны скидавай, намочишься!

Володя еще раз тяжеломерно скакнул, а потом зажмурился, потряс головой и — присел. Тут же и вывернулся вверх, фырча громко, бойко, как тетерев на току.

— Пущай,— кивала пьяненько Марья Федоровна, — пущай плескаются.

— Держи!

Миша выбросил штаны с середины лужи, ветер подхватил, перемешал с песком, швырнул в тетю Машу. Та вывернулась, ухмыльнулась, сунула и их под зад. Избавился от остатков одежды и шофер, но этот все сам на берег снес, сам под повариху подложил. И поспешил назад, словно интересное боялся пропустить.

— Жаль, мяча нет, — прокричал Володя, — а то бы с-с-с...

— Понятно.

— Сыграли бы в поло, — добавил Володя непослушное слово и снова опутал плечи руками, присел, окунулся.

Воскресенская наблюдала за ними, улыбочка кривенькая дрожала на ее губах.

Миша с шофером схватились бороться. Обняли друг друга, шарахались, приплясывали потешно.

— И ты иди, — кричала повариха, — молодая ведь! А платишко мне, я платишко постерегу.

Воскресенская не откликнулась. То ли не слышала, то ли увлечена была Застыла, как героиня в опере.

— Теперича долго душа не будет, — кричал шофер, — когда еще починим!

Тут Миша поднажал, цыплячьи шоферовы ноги подвернулись, оба ухнули вниз, визжа от счастья. И без того уж были перепачканы, теперь и вовсе перемазались. У Николая Сергеевича даже в волосах промеж седого — черное... Володя же, на них глядя, то надувал грудь, то сдувал. Пыжился дыхание задерживать долго, краснел, щеки округляя, потом точно лопался, обвинял плечами — тренировался, видно, для подводного плавания.

— П-по системе йогов! — вскрикнул было он. Но ветер не дал договорить. Тогда он нагнулся, захватил полные пригоршни, облепил плечи, поеживаясь. Растер тщательно и — снова дыхание стал задерживать.

— Хватит, может, — сказала Воскресенская, но даже тетя Маша ее не расслышала.

— Это точно, что когда праздник, то можно, — сказала она.

— Какой еще праздник?

— Да ведь твой!

— О господи! — И закричала: — Да прекратите же!

— Чего? — обернулся Миша.

И шофер:

— Чего такое?

И Володя:

— С-сейчас н-наливать?

— Здесь нет воды, понимаете? — сообщила тогда она. — Нет, выдохлась, испарилась, раньше надо было...

— А толку-то? — выкрикнул шофер.

— Людка, будь попроще. Залезай, ты ж плавать любишь. Вихри песку взносились по краям лощины, как языки, как пламя, и Воскресенская кричала против ветра:

— Прекратите, слышите... И ты, ты, не смей меня на «ты» называть, ясно?

От песка, от пыли — глаза у нее слезились.

— Будь попроще...

— А водичка в самый раз, а, товарищ геолог, не холодная?

— Это в-вам не к-колодец. Это естественные условия, д-да...

Тогда она отвернулась, сжала кулаки.

— Вот, сама виновата, пускай, так и надо, — твердила невесть кому, и плечи ее задрожали. И думала: пускай, сама виновата, что теперь...

И подняла голову. Шагах в двадцати от нее на облезшем верблюде сидела верхом женщина и смотрела поверх ее головы отрешенно, как бронзовая. Лица женщины видно не было.

С ног до головы укутывала всю фигуру какая-то тряпица, и лицо было закрыто чем-то вроде паранджи. Женщина на верблюде не двигалась, и не двигалась

Воскресенская, и женщина смотрела туда, на маленький отряд из трех мужчин — смотрела не отрываясь.

Медленно обернулась и Воскресенская. Слез больше не было — она однажды размазала их кулаком, и они пропали. Но была злость.

— Это унижительно, в конце концов,— пробормотала она...

А посреди лужи — хоть и маленькой, но единственной в пустыне — купались и барахтались, и мазались, и играли, и смеялись, и припрыгивали, и все были грязные, и всем было хорошо.

Глава 23. ЦВЕТЫ ДАЛЬНИХ МЕСТ

Ветер толкал его в спицу, и парень шел.

Он шел, спотыкаясь то и дело, потому что не мог разглядеть водороин и впадин под ногами, ямок и неровностей. Иногда он вдруг глубоко увязал ногой, другой раз — больно проваливался, застревал, в чью-нибудь полузанесенную пустую нору.

Дорога вывела его сперва — так ему показалось, что она выводила, — на высокий холм, потом ухнула с холма вниз, и тот факт, что дорога эта оказалась до крайности неудобной даже для ходьбы, не то что для колесного транспорта, смущало парня. Впрочем, это ведь был кратчайший путь наверняка, так что удивляться нечему...

Тут он споткнулся основательно, тело ветер пронес вперед, нога же правая застряла. Парень развернулся

вокруг своей оси, криво осел на землю. Отошел он недалеко, по всей видимости, но уже притомился. Кроме того, от голода посасывало под ложечкой, так что привал был кстати. Парень запустил руку в мешок, нащупал сухарь, принялся грызть... Несколько обстоятельств волновали его. Во-первых, при своей близорукости он и без бури видел плохо, а теперь... Он думал: вот выйду, может, к источнику прямо, выведет дорога, а увидеть не увижу, что тогда... И второе, о чем он пекся сейчас, — это как сообщить остальным о местонахождении оазиса. Он думал: найти-то найду, положим, увижу все-таки, но обратно-то как, вот ведь... Наконец, третье: нашел он источник, запомнил и обратную дорогу, явился в кошару, но как их убедить. Он думал грустно: а ведь снова не поверят, как им втолковать...

Все эти неясности были столь актуальны и зримы, что парень, размышляя, забыл от сухаря откусывать, а посасывал его в задумчивости, пока не встряхнулся. Нет, надо было идти, а там все образуется — только поскорей бы дойти, напиться, обследовать все. Тогда уж назад. Пока он грыз сухарь, песок набился в рот, скрипел на зубах, и приходилось отплевываться. И он думал: а плевать нельзя так часто, и так слюны нет, а если плевать, то пить еще больше хочется, лучше у родника, прежде чем напиться, рот прополощу, потом уж... И он представил себе до мелочи, как он сперва полощет рот, а потом пьет, пьет.

Но рот закрыть, представляя себе все это, не догадался. От мыслей о воде слюна скопилась под языком, но песку не делалось на зубах меньше, а проглатывать вместе с песком было уж очень невкусно. Так что па-

рень еще раз сплюнул, потом еще... После сухаря появилось какое-то чувство неудовлетворения, как бывает у человека при виде первых ранних фруктов после зимы, и парень механически потянулся к карману, нащупал остатки «Примы» в пачке. Прикуривал он долго и неловко, извел полкоробка спичек, пока не согнулся в три погибели меж собственных коленей, не удержал-таки пламя на секунду. Потянул, вдохнул горький дым, закашлялся, и стало так сухо во рту после этой же, первой затяжки, что выбросил сигарету, сплюнул снова и снова облизал засохшие губы.

Потом поднялся, зашагал.

Он держался все время к ветру спиной, и ему удавалось идти почти по прямой, ровно так, как указал Чино, но незаметно для себя он сбивался-таки на восток, замечая это, лишь когда ветер начинал дуть в ухо. Тогда он снова выправлялся. Он пристально вглядывался в желтую мглу впереди, прикрывал ладонью дырявый глаз и смотрел единственным глазом, потом прикрывал зрячий и вглядывался подслеповато тем, что был без стекла, и ничего определенного в тусклой мути не мог разглядеть. Впрочем, в результате этих упражнений ему начали мерещиться впереди какие-то очертания. Он остановился, всмотрелся попристальней, Контуры построек и крыш запрыгали перед ним, но он отогнал наваждение и снова уперся в пустоту и мрак, которые обступали во всей своей неприглядности, во всей своей безнадежности... Тем слаще было знать — что они скрывают, что таят. Тем радостнее разгадать их уловки, не поддаваться на обман, а идти к цели — по прямой, дальше и дальше.

Он думал: и фляги и бочку наполним, обязательно...

И еще: или просто к источнику переселимся...

И еще: палатки-то есть... И еще; а отчего ж не сразу-то, кошара какая-то, зачем нужна... Но вспомнил, что источника этого на карте нет, а Воскресенская только картам и верит, и что для всего-то мира источник и появится, когда его откроют, когда он его откроет. И в который раз обрадовался.

Он шел и шел, и хотелось пить, и губы так высохли, что стали мелко трескаться, и чтобы не думать о них, а главное — не сплевывать, он начал напевать и шел, напевая песенку, которую слышал еще в Москве. Вот такую:

Один солдатик упал на снег,

На снег, на снег, уснул.

Друзья простились с ним в бою.

Баю-баю-баю...

Но теперь он был учен, напевал с закрытым ртом, и этот вокализ сливался с подвываниями бури. И он думал: вчера ведь целая бочка была, а я не пил... И вместе представлял солдатика на снегу, и как тот сперва лежит, а над ним свистит ветер, а потом протягивает руку, сжимает в кулаке снег, подносит ко рту, и пьет, и — пьет, а уж только потом — засыпает...

Вглядываясь, бредя невольно тише, парень видел теперь в том месте, откуда вставала стена песка, — темную полоску. Она медленно расширялась, края ее расплывались, мгла делалась ее продолжением, и все вместе — морем, и он шел по дюнам, утопая по щиколотку, а в руках у него было ведро. Море было все ближе,

ближе, сейчас он нагнется, нагнется и зачерпнет, и в ведре будет вода, вода непременно, а не песок, как однажды во сне было... Парень споткнулся, упал и от удара очнулся.

Сон снился ему на ходу, но сейчас он потрянул головой — и все пропало. Сухая земля, сухой колющий воздух, и ветер, и ничего впереди. При падении очки свалились ему на колени, он нащупал их, нацепил снова. И стал копать в песке ямку, докопал до влажного, впился во влажное пальцами, ухватил горсть, сунул быстро в рот. Принялся было сосать, но песок залепил и язык, и нёбо, и зубы и вбирал остатки слюны и последнюю влагу... Природа начала с ним свою игру, знакомую утопающим, заблудившимся, попавшим в пургу. Будто весь запас надежды, которая назначалась на будущую жизнь, а теперь может остаться нерастраченной, природа, играючи, отпускает в последний час. Вот только что под рукой был темный, влажный песок. Бесспорно влажный, потому что если сжать его в ладони — а потом отпустить, он останется одним сырым комком, слепится, не рассыплется, даже отпечатки пальцев сохранятся на нем. Но положи его в рот — капли влаги не станет на языке: ни влаги, ни даже запаха влаги.

Он поднялся кое-как на ноги. Двинулся вперед, уже не разбирая пути, припадая на левую ногу, которую успел ушибить в одно из падений. И так идти было даже удобнее, ветер будто поддерживал его сбоку под локоток, и парень устойчивей держался на ногах, чем при толчках в спину.

Он, не заметив этого, пересек широкое плато, всхолмленное плоскими увалами, ступил на резкий

спуск. Тут же осел на зад, долго, не набирая скорость, а тормозя подошвами, сползал вниз. И ползти вот так на заду показалось даже весело, что-то напоминало катание с ледяной горки, возню с товарищами в песчаном оползне на карьере неподалеку от их кратовской дачи... Песок залепил его и без того незрячие глаза, но — как ни странно — парню удалось разглядеть впереди, там, где спуск кончался, красную поверхность бескрайнего сухого такыра, даже вихри пыли над ним, но, разумеется, такыр представился ему перекрашенным морем, а пыльные смерчи, пробежавшие на юг, взвихренными барашками волн.

В мыслях парня и всегда царила путаница, сейчас же все и вовсе смешалось. Дачные впечатления, всплывшие было на удивление явственно, сменились воспоминаниями о море. Но сейчас это было не море вообще, а очень конкретное, сероватое, мрачноватое море около Паланги, где он дважды бывал с матерью в детстве. Но хоть и невесел был стоявший перед глазами пейзаж, вспоминать его было весело. И себя было весело вспоминать, и лицо матери — тогда он не знал, какая она молодая. Он думал: а письмо я ей напишу, ей, отдельно, напишу ей письмо обо всем об этом, о море напишу...

Склон стал полог, он сползал все медленнее и остановился, застрял в куче сухой пыли, которую нагреб, наволок перед собой ногами. Но подняться сил не было. Он только перекатился по мягкому еще на пару шагов вперед, оказался лежащим головой на такыре, а ногами на склоне, и, оттого, что ноги были выше, кровь прилила к голове. Очки ему не нужны были больше, и

он их потерял, не заметив как. Он думал: хорошо лежать, но надо же напиться и надо увидеть, надо двигаться.

Он пополз вперед. Каждая прихотливо отчерченная плита, каждая трещинка сухого такыра, каждый неровный глиняный край он мог теперь разглядеть вблизи и подробно, и это доставляло ему радость... Лямка рюкзака сползла с одного плеча, мешок съехал на сторону, волочился рядом, но парень не замечал и этого, радость переполняла его. Он полз совсем медленно, ощупывая пальцами путь впереди, пробуя на ощупь шершавость сухой глины. Он помнил только, что должен найти, — и искал, приблизив лицо к самой земле.

Длинные ноги приходилось то и дело подтягивать к животу, потому что они отставали, будто желали остаться лежать на месте, в то время как их хозяин двигался вперед. И локти будто бы были против того, чтобы вот так неумоимо ползти. Подтягиваясь, приходилось опираться на них, они врезались больно в закаменевшую землю, подвертывались, и с ними парень вел тихую борьбу.

Рот жгло. Кроме того, заболел и желудок, в нем появилась длинная тонкая резь, словно колючий песок тонкой струйкой просачивался непрерывно сквозь него. Болели и глаза... И ясно было, что еще чуть-чуть, и ползти будет не надо, и можно будет опустить голову и вытянуть ноги, и от одной мысли об этом парня охватывало ликующее чувство счастья, и сладкая истома на миг утишала боль.

Так он полз вперед, пока не увидел впереди просвет, будто стена желтой мглы перед ним расступилась.

Он поднял голову, вытянул худую свою шею, выпучил глаза.

Небо оставалось мутным и грязным. Тучи пыли рваными стаями стремились по нему, но впереди ясно виднелась полоса воды.

Такыр обрывался, прямо от края его вода начиналась. Она широко растекалась направо и налево, за водной же полосой был берег, деревья на нем, и сквозь их кроны просвечивало что-то начисто помытое, голубое.

Деревья отражались в воде. Внизу, у самого основания стволов, так буйно и густо цвели ярко-красные цветы, что можно было подумать, будто берег выкрашен красной краской. Цветы отражались тоже. И едва парень вскочил на ноги, он увидел в рамке пыльных вихрей вставшую из тумана зеркально повторенную, нестерпимо яркую, бурных цветов картину. Весь оазис, волшебно двоящийся, сияющий, влажный.

Он побежал вперед. Мешок бросил. Ветер облеплял воло-сами лицо, сорил песком в глаза, закручивал вокруг вьюжные вихри, но не до ветра было. Он разом все вспомнил. И отчего Он здесь, и что хотел найти. Он бежал. Жалкая фигурка посреди прокаленного, выметенного, линиялых тонов пустого глиняного поля. Бежал задыхаясь, бежал все быстрее. Падал, поднимался, бежал. Падал, поднимался, хоть мираж и отодвигался по мере его бега. Поднимался, потому что казалось ему, что, несмотря ни на что, он приближается к цели.

Глава 24. ПРОБУЖДЕНИЕ

Верблюд опустил на передние ноги, поджав их, как если бы боялся, что на них наступят. Укутанная фигура скользнула вниз с его спины, сделала несколько шагов вперед и протянула руки по направлению к купающимся. Руки были сжаты в кулаки.

Мужчины заметили ее. Игры приостановили, но не смутились, а рассудили, что это явление — тоже развлечение в своем роде.

Фигура задрала руки — под мышками образовалось два туманного цвета веера, — потрясла ими над головой.

— А ты не смотри! — крикнула повариха. — Иди на сваво мужика зырься. Чего приехала руками махать? — А своим пояснила: — По этому делу у них строго. У нас раз один приезжий пошел на базар в этих своих трусах специальных. Так никто ничего не продал. И что? Ляжки одни видать, ничего больше...

Но на фигуру эти слова словно подействовали. Она согнулась вперед, одним жестом выскользнула из своего кокона, из-под паранджи обнаружился Чино, чуть не на карачках стоявший от хохота.

Вот теперь мужчины действительно удивились. Воскресенская же и бровью не повела.

— А, это ты, — хмуро бросила. — Зачем опять явился?

Но Чино не смутился. Он все смеялся, деланно хватал себя за бока, корчился, но выходило фальшиво.

— Снова дурака валяешь. — И Воскресенская от-
вернулась.

Впрочем, члены ее отряда тоже не могли ее пора-
довать. Она угрюмо посмотрела на них, детски доволь-
ных, перевела взгляд на повариху, сидевшую верхом на
чужой одежде, как баба на заварочном чайнике. И ду-
мала: ведь ничего не боятся, а почему, собственно...

Она стояла отдельно ото всех, подчеркнута одна,
ветер колдовал над ней, волосы совсем спутались, пе-
ресыпались песком. И взгляд ее стал безразличным.
Никого, казалось, не видела: ни Чино, заглядывавшего
украдкой снизу ей в глаза, ни своих... И думала: даже
голод испытывать скоро разучатся, даже напиться хо-
теть...

В последнем, Впрочем, она была необъективна.
Вглядевшись в лицо ее и боязливо, и презрительно, Чи-
но боком ее обогнул, стал приближаться к луже, пока-
зывая что-то украдкой за пазухой.

А там хохотали.

— Ой, разыграл!

— А тебе идет. Ты б лучше так всегда ходил...

— Или от п-пыли завернулся?

А Чино кивал, и улыбался, и строил рожи, и пока-
чивался спяну на коротких своих ногах, и показывал за
рубашкой горлышко водочной бутылки. Увидев, заметив,
и те стали подмигивать, и тоже рожи строить, и тоже
украдкой знаки подавать. И Воскресенская думала: от-
куда ветер дует? Ясно, оттуда, где давление выше, но
скучно это, и пить хочется, а главное — скучно, скучно...

Она потухшими глазами смотрела на мужчин, собиравшихся еще добавить, но уже не желала протестовать.

И думала: а ведь самой мне тоже ничего не надо, не надо ничего одной...

Чино, впрочем, в грязь не полез. Остался на берегу, купаться не стал. Только горлышко бутылочное показывал, только качался, только компанию созывал.

— Мог бы и целую прихватить, — укорил шофер, подойдя, шепотом. — Целая есть небось. Запас имейте...

— На машине съездим? — качнулся Чино.

— Куда?

— Где запас.

— Съездим.

— Тогда пей.

Шофер украдкой глотнул, ожегся, нос покраснел тут же. Подоспел и Миша. Тоже хлебнул. Володя покрутил бутылку, глянул через зеленоватое на Чино, подмигнул:

— З-за д-дядю. Есть?

И тоже чуть-чуть вылакал...

Они обстали Чино, как лучшие друзья.

— Тоже поедете? — спросил Чино, из-под челки хитро глядячи.

— Я в-водки больше не х-хочу.

— Э, нет, не за водкой. На источник. — Чино снова качнулся.

— Куда? — Миша.

— Ты kota за хвост не тяни! — шофер.

— Не kota. Ваш туда пошел.

- К-куда?
- Кто — наш?
- Такой еще молодой, Володя.
- Я — В-володя.
- Он тоже Володя, — упрямылся Чино. — И пошел.

Я послал.

— Да говори толком, пацан, что ли? Да ты спутал его с кем, а? Он же в доме остался, куда он пойдет. Это мы на колесах, а ему идти некуда.

— Я говорю, значит, знаю. Он мне — чай, я ему — показал...

— П-постой, п-постой...

А Миша, тупо на Чино смотревший до того, вдруг подскочил и заорал:

— Людка! Орехов твой сбежал! Слышишь? Орехов сбежал, что я говорил...

И Миша ринулся к Воскресенской, стоявшей неподвижно поодаль и смотревшей пустыми глазами.

— Сбежал, сволочь. Я так и знал. Я говорил... — орал Миша, не умолкая.

Повариха пошевелилась на своем месте, отогнала что-то от щеки и снова застыла, как ватная. Шофер чесал и чесал в голове, а Володя вдруг потянулся к Чино, приобнял его за плечи, привлек к себе:

— С-снова за с-свое, да?

— Почему? — пытался удивиться тот.

— С-снова б-бредятину п-пороть? Ну-ка д-доставай цветок. Доставай, д-доставай...

Володя сгреб его и принялся переминать в толстых своих руках. Чино хныкал:

— Это он сам. Это не я. Он сам спрашивал, куда идти. А я не знаю ничего. Хоть так, говорю, иди, хоть так. Может, где и есть. А он: я, мол, дорогу знаю...

— Врешь, не уйдешь, — тискал его Володя все больней, с неподдельной неприязнью глядя прямо в глаза, под челку. — Где его в-видел? С-сам в кошару заезжал?

— Нет, нет, — завизжал и забился тут Чино, — он сам пришел, ты чего в натуре? Сам.

— Убежал, гад, — все орал, кликушествовал Миша. — Все своровал небось. Я его знаю, все украл. Деньги забрал и утек. Ловить его, вперед, я знаю...

Он держал уже Воскресенскую за руку.

— Вперед, за мной, далеко не уйдет, вор, сволочь, такие всегда...

Он сжимал руку Воскресенской выше локтя своей перепачканной пятерней, и на ее коже оставались грязные разводы от его пальцев.

— В машину, за мной! Все по местам! — Наконец-то Миша дорвался до своего дела. — Коля-Сережа, слушай меня! Ты за руль. Этого с собой бери, — кричал он Володе, — я знаю, они договорились. Этот пришел бдительность усыплять, а тот... Бери, бери его! — кричал Миша на Володю. — Чего ждешь еще? Но мы догоним... с поличным... теперь не отвертится...

Предплечье Воскресенской сделалось вовсе черным, разводы уже проступили и на кофточке. Но она внимательно смотрела на Мишино лицо. И только когда он обхватил ее за плечи густо-грязной своей рукой и поволол к машине, она отстранилась, сильно отвела назад свободную руку и что было сил ударила его в лицо. И

думала: а ведь сколько раз, сколько раз, и только теперь...

Он отскочил от нее. По щеке она не попала, но — по уху. Миша даже удивиться не смог, казалось, а тут же деловито сунул в ухо грязный палец и стал прочищать.

Она перевела взгляд на Володю, все тискавшего казаха.

— Ц-цветок не покажешь? — спрашивал он его. — А вот так? — нажимал он на какую-то косточку, и Чино орал благим матом. — Снова не п-покажешь? А так вот лучше, а?

Шофер тем временем, спеша, надевал штаны. И говорил сам себе, но глядя на сонную повариху:

— А на чем пацан поедет-то? Сама посуды, никакого транспорта здесь нет. Значит, никуда не доберется, если решил в город-то. Нас дождется, чтоб я его повез.

В первую штанину он попал, но не продел до конца ногу, а наступил на нее посередине. Защемил вход для другой ноги. Поэтому он слегка подскакивал, на лету во вторую штанину пытался залезть. Вконец запутавшись, он грохнулся на песок с поварихой рядом.

— А он пацан неплохой, чего там... А если что, то конечно, но только это ничего...

Повариха же кивала свекольной мордой, согласная была, ничего не имела возразить.

— Салтыков, отпустите его! — приказала Воскресенская.

Володя разжал руку, боднул Чино головой напоследок.

— Где он? — спросила громко она, унимая дрожь.

— Там, — махнул рукой Чино на юг, глядя и затравленно, и дерзко. И медленно отступал назад. — По ветру он отправился. Больше ничего не знаю... Сам пошел, как же,— добавил он, — цветочки собирать, купаться тоже... — Он оглянулся и побежал, утопая своими ножками в песке, наверх по склону. И, только когда решил, что его уж не догонят, остановился: — Из Москвы, да? Все имеете? — Он отбежал еще немного, обернулся снова: — Все вам можно, да? Вот вам. — Он выставил руку с грязной шишкой кулака. Верблюд чинно тронулся за ним следом. Ветер рвал слова, а Чино пятился и кричал: — А вы тоже... и мы... не Москва...

И все хлопал себя ладонью левой руки по правой, и сжатый кулак его подпрыгивал...

— В машину, — сказала Воскресенская, голову опустив. Первым рванулся Миша. Он выскочил откуда-то из-за нее, распахнул дверцу услужливо, но, видя, что она не торопится, сам жадно полез внутрь.

— Назад!

Он живо оглянулся.

— Я назад. А ты вперед...

— Не ты, а вы. Людмила Алексеевна, ясно? Пошел, говорю тебе...

Она дернула его за рубаху и оглянулась на других.

— Дождались? Дождались своего, Володенька. Будете начальником! И отряд у вас будет, и все...

Володя прижимал к пузу сверток с одеждой.

— Но не в том дело, мне плевать... Мне другое интересно: кто-нибудь из вас понимает — что произошло?

Шофер поскакал по песку, в брюки вставляясь, Володя же стал спешно свои скатанные штаны разматывать. Она вырвала их у него и бросила в машину.

— Орехова я найду, Орехова я из-под земли выкопаю. Сама в пустыне этой треклятой подохну... И воду найду. И не потому, что за себя испугалась...

Шофер уж сидел за рулем, повариха же осталась на месте, только на сторону покосилась.

— С оазисом я никогда не сбрасывал со счетов... — говорил Володя, полезая в машину. — К-кроме того, т-такие и им п-подобные случаи описаны в литературе...

Она оборвала его:

— Взгляните же вы на себя. Пусть пустыня, пусть кустика чахлого не расцветет, но унижать-то себя за чем... Поехали.

Шофер тронул. Миша бежал с машиной обок.

— А ты домой.

— А мне куда ехать? — спросил Коля-Сереза.

— Будем искать.

— Правильно, — согласился он и дал газ.

И они поехали.

Это, во всяком случае, верней, чем топтаться на месте. Пусть едут.

Пусть едут, а мы прощаемся с ними. Прощаемся, подавив невольное желание вспрыгнуть-таки в последний момент на подножку.

Глава 25. ПОСЛЕДНЯЯ

Пыль улеглась, бури как не бывало. Все тот же холм, остатки некоей постройке на юру. Две фигуры, усталый конь, всадник на нем, припавший к самой гриве. И все, пожалуй, если не считать завывающегося из-за ближнего взлобка рыжевато-седого облачка.

Ждать не приходится долго.

Доносится то и дело садящийся, охающий голос разбитой машины, показывается и сама водовозка, следующая к кошаре напрямик. Шофер все тот же — ни в отпуск не ушел, видно, ни просто не уволился. Пыльный вылезает он из кабины в черной на спине и под мышками рубашке, в лямку на этот раз, в рыжей угловатой кепочке, сбитой наперед. Обводит взглядом место действия, лезет в голову, окликает всадника: эй, Телеген.

Всадник не отвечает. Медленно клонится набок, скользит по потной шкуре коня, ноги его не попадают в стремена, он валится на землю, сильно храпит.

— Здравствуй, Толик,— говорит повариха Марья Федоровна, высовывая голову изнутри развалин.

— Привет, теща. Повалило?

Повариха кивнула.

Вьючники с лысоватыми крышками, новые, тинно-зеленые, и старые, выцветшие баулы полусасыпаны песком. И сям и там разбросаны мотки веревок, мятые ведра — алюминиевые и одно оцинкованное, две но-

венькие фляги закатились какая куда. Из-под груды торчат то крышка эмалированной кастрюли, то край черной, в густой давней саже, сковороды... Повариха, согнувшись тяжко, выковыривает по штучке ложки да вилки, ситечко, мерочку, два забитых глиной стопарика.

И Миша неподалеку. Приселся на край бетонной давней поилки, выпотрошил варанью шкуру пеструю, кишки неподалеку свалил. Сидит, доскребывает, жмурится.

— Ты чего? — водовоз спросил.

— А сеструха просила.

Закурили. Солнышко печет, тени нету никакой, как и ни ветерка — дымок от сигарет вьется прямо кверху. Щурится Миша, жмурится водовоз, следит за дымком, видит — черная точка одинокая плывет прямо над головой. Или кажется только, что прямо над ними...

И орлу их хорошо видно.

Их, тетю Машу среди руин, коня усталого, всадника на земле...

Видно ему и тельце человека посреди широкого линиялого цвета такыра. Распростерто оно, придавлено, припало к глине сухой, утихло. Стало уж падалью, тленом, трупиком. И ветер нанес с одного боку горку песка, так что сделался одинокий барханчик, длиненькая могилка, невысокий холмик, который скоро сровняется и исчезнет, как все исчезает в пустыне.

Видна и юрта, верблюдов возле, несколько овец, дымок из крыши.

Виден и ржавый кубик, ползущий куда-то по выжженной, как сношенный брезент, плоскотине.

Виден и маленький красный островок в стороне. Два-три деревца, склонившиеся к круглому озерцу, отражающиеся в нем. Цветы у оснований стволов разрослись так ярко и пышно, что кажется, будто берег покрасили яркой краской.

Трудно только его разглядеть, разве что с птичьего полета, очень хорошим зрением, потому что красный этот Островок — совсем крошечный, вокруг же — сухая и бескрайняя, мертвая земля. И он — капелька крови на песке, мельчайшая крапинка на верблюжьем одеяле.

1976-1979